ЭДУАРД ФИЛАТЬЕВ

ГЛАВНАЯ ТАЙНА ГОРЛАНА-ГЛАВАРЯ

1922 - 1926

ВЗОШЕДШИЙ САМ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЭФФЕКТ ФИЛЬМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи». Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы. Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники. В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

- Эдуард Филатьев
  - ○
  - ○
  - ○ Часть первая. Бунт в «семье»
    - ■ Глава первая. Разлад в семействе
      - ■ Лекции поэта
      - ■ Лилино недовольство
      - ■ «Загадки» или «тайна»?
      - ■ «Чрезвычайная» романтика
      - ■ Жизнь порознь
      - ■ «Одинокий» творец
      - ■ «Свои» и «чужие»
      - ■ Жизнь продолжается
      - ■ Конец разлуке
      - ■ «Читка» поэмы
      - ■ 1800 строк
      - ■ Попытки понять
      - ■ Уайльд и Маяковский
      - ■ Содержание поэмы
      - ■ Мнения слушателей
    - ■ Глава вторая. Король и реклама

- Выборы короля
- Таланты других
- Смерть Воровского
- Друзья и недруги
- Маяковская реклама
- Тучи над Промбанком
- Новый загранвояж
- Третья «ездка»
- Островная жизнь
- Ожидание революции
- Вдохновители бунта
- Возвращение поэта
- Есенинское творчество
- Помощь поэту
- Краснощёковская история

- Глава третья. На пороге нововластия
  - Мнение наркомвоенмора
  - Зеркало наркомвоенмора
  - Решительные меры
  - «Рядовые» революции
  - После арестов
  - «Краснощёковщина» и ОГПУ
  - ЛЕФ и имажинисты
  - Акция ОГПУ
  - Пивной инцидент
  - Поэтические будни
  - Друзья вызволяют
  - Поэтов судят
  - Финиш года
  - Расставание с чрезвычайностью
  - Песнь о рудокопах
  - Украинские гастроли
  - Вояж продолжается
  - Кафе «Домино»

- Часть вторая. Расправа с бунтарями
  - Глава первая. Новая власть
    - Смерть вождя
    - Донос в ГПУ
    - Борьба с «гиммельфарбами»
    - «Чёрный человек»
    - Очередные вояжи
    - Московские события
    - Приговор «краснощёковщине»
    - Стихи Есенина

- Квартирная проблема
- Запретительный циркуляр
- Странность запрета
- Четвёртая «ездка»
- Вернувшись домой
- Литературный диспут
- Пушкинский юбилей
- Поэзия и политика
- Поэзия и реклама

- Глава вторая. Прославление большевизма
  - Антибольшевистский путч
  - Тифлисские будни
  - Московские будни
  - Поэмы о комиссарах
  - Поэма о вожде
  - «Читки» поэмы
  - Пятая «ездка»
  - «Орден фашистов»
  - Столица Франции
  - Пропажа трости
  - Парижские тяготы
  - Допросы и мрачность
  - Возвращение домой
  - Писатели совещаются
  - Удар по Маяковскому
  - Вечернее заседание
- Глава третья. Начало 1925-го
  - Болезнь осуждённого
  - Крах «левых»
  - Пропажа кастета
  - Освобождение заболевшего
  - После освобождения
  - Наказание театром
  - Отстранившиеся от спектакля
  - Мартовские встречи
  - Мартовские жертвы
  - Работа в архиве
  - «Летающий пролетарий»
  - Болгарский взрыв
  - Книга Морана

○ Часть третья. Казни бунтарей
- Глава первая. Открытие Америки
  - Накануне «ездки»
  - Шестая «ездка»

- Девушки и башня
- Парижские встречи
- Загадочная история
- Невероятное везение
- Расставание с Парижем
- Океанское плавание
- Страна Куба
- Страна Мексика
- Два поэта
- Долгожданное «приглашение»
- Вожделенные Штаты
- Первые интервью
- Мнение конструктивиста
- Маяковский – американцам
- Конец лета

- Глава вторая. Американская трагедия
  - Новый командировочный
  - Трагическое событие
  - Попытки разобраться
  - Версии случившегося
  - Зашифрованное признание
  - Судьбоносная встреча
  - Американские выступления
  - Турне продолжается
  - От Чикаго до Нью-Йорка
  - Законспирированный роман
  - Отъезд домой
  - Назад в Европу
  - Париж – Москва
- Глава третья. Казни поэтов
  - Жизнь дома
  - Декабрь 1925-го
  - Смерть поэта
  - Попытки спастись
  - Последние дни
  - Прощание с поэтом

- Список использованной литературы:

Эдуард Филатьев
Главная тайна горлана-главаря. Книга третья. Взошедший сам

© Э. Филатьев, 2016
© ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ», 2016

* * *

Посвящаю моему внуку Константину Дмитриевичу Малёнкину

Часть первая. Бунт в «*семье*»

Глава первая. Разлад в семействе

Лекции поэта

13 декабря 1922 года Маяковский вернулся в Москву из-за границы. Прежняя жизнь в квартире, что в Водопьяном переулке (с ежедневным приёмом гостей), возобновилась. Петра Незнамова познакомили с Лилей Брик, и наблюдательный молодой человек сразу же отметил особое отношение к ней Маяковского:

«*…к Лиле Брик он относился замечательно, и забота о том, чтоб ей было хорошо, была одной из основных и постоянных его житейских забот*».

А чтобы Лили Юрьевне «*было хорошо*», надо было писать очень хорошие стихи. И Владимир Владимирович принялся сочинять их. Об этом – тоже Пётр Незнамов:

«*В комнате танцевали, шумели, играли на рояле, а Маяковский тут же, положив листок бумаги на крышку этого самого рояля, записывал только что родившиеся строфы стихотворения…*

Иногда Маяковский предлагал тут же прослушать собравшимся новорождённое стихотворение, и тогда гиперболы в косую сажень в плечах и образы, один другого удачнее, полные свежести и злобы дня, шли завоёвывать слушателя. И все мы аплодировали автору, написавшему свою вещь в столь некабинетной обстановке».

Через неделю после приезда Маяковского состоялось его первое выступление в Политехническом музее. Лекция называлась «Что делает Берлин?». Присутствовавшему на ней Петру Незнамову запомнилось, как поэт…

«*…крыл эмигрантов, а о Саше Чёрном выразился: «Когда-то злободневный, а теперь озлобленный». Фридрихштрассе из-за изобилия на этой улице съехавшихся нэпманов он называл: «Нэпский проспект»*».

Одесская газета «Известия» тоже поместила отчёт о том мероприятии:

«*Маяковский дал в своей лекции в Москве рельефную картину жизни берлинской литературной эмиграции, которая обслуживает кварталы, где живёт бежавшая буржуазия, кварталы, так и прозванные в Берлине – Нэпский проспект.*

На крайнем правом фланге, – говорит в своей лекции Маяковский, – стоит Андрей Белый. Он поистине теперь такой белый, что даже кажется чёрным.

Игорь Северянин продаёт своё перо распивочно и на вынос за

эстонскую похлёбку и пишет, что он «не может признать советское правительство, которое лишило его уюта, комфорта и субсидии!»

Далее идёт группа сменовеховских писателей, которые, как говорит Маяковский, сменили вехи, готовят новые произведения и на этих своих «красных сочинениях» хотят, как на белом коне, въехать в Москву для занятия ответственных должностей.

Но русским эмигрантам, живущим в Берлине, особенно трудовой интеллигенции, сменяющей вехи, уже надоели эти белые и голубые писатели. Они соскучились уже по новой русской московской литературе. И потому с таким вниманием слушают они и Маяковского, ругающего их, и Есенина, смотрят жадно картины Малявина и Кустодиева, жадно раскупают все новые издания Москвы…

Эмигрантская литература не дала ни одного крупного произведения.

Литературный костёр эмигрантщины чадит и дымит угаром догорающего костра…

Литература «Нэпского проспекта» бедна, скучна и бесцветна. Свет идёт с Востока».

Казалось бы, самая обычная лекция – именно та, которая была нужна стоявшим у власти большевикам: на Западе всё плохо, всё «*чадит и дымит угаром*». Единственное, что удивляет – это отношение Маяковского к Белому и Северянину. Первый, как мы помним, восхищался стихами Маяковского, второй и вовсе был соратником футуристов. Но ради красного словца Владимир Владимирович не пожалел обоих.

А вот к Есенину, который тоже оказался за рубежом, Маяковский отнёсся благосклонно. Видимо, ему был известен «чрезвычайный» статус поэта-имажиниста.

А вот, что писали о лекциях Маяковского его биографы и один его современник.

Начнём с Аркадия Ваксберга:

«*Не дав себе покоя ни на день, Маяковский сразу же окунулся в бурную общественную жизнь. С интервалом в несколько дней дважды выступал в Политехническом. Первая лекция называлась «Что делает Берлин?». Вторая – «Что делает Париж?». Одновременно очерки о парижских его впечатлениях стали публиковаться в самой популярной ежедневной газете «Известиях» – они имели шумный успех*».

Бенгт Янгфельдт:

«*Интерес к рассказам Маяковского о первых поездках за границу был огромен. 24 декабря «Известия» опубликовали его репортаж «Париж (Записки Людогуся)», а через три дня – «Осенний*

салон»».

Юрий Анненков:

«*Его впечатления, опубликованные в «Известиях», свидетельствовали ещё раз о его наивности и почти детской эгоцентричности*».

Нелишне напомнить, что эта пора для страны Советов была судьбоноснейшей. Ведь рядом с Политехническим музеем, в Большом театре, шли последние приготовления к Съезду Советов, на котором Ленин собирался сделать доклад и объявить в нём об образовании первого в мире пролетарского государства, в названии которого слова «*Россия*» не было – Союза Советских Социалистических Республик.

Но в планы вождя вмешалась болезнь, Ленин слёг в постель в своей кремлёвской квартире и готовился диктовать свои «Письма съезду», взбудоражившие впоследствии всю партию большевиков.

Вместо заболевшего Владимира Ильича страной стала управлять «тройка» партийных лидеров: Зиновьев, Каменев и Сталин. Первые двое отдавали команды, третий (с помощью мощного бюрократического партийного аппарата, которым он управлял) проводил эти команды в жизнь.

О важных изменениях в жизни страны Советов писали тогда все газеты, эти новости всюду обсуждались. Поэтому лекции Маяковского о том, что происходит где-то за рубежом, казалось, мало кого должны были заинтересовать. Однако москвичи, которых (как и прочих россиян) за границу не выпускали, хлынули послушать рассказ поэта-путешественника.

Бенгт Янгфельдт:

«*На лекциях Маяковского «Что делает Берлин?» и «Что делает Париж?» в Политехническом музее порядок поддерживала конная милиция. В битком набитом зале царил полный хаос, на каждом стуле сидело по двое, публика перекрыла проходы, на краю эстрады сидели молодые люди, болтая ногами.*

Лили тоже находилась на сцене, за трибуной, где размещались стулья для друзей и знакомых.

В зале царила атмосфера ожидания, но когда Маяковский под гром аплодисментов стал рассказывать о Берлине, Лили возмутилась».

Лилино недовольство

Вот что о реакции Лили Юрьевны написал Александр Михайлов:

«*Её возмутило выступление Владимира Владимировича, оно, по её мнению, было «с чужих слов». Уж не со слов ли Брика?*»

Бенгт Янгфельдт:

«*…вместо того чтобы говорить о собственных впечатлениях, он повторил то, что слышал от других; она ведь знала, что большую часть времени Маяковский провёл в ресторане или в гостиничном номере за игрой в покер. «Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями»*».

В результате разгорелся скандал. На вторую лекцию Лили вообще не пошла. А вечером состоялось бурное объяснение, которое Лили Юрьевна впоследствии описала так:

«*Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий. Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Всё кончено. Ко всему привыкли – к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет*».

В завершении этого «*длинного*» разговора был объявлен двухмесячный разрыв в их отношениях. Кроме того, Маяковский должен был попросить прощения у Лили, «*добровольно*» удалиться в свою комнату в Лубянском проезде, не играть в карты, не ходить в гости и не встречаться с Лили.

Потом Лили Брик добавила:

«*Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, ещё ночью, я решила – расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить.*

Маяковский как будто даже обрадовался этому выходу из безвыходного положения. Сказал: «Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся», – и ушёл».

Так выглядит эта история, составленная по рассказам, воспоминаниям и письмам Лили Юрьевны Брик. Однако Аркадий Ваксберг ко всем её «*аргументам*» отнёсся с большим недоверием:

«*Даже при беглом взгляде на эти воспоминания нельзя не заметить, что они лишены какой-либо логики. Почему публичное выступление поэта, его рассказы о заграничных своих впечатлениях – почему они означают, что «мы тонем в быту», что «мы на дне»? С чего взяла она, что у Маяковского не было своих впечатлений, что он рассказывает только «с чужих слов»? Даже если что-то узнал от чужих – всё равно ведь там же, в Берлине*!»

Александр Михайлов тоже не увидел в поведении Маяковского ничего такого, в чём можно было бы упрекнуть поэта:

«*…за что он должен был просить прощения у Лили Юрьевны – за то, что сделал доклад «с чужих слов»? Какая чушь*!»

Не имея никаких других версий, которые как-то по-иному

осветили бы сложившуюся ситуацию, Бенгт Янгфельдт (как и многие другие биографы Маяковского) всё-таки принял версию Лили Брик, написав:

«*На самом деле все эти объяснения – и в письме к Эльзе, и более поздние, в воспоминаниях – были поэтизацией конфликта, имевшего гораздо более глубокие корни, а именно: несовместимость взглядов на любовь и ревность*».

В этой фразе согласиться можно, пожалуй, лишь с тем, что у конфликта были «*гораздо более глубокие корни*».

Попробуем их отыскать. Но сначала обратим внимание на то, что в тот момент и Лариса Рейснер тоже стала тяготиться своей благополучной жизнью, у неё тоже возникли трения с мужем, Фёдором Раскольниковым, и она написала своей матери в самом конце осени 1922 года:

«*Милая мама, я выходила не за буржуа, …а за сумасшедшего революционера. И в моей душе есть чёрные провалы, что тут врать… Мы с ним оба делали в жизни чёрное, оба вылезали из грязи и «перепрыгивали» через тень… И наша жизнь – как наша эпоха, как мы сами… Во всей ночи моего безверия. Я знаю, что зиновьевский коммунизм (зиновьевское разложение партии), зиновьевское ГПУ, наука и политика – не навсегда.*

Мы счастливы, что видели Великую Красную чистой, голой, ликующей навстречу смерти. Мы для неё умерли. Ну, конечно, умерли – какая же жизнь после неё святой, мучительной, неповторимой».

Владимир Маяковский и Лили Брик не видели «*Великой Красной*» армии, с ликованием шедшей на смертный бой. Но они видели и пережили нечто другое.

Вспомним о фактах, которые почему-то совсем не привлекались биографами к делу о внезапной ссоре между Маяковским и Лили Брик.

Факт первый: неожиданный спешный вояж поэта из Берлина в Париж, в который, по словам наблюдательного Ваксберга, он «*осмелился*» отправиться, «*никого не спросясь*». Отчего возникла такая спешка?

Второй факт: не менее неожиданное возвращение Бриков из Берлина в Москву. Они уехали «*не дожидаясь Маяковского*», «*хотя он отсутствовал только неделю*». С чего такая торопливость?

И, наконец, факт третий: откуда взялся это загадочный срок – два месяца, в течение которых Маяковский и Лили Брик не должны были встречаться? Почему не полтора, не два с половиной, не три?

Ответы на эти загадочные вопросы искал и Аркадий Ваксберг. У него возникли темы для размышлений:

«Как разгадать эти загадки? Как разобраться в том, в чём запутались сами участники той драмы? Как проследить хронологию событий, относящихся к пресловутой «области чувств», не подверженных логике, не допускающих документального подтверждения или опровержения, не поддающихся холодному анализу мемуаристов, биографов и историков?..

Что же на самом деле побудило Лилю столь жестоким образом взять для их совместной любви долгий «тайм-аут» и понудить Маяковского искренне считать, что в разрыве повинен он сам, а отнюдь не она?»

А что, если никаких «*загадок*», в которых, по словам Ваксберга, «*запутались сами участники той драмы*», вообще не было? А была некая тайна, которую сами «*участники*» не хотели придавать гласности? Давно ведь установлено, что если в чьих-то объяснениях слишком много оправдательных доводов, то, скорее всего, ни один из них не является истинным. А настоящая причина случившегося просто утаивается.

Не случилось ли и здесь то же самое?

«*Загадки*» или «*тайна*»?

Для того чтобы установить (хотя бы приблизительно), что же на самом деле произошло с нашими героями, вспомним про Александра Михайловича Краснощёкова, оставленного нами в Москве. У него, как мы помним, летом 1922 года начался роман с Лили Брик, которая вдруг покинула его и отправилась в зарубежный вояж. Как складывались дальнейшие дела у этого «*советского работника*», как назван он в последнем томе 13-томного собрания сочинений Маяковского?

Ленин, ещё весной 1922 года попросивший своих соратников трудоустроить уволенного из Наркомфина Краснощёкова, сам неожиданно заболел. Сталин, которому политбюро поручило найти Краснощёкову достойную должность, целиком переключился на решение вопросов, связанных с лечением вождя. Таким образом, дело бывшего руководителя Дальневосточной республики как бы на время положили под сукно.

Но к осени 1922 года Ленин неожиданно поправился и стал готовиться к выходу на работу. И сразу вспомнил о Краснощёкове! В сентябре Александру Михайловичу предложили организовать Торгово-промышленный банк (Промбанк). Краснощёков засучил рукава, и уже в ноябре банк был организован. Александр Краснощёков его и возглавил.

Жизнь, вроде бы, наладилась.

Но вот что пишет в своих воспоминаниях Луэлла Краснощёкова:

«*В декабре 1922 года мама с моим младшим братом уехали в США. Мне ещё не было 13 лет, брату – семи. Я сама выразила желание остаться с отцом*».

Почему вдруг Гертруда Борисовна Тобинсон, взяв с собой сына, решила уехать из Советской России? В разгар гражданской войны она уже покидала Дальний Восток и возвращалась в Америку. Но как только обстановка в Сибири немного стабилизировалась, снова приехала к мужу – в Читу. Затем вместе с детьми переехала в Москву. Здесь их семья получила квартиру и стала устраивать свою жизнь. И вдруг жена директора Промбанка взяла и «*уехала*»?

Почему?

На этот вопрос Бенгт Янгфельдт ответил одной фразой:

«*Нетрудно догадаться о причине, заставившей жену Краснощёкова покинуть Советский Союз*».

В самом деле, Гертруда Борисовна вполне могла узнать о романе мужа с Лили Брик. Ходили также слухи и о том, что у Александра Михайловича был роман с его секретаршей Донной Груз.

Приказ Троцкого Дзержинскому – дискредитировать Краснощёкова никто не отменял. И всю информацию о романах Александра Михайловича, включая, надо полагать, многочисленные пикантные подробности, обидно коловшие Гертруду Борисовну, ей поставляло ВЧК.

Осенью 1922 года чекисты, как мы помним, занимались выдворением из страны интеллигентской элиты. Александр Краснощёков был из той же когорты интеллектуалов, которые слишком много знали и очень мешали «*стать всем*» тем, кто ещё совсем недавно «*был ничем*». Но этого интеллектуала выслать было нельзя – ведь он был членом партии, к тому же высокопоставленным, и за него горой стоял сам Ленин! Однако подмочить репутацию Краснощёкова труда не составляло. И уже в конце осени в ГПУ с удовлетворением констатировали, что жена Краснощёкова вот-вот разорвёт отношения с мужем.

Тотчас же была дана команда приступить к операции, в которой Маяковский был лишним. Его присутствие в Москве (на первых порах, во всяком случае) посчитали нежелательным. И пребывавшему в Берлине поэту настоятельно порекомендовали совершить прогулку в какую-нибудь сопредельную с Германией страну, например, во Францию. Брикам же был отдан приказ немедленно вернуться на родину.

Получив французскую визу, Маяковский отбыл в Париж. А

Брики, собрав вещи, укатили в Москву.

Вот так, скорее всего, всё и происходило.

Никаких документов, которые подтвердили бы это предположение, надо полагать, не существует – все «*рекомендации*» и «*приказы*» были наверняка устными.

Дальнейшие события подтверждают справедливость именно такого толкования того, как происходило подмачивание репутации директора торгово-промышленного банка.

«*Чрезвычайная*» романтика

Вернувшуюся в Москву Лили Брик вызвали в ГПУ (или какой-то ответственный чин, допустим, Яков Агранов, сам навестил её). Ей сообщили, что Краснощёков с женой разъехался, поэтому, дескать, пора приступать и показать всё, на что она способна. И Лили приступила.

О том, как она раскрутила свой роман с Краснощёковым, Янгфельдт пишет:

«*Новость о связи между легендарным политиком и не менее знаменитой Лили сразу широко распространилась…*

Лили и Краснощёков были одной из наиболее обсуждаемых любовных пар в Москве. Лили ничего не скрывала, это было бы против её природы и принципов».

И тут из Берлина вернулся (совершенно некстати) Маяковский. Сначала он, надо полагать, ни о чём не догадывался. И бросился организовывать свои выступления в Политехническом музее, писать заметки о зарубежных впечатлениях для «Известий». И как всегда просил Лили ему помочь (расставить знаки препинания в статьях, сходить в Политехнический и договориться там о чём-то).

Всё это, конечно же, мешало развёртыванию так успешно начатой гепеушной «*романтической*» операции – на пути Лили Брик всё время возникал Маяковский. К тому же у поэта наверняка начали появляться какие-то подозрения (ему о чём-то вполне могли рассказать). Нужно было срочно найти способ для его удаления. Хотя бы на месяц-другой.

Кто придумал этот, скажем прямо, достаточно ловкий ход, начавшийся с публичного скандала во время лекции, а затем перешедший в ссору и разрыв?

Осип Брик? Яков Агранов? Сама Лили Юрьевна?

Нам вряд ли об этом суждено узнать.

Единственное, что известно абсолютно точно: в начале декабря 1922 года роман коммуниста-банкира и очаровательной женщины, лишённой каких бы то ни было комплексов, был в

самом разгаре.

Но если сценарий этой «*романтической*» операции был разработан в чрезвычайных органах, то возникает вопрос: могла ли Лили Брик делиться с кем-то его подробностями? Даже годы спустя, когда писались её воспоминания? Конечно же, нет! Чекистские секреты полагалось хранить очень тщательно. И Лили Юрьевна их хранила. Сводя причины разрыва с поэтом к неурядицам быта, к слишком ревнивому характеру Маяковского, к его «*омещаниванию*» и так далее и тому подобное.

Даже Бенгту Янгфельдту, к которому Лили Брик относилась с большим уважением и которому доверяла, как никому другому, правда раскрыта не была.

А Маяковский был в курсе этого секрета?

Пожалуй, лишь ему одному Лили могла открыть истинную причину своего поведения, сказав, что получила приказ, который обязана выполнить. Поскольку служба у неё такая. Да и за зарубежные турне, плюс за те удовольствия, которые эти вояжи доставляют, тоже необходимо платить.

О реакции Маяковского на эти слова свидетельствует фраза из воспоминаний Лили:

«*Оба мы плакали*».

Когда кончается любовь, и один из влюблённых бросает другого, вдвоём, как правило, не плачут. Тому, кто уходит, нечего рыдать. Слёзы роняет тот, кого покидают. А тут плакали оба.

Из-за чего?

Неужели из-за того, что (как утверждала Лили Брик)…

«*…ко всему привыкли – к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём*»?

В такое объяснение трудно поверить.

Но в высказываниях Лили Брик есть одно ключевое слово, на которое почему-то никто не обратил внимания: «***революция***».

С чего это вдруг Лили Юрьевна, никогда не интересовавшаяся политикой и не состоявшая членом партии, вспомнила об этом, таком далёком от её интересов понятии? И когда?! Во время разговора о любви! Выясняя отношения со своим гражданским мужем.

Зачем употребила она это слово, абсолютно чуждое её лексикону?

Попробуем воспроизвести возможный ход диалога Маяковского и Лили Брик, диалога, который привёл к разрыву их отношений.

Как мы помним, сама Лили Юрьевна впоследствии написала:

«*Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий*».

С чего он начался?

Вполне возможно, что с вопроса, заданного Маяковским, который был удивлён странным поведением Лили:

– Что происходит, детик?

В ответ Лили Юрьевна могла сразу же рассказать об истинной причине происходящего: дескать, от Александра Краснощёкова ушла жена, что надо скрасить его одиночество и погасить огонь, бушующий в его душе.

В ответ на такое объяснение ещё более удивлённый Маяковский должен был задать резонный вопрос:

– А почему скрашивать одиночество чужого мужчины должна непременно его жена?

Вполне возможно, он вставил в свой вопрос и некое жаргонное слово, которым принято называть подобное поведение женщин.

– Да, – согласилась Лили Юрьевна. – Именно так ***про это*** и говорят. Мещане. Те, у кого любое отклонение от жизненных устоев встречается негодующим осуждением. А я иду на ***это*** во имя высоких идеалов!

Вот тут-то Лили Юрьевна и могла произнести ключевое слово:

– Идеалов ***революции***! И подвигло меня на этот шаг учреждение, которое идеалы эти охраняет.

– Какое учреждение? – мог, не поняв, с удивлением спросить Маяковский.

– То, в котором служит Ося. Которое отправило его, меня и тебя за границу, дав нам возможность хоть немного пожить нормальной жизнью. Мы к этой жизни быстро привыкли. Думаем, что отныне так будет вечно. Друг к другу мы тоже привыкли! И к тому, что обуты, одеты, живём в тепле. Только и знаем, что чай пьём! Мы утонули в быту! Мы на дне! Забыв о том, что была революция, идеалам которой мы обязаны служить! И когда кто-то из нас начинает отдавать себя этому служению, омещанившееся окружение дружно осуждает отступника. А ты, вместо того, чтобы написать потрясающую вещь, которая воспевала бы революцию, служила бы ей, читаешь доклады с чужих слов! Мне кажется, Волосик, что ты ничего настоящего уже никогда больше не напишешь.

Произносимые Лили Юрьевной фразы совсем не обязательно придумала она сама. Ведь все эти слова были в поэме «IV Интернационал», в которой Маяковский громил мещан и мещанство. Например, такие строки об омещанившихся революционерах:

«Что будет? / Будет спаньём, / едой
себя развлекать человечье быдло…
Уже настало. / Смотрите – / вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний,
в кафах, / нажравшись пироженью рвотной,
Коммуну славя, расселись мещане.
Любовью / какой обеспечит Собес?!
Семашко ль поможет душ калекам?!
Довольно! / Мы возьмёмся, если без
нас об этом подумать некому».

Напомним, что Николай Александрович Семашко был наркомом здравоохранения РСФСР.

О том, что именно следует сказать Маяковскому, Лили Юрьевне могли подсказать и мудрые чекисты. И слова эти она произнесла. Били они без промаха. Обезоруживая всякого, кто хотел бы заклеймить поведение Лили Брик. С неумолимой логикой произнесённых ею фраз спорить было бессмысленно, так как любой оправдательный аргумент логика эта била наповал.

Отсюда – и растерянность Маяковского. Отсюда – его убеждённость в своей вине. Отсюда – его письма к Лили Юрьевне с извинениями.

Тот разговор вели между собой два чекиста «*особого отряда*». И слёзы в их глазах становятся понятными. Обоим было тяжело. Но нарушить отданный им приказ они не могли. Не имели на это права! И оба принялись его выполнять.

Какое-то время спустя Маяковский написал Лили Юрьевне (расставлять в письме запятые было уже некому):

«*У тебя не любовь ко мне у тебя – вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое) но если я кончаюсь то я вынимаюсь как камень из речки, а твоя любовь опять всплывается над всем остальным. Плохо это? Нет тебе это хорошо я бы хотел так любить*».

Известна и другая фраза поэта, написанная в ту же пору:

«*Я ничего с собой не сделаю – мне через чур страшно за маму и люду…*»

«*Чересчур*» написано в два слова, а «*Люда*» – с маленькой буквы. Такая была у поэта грамотность.

А вот что писала о Маяковском (как бы в ответ на его слова о ней) Лили Брик:

«*Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но всё это – капля в море для человека, у которого «ненасытный вор в душе», которому*

нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришёл тот, кто не пришёл, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит».

Как видим, жизнь продолжалась. Но это была особенная жизнь, совсем не похожая на ту, что протекала раньше.

Жизнь порознь

Итак, Маяковский и Лили Брик разошлись. Каждый – по своей квартире (или, если точнее, каждый – по своей комнате в разных квартирах). Поэт принялся сочинять нечто «*настоящее*» – поэму о своей несчастной любви, а Лили Юрьевна…

Вот что написала она в Париж сестре Эльзе:

«*Я в замечательном настроении, отдыхаю. Тик мой совершенно прошёл. Наслаждаюсь свободой! Занялась опять балетом – каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцуем. Ося танцует идеально. ‹…› Мы завели себе даже тапёра. ‹…› Материально живу не плохо – деньги беру у Лёвочки – у него сейчас много*».

«*Лёвочка*» – это всё тот же Лев Гринкруг, финансовый директор РОСТА, который стал по тем временам весьма зажиточным человеком.

Разрыв между Лили Брик и Маяковским всё-таки ошарашил их ближайших друзей. Эмигрант Виктор Шкловский писал из Берлина в Прагу Роману Якобсону:

«*Внимание! Лили разошлась с Маяковским. Она влюблена (навернула) в Кр*<аснощёкова>. *Эльзе этого не сообщай, если вообще с ней сообщаешься*».

Слух о новом увлечении Лили Брик быстро распространился.

Аркадий Ваксберг:

«*Роман Лили с Краснощёковым разворачивался в полную силу, он был у всех на виду, о нём судачила вся Москва – очень уж были заметны фигуры его участников. Каждая по-своему – и всё равно очень заметны*».

Странно, что никто из биографов не сообщает о том, как реагировал на этот роман Маяковский, ведь какие-то слухи наверняка до него доходили (просто не могли не доходить). К такой открытости отношений Лили Брик и Краснощёкова, надо полагать, чекисты и стремились, когда затевали это «*чрезвычайное*» дельце.

Бенгт Янгфельдт (о том, как реагировала на людскую молву сама Лили Брик):

«*Но если на сплетни вокруг этого романа она вряд ли обращала внимание, то слухи о растратах, которые начали муссироваться в связи с именем Краснощёкова, не могли её не беспокоить. Учитывая колоссальные суммы денег, которыми*

распоряжался Краснощёков в качестве директора Промбанка и генерального представителя Российско-американской промышленной корпорации, многим обвинения казались вполне правдоподобными. В любом случае распространение слухов свидетельствовало о том, что у Краснощёкова есть сильные враги в партийном и правительственном аппаратах».

Как видим, Бенгт Янгфельдт, даже признавая, что у Краснощёкова были опасные недруги, никакой «*чекистской*» версии не выдвигал, а придерживался точки зрения Лили Брик: дескать, Маяковский «*омещанился*», и поэтому ей с ним пришлось разойтись.

И они расстались. На два месяца. Но почему именно на два?

Ваксберг предположил:

«*Срок, скорее всего, выбран случайно. Так решила Лиля, и это, стало быть, обсуждению не подлежит…*»

Объяснение логичное и убедительное. Но возможно и другое предположение: двухмесячный срок был определён на Лубянке. Гепеушников, видимо, торопили, а за два месяца, считали они, можно дискредитировать кого угодно.

Разлад между Лили Юрьевной и Владимиром Владимировичем оттеснил на задний план (во всяком случае, для всего их окружения) те поистине судьбоносные события, которые происходили в стране. Во-первых, в конце декабря 1922 года состоялся Первый Всесоюзный съезд Советов, на котором было провозглашено создание нового государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Доклад об этом сделал Лев Каменев. Выступивший на съезде первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Сергей Миронович Киров предложил ознаменовать создание СССР возведением гигантского памятника – Дворца Советов. Делегаты съезда встретили эти слова бурными аплодисментами.

Во-вторых, у Ленина, начитывавшего стенографистке «Письма съезду», случился второй инсульт, и он надолго слёг в постель.

А Маяковский весь январь и февраль сочинял поэму о любви – ту самую, о намерении создать которую он объявил в «Я сам» ещё минувшим летом.

«*Одинокий*» творец

Чуть ли не все биографы Маяковского утверждают, что первые два месяца 1923 года он провёл в своей комнате-лодочке в Лубянском проезде, и там, обливаясь слезами, сочинял поэму о несчастной любви.

Но это не совсем так, если не сказать, совсем не так.

Сохранились документы, свидетельствующие о том, что поэт всё это время много и интенсивно работал. 4 января 1923 года в газете «Известия ВЦИК» было напечатано его стихотворение «Германия», в котором он делился впечатлениями о своей зарубежной поездке

«Я видел – / цепенеют верфи на Одере,
я видел – / фабрики сковывает тишь.
Пусть – / не верю, / что на смертном одре
лежишь».

И поэт дарил немцам «Рабочую песню», в которой говорил:

«Терпите, товарищи, расплаты во имя…
За всё – / за войну, / за после, / за раньше,
со всеми, / с ихними / и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше…
Это тебе дарю, Германия!»

В самом начале января Маяковский подал заявление в Агитационный отдел ЦК РКП(б) с просьбой разрешить ему от имени Левого фронта искусств (ЛЕФа) выпускать журнал «Леф». К заявлению прилагалось подробное объяснение того, для чего он всё это затевает (то есть к чему стремится «Левый фронт»):

«*а) Способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства;*

б) пересмотреть идеологию и практику так называемого левого искусства, отбросив от него индивидуалистические кривляния и развивая его ценные коммунистические стороны;

в) вести упорную агитацию среди производителей искусства за принятие коммунистического пути и идеологии…»

Далее шли ещё пять пунктов, изложенных в том же духе. Хотя этот «*план*» предполагавшегося к изданию журнала приведён в «Хронике жизни и деятельности Маяковского» как написанный им самим, перу поэта он, скорее всего, не принадлежал. Слишком заумно составлен, чересчур заполитизирован. Маяковский так никогда не говорил и уж тем более так не писал. Автором и составителем «*плана*» был, надо полагать, Николай Чужак, к тому времени приехавший в Москву и примкнувший к комфутам.

Маяковский в это время ещё писал и печатал в «Известиях» свои очерки о Париже и Берлине, а также сочинял книгу «Семидневный смотр французской живописи» (её рукопись он отправил потом в Госиздат).

16 января «Известия ВЦИК» опубликовали ещё одно стихотворение Маяковского, которое называлось «На цепь!». В нём речь шла о ситуации в стране Советов:

В. В. Маяковский в редакции газеты «Известия». Фото: Н. М. Петров. Москва, 1923.

«Ещё не кончен труд,
ещё не раб неб.
Капитализм – спрут.
Щупальцы спрута – НЭП.

Мы идём мерно,
идём, с трудом дыша,
но каждый шаг верный
близит коммуны шаг.

Рукой на станок ляг!

Винтовку держи другой!
Нам покажут кулак,
мы вырвем кулак с рукой».

Как видим, призывы поэта агрессивны, воинственны.

В тот же день (16 января) Агитационный отдел ЦК РКП(б) провёл совещание по вопросу о Левом фронте искусств. Были приглашены Маяковский, Чужак, Брик и другие комфуты, заявленные членами редколлегии будущего журнала. Агитотдел постановил:

«*а) признать желательным и целесообразным поддержку издательства Левого фронта искусств;*

б) включить издательство Лефа в ведение Госиздата;

в) предложить Госиздату приступить к изданию журнала «Леф»… и содействовать выходу книг того же направления».

Таким образом, детище Маяковского попадало в распоряжение Государственного издательства (ГИЗа), которое, как мы помним, относилось к поэту-футуристу очень и очень прохладно. Не случайно Пётр Незнамов заметил:

«*Не такое место был ГИЗ, чтоб легко было прошибить его. Но Маяковский – деятельный и заинтересованный – сделал и это*».

17 января «Известия ВЦИК» напечатали стихотворение Маяковского с названием: «Товарищи! Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и Моне». Моно – Московский отдел народного образования (Маяковский это слово склонял). Вот что в этом стихе говорилось:

«*Чуть с Виндавского вышел –*
поборол усталость и лень я.
Бегу в Моно. / «Подпишите афиши!
Рад Москве излить впечатления».

Но оказалось, что в Моно сидят бюрократы:

«Афиши обсуждаются / и единолично, / и вкупе…
Постоим… / и дальше в черепашьем марше!
Остановка: / станция «Член коллегии».
Остановка: / разъезд «Две секретарши»…
Ну и товарно-пассажирская эллегия!»

Ужаснувшийся числом тех, кто собирался утверждать его афишу, ставя на ней свою подпись, поэт высказал *«мораль»* своей

басни:

«*…для сеятелей подписей:*
чем сеять подписи – / хлеб сей».

Но оказалось, что бюрократов хватает и в самом Лефе. В тот же день (17 января) у себя в комнате (в Лубянском проезде) Маяковский провёл совещание, в котором приняли участие члены редколлегии задуманного журнала. Во время обмена мнениями вспыхнул спор. Затеявший его Николай Чужак покинул своих собеседников, чуть ли не хлопнув дверью.

Что же не устроило возмутителя спокойствия?

«Свои» и *«чужие»*

Чуть позднее Чужак написал и опубликовал в «Правде» (в августе 1923 года) статью под заголовком «В драках за искусство (разные подходы к Лефу)», где рассказал о разногласиях в *«окопах»* Левого фронта:

«Левый фронт искусства переживает глубокий внутренний кризис. Идёт почти открытая борьба двух составных элементов Лефа: старого футуризма, додумавшегося головой, и под воздействием извне, до производственного искусства, но отдающего производству только технику левой руки и явно путающегося между производством и мещанской лирикой, и производственнического крыла Лефа, пытающегося сделать из теории пока ещё корявые и робкие, но уже актуально-практические выводы и – это особенно важно – ставящего ставку не на индустриальное и неизбежно яческое искусство спецов, а на идущее с низов и лишь нуждающееся в оформлении – творчество массы».

Всего две фразы. Но как безумно длинна вторая! И как заумно изложены в ней мысли автора!

Но Маяковский не терял надежды договориться с несогласным. И отправил вслед ушедшему письмо:

«*Дорогой Чужак!*

Письмо это пишу немедля после Вашего ухода, пошлю Вам с первой возможностью…

Мне совершенно дико, что вот мы договорились с ЦК, с Гизом (часто с людьми эстетически нам абсолютно враждебными) и не можем договориться с Вами, таким испытанным другом и товарищем.

Я совершенно не могу угадать Ваших желаний, совершенно не могу понять подоплёки Вашей

аргументации…

Но помните, что цель нашего объединения – коммунистическое искусство… – область ещё тёмная, не поддающаяся ещё точному учёту и теоретизированию, область, где практика, интуиция обгоняет часто головатейшего теоретика. Давайте работать над этим, ничего не навязывая друг другу, взаимно шлифуя друг друга: вы – знанием, мы – вкусом. Нельзя понять Вашего ухода не только до каких бы то ни было разногласий, но даже до первой работы…

Как бы Вы ни отозвались на моё письмо, спешу Вам «навязаться», несмотря ни на какие Ваши реплики, считаю (и, конечно, считаем) Вас по-прежнему другом и товарищем по работе.

Не углубляйте разногласий ощущениями. Плюньте на всё и приходите – если не договоримся, то хоть поговорим.

Жму руку и даже обнимаю.

Маяковский.

6 ч. 25 м. 22/ I – 23 г.».

Вот, оказывается, в чём была суть вспыхнувших разногласий. Чужак предлагал, чтобы журнал «Леф» провозгласил коммунистическое искусство сейчас же, сию минуту. Это кардинально расходилось с позицией Маяковского и его сторонников, считавших эту «*область*» ещё слишком «*тёмной*», не до конца изученной и поэтому недостаточно понятной.

Чужак в Леф вернулся. Но 22 января в Пролеткульте, где состоялось обсуждение первого номера готовившегося журнала, вновь вспыхнул спор. И снова с Чужаком. Пётр Незнамов вспоминал:

«*Чужак сидел в Пролеткульте и редактировал журнал «Горн». Это был «Леф», как его понимал Чужак – вот это действительно была скучища!*

Я был на совещании в Пролеткульте… На этом совещании сотрудников журнала «Леф», или, как их сердито называл Чужак, «товарищей-гениев», «старых спецов художества» и «литераторов», – пытались уговорить принять, в подражание партии, жёсткие организационные формы, но Маяковский резко воспротивился этому. Чужаку не удалось повторить здесь своих Владивостокских неистовств, и игра в организацию не состоялась.

Подобные предложения превратить творческое содружество в организацию неоднократно… повторялись разными людьми. Но

никогда они не имели успеха у Маяковского».

Пути Маяковского с его анархистскими взглядами и Николая Чужака, мыслившего по-большевистски, разошлись окончательно и бесповоротно. Этому больше всех был рад глава ЛЕФа, который, по словам Петра Незнамова, сравнивал Чужака…

«*…с «почтовым ящиком для плохих директив». Но как только Чужак ушёл, Маяковский охрактеризовал положение блистательным: все вопросы решаются коротко, без споров*».

Жизнь продолжается

23 января 1923 года Владимир Маяковский сдал издательству «Красная новь» рукопись сборника «Стихи о революции».

31 января отдал в «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП(б)» очерк «Сегодняшний Берлин» (его перепечатывали потом периферийные газеты).

2 февраля в газете «Известия» появился другой его очерк: «Париж (Театр Парижа)».

1 февраля был заключён договор с издательством «Круг» на сборник «До и после» («Маяковский улыбается, Маяковский смеётся, Маяковский издевается»). В предисловии поэт заявил:

«*Я убеждён – в будущих школах сатиру будут преподавать наряду с арифметикой, и с неменьшим успехом. Особенно шалящие и резвые ученики будут выбирать смех своей исключительной специальностью. Будет, обязательно будет высшая смеховая школа*».

Как видим, Маяковский не только проливал слёзы над рукописью создававшейся поэмы о несчастной любви, он успевал улыбаться, смеяться и даже издеваться. Пётр Незнамов, описывая посещения Маяковским издательства «Круг», особо отметил:

«*Когда приходил Маяковский, в комнате сразу становилось тесно от него самого, от громады его голоса, от безаппеляционности его принципиальных заявлений*».

За время разлуки с Лили Брик поэт занимался очень многими и самыми разными делами, продолжая при этом сочинять свою поэму. 12 февраля Владимир Маяковский переписал её от руки и поставил дату. В «Я сам» об этом сказано:

«*Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте*».

13 февраля в «Бюллетене Прессбюро Агитотдела ЦК РКП(б)» был опубликован очерк Маяковского «Парижские провинции».

23 февраля «Известия» напечатали ещё одно его стихотворение «Барабанная песня» (тоже весьма воинственное):

«*Если вождь зовёт,*

рука, на винтовку ляг!
Вперёд, за взводом взвод!
Громче печать – шаг!..

Наша родина – мир.
Пролетарии всех стран,
ваш щит – мы,
вооружённый стан».

В тот же день (23 февраля) в журнале «Красная Нива» появилась статья Маяковского «Революционный плакат».

25 февраля газета «Известия» поместила его стих: «Срочно. Телеграмма мусье Пуанкаре и Мильерану». Во Франции эту «*телеграмму*» прочли и взяли на заметку.

27 февраля «Бюллетень Прессбюро Агитотдела ЦК РКП(б)» разослал по местным газетам агитационное стихотворение Маяковского «Про Фёклу, Акулину, корову и бога», иллюстрированное его же рисунками. Поэт рассказывал о деревенской женщине Фёкле и о её занедужившей корове:

«*Известно бабе – / в таком горе*
коровий заступник – / святой Егорий».

Стихотворение же рекомендовало ей обращаться не к святому, а к Акулине:

«*Акулина дело понимала лихо.*
Аж её прозвали / – «Тётя-большевиха».

И Маяковский давал бабе Фёкле совет:

«*Болезням коровьим – / не помощь бог.*
Лучше / в зубы возьми ног пару
да бросайся / со всех ног –
к ветеринару».

Сразу вспоминается Сергей Есенин, с удивлением спрашивавший, а что Маяковский в деревенских делах понимает. Но Владимир Владимирович на подобные вопросы внимания не обращал и продолжал сочинять стихи, учившие деревню уму-разуму.

А как в это время складывались отношения поэта с отвергнувшей его Лили Брик?

В квартиру на Водопьяном переулке он не заходил, но непрестанно слал Лили Юрьевне (по её же словам)…

«*…письма, записки, рисунки, цветы и птиц в клетках – таких же узников, как он. Большого клеста, который ел мясо, гадил как лошадь и прогрызал клетку за клеткой. ‹…› Когда мы помирились, я раздарила всех этих птиц. Отец Осипа Максимовича пришёл к нам в гости, очень удивился, что их нет, и спросил глубокомысленно: «В сущности говоря, где птички?»*»

Казалось бы, интересный эпизод, относящийся ко времени разлуки разошедшихся супругов. Но существует другое воспоминание той же Лили Брик о тех же птичках:

«*Одно время, в 1923 году, Маяковский увлекался птицами и накупил их массу, самых разнообразных. Они быстро надоели ему, и он всех их выпустил на волю. Пришёл к нам как-то обедать отец Осипа Максимовича Брика и направился прямо к птичкам. Их не оказалось. У него сделалось страшно удивлённое лицо, он оглянулся на Маяковского и недоумённо спросил его: «В сущности говоря, где птички?» Вопрос этот показался Маяковскому необычайно забавно-глубокомысленным. Он долго носился с этой фразой, пока, наконец, не нашёл ей место в «Мелкой философии на глубоких местах»*».

Эти две приведённые нами цитаты говорят о том, что к воспоминаниям Лили Брик следует относиться очень осторожно – уж очень по-разному описывала она события.

Что же касается стихотворения «Мелкая философия на глубоких местах», то оно появилось два года спустя – во время пересечения поэтом Атлантического океана. Там есть такие строки:

> «*Годы – чайки. / Вылетят в ряд –*
> *и в воду – / брюшко рыбёшкой пичкать.*
> *Скрылись чайки. / В сущности говоря,*
> *где птички?*»

6 февраля 1923 года (в самый разгар двухмесячной разлуки с Маяковским) Лили написала Эльзе Триоле о том, как события могут развиваться дальше:

«*Если увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же – нет, то Бог с ним*!»

И Лили Брик продолжала заниматься балетом, танцевала. И так «*раскрутила*» Краснощёкова, что гепеушники от свалившейся удачи радостно потирали руки. Да, они не могли арестовать высокопоставленного члена партии, но у них появилась

возможность передать по лученные от этой «*раскрутки*» факты в карающий орган РКП(б) – Центр льную Контрольную Комиссию (ЦКК). Её членом состоял Арон Александрович Сольц, которому и было поручено довести дело Промбанка до конца.

Началось следствие.

В ГПУ Лили Брик, надо полагать, поздравили с блестящим завершением порученного ей дела, сказав, что «*овчинку*» она «*отделала*» как надо, и что ей полагается за это награда.

О том, что операция ГПУ проходит успешно, было ясно уже 6 февраля, когда Лили писала сестре в Париж:

«*Сейчас февраль. В начале мая думаем ехать. Значит, скоро увидимся*».

Стало быть, Лили Юрьевну, в самом деле, наградили, пообещав ей зарубежный вояж. И это несмотря на то, что в самом начале 1923 года контролирование поездок за границу ещё более ужесточилось. Политбюро создало специальную Комиссию (Молотов, Литвинов, Уншлихт и ещё несколько человек) для выработки предложений по усилению слежки за работниками наркомата по иностранным делам. 8 февраля на заседании политбюро (в присутствии Зиновьева, Каменева, Рыкова, Сталина, Томского, Троцкого, Молотова, Калинина и Бухарина) было принято решение:

«*2. О взаимоотношениях НКИД и ГПУ*

а) Одобрив предложенные Комиссией меры для усиления контроля ГПУ над личным составом дипкурьерской части НКИД, признать необходимым оставить последнюю в фактическом подчинении НКИделу, как это было до сих пор.

б) О всех принимаемых на службу в НКИД сотрудниках НКИД обязан не позднее, чем за 3 дня до приёма сообщать ГПУ».

То есть попасть в число тех, кому дозволялось свободно разъезжать по заграницам, становилось всё труднее. Даже за дипкурьерами стали следить! Но к Лили Юрьевне Брик это не относилось.

Конец разлуке

В Америке в это время гастроли Айседоры Дункан были запрещены.

Илья Шнейдер:

«*Речи Айседоры, газетный шум привели к тому, что Дункан была лишена американского гражданства – «за красную пропаганду». Ей и Есенину было предложено покинуть Соединённые Штаты.*

Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:

– Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.

Эти её слова были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки».

Айседора и Сергей покинули Соединённые Штаты 3 февраля на пароходе «Георг Вашингтон».

А освобождённый из лубянской тюрьмы Яков Серебрянский устроился на работу – заведующим канцелярией нефтетранспортного отдела треста «Москвотоп». Его дела, вроде бы, пошли на лад, но в начале 1923 года он был заподозрен во взяточничестве и вновь арестован. Однако улики не подтвердились, и взятого на поруки Серебрянского освободили. Кто-то опять вытащил его из гепеушных застенков. Кто? Наверняка всё тот же Яков Блюмкин.

28 февраля в 3 часа дня срок «*разлуки*» Лили Брик и Владимира Маяковского завершался. И Лили Юрьевна послала Владимиру Владимировичу короткое письмо:

«*Волосик, детик, щеник, я хочу поехать с тобой в Петербург 28-го. Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твоя Лиля*».

Обрадованный Маяковский купил два билета в международный вагон (с двухместными купе) поезда Москва-Петроград.

Незадолго до этого народный комиссар внутренних дел Феликс Дзержинский издал приказ о переименовании Николаевской железной дороги и Николаевского вокзала в Москве в Октябрьские.

Поэт отослал Лили Юрьевне её билет, написав:

«*Дорогой Детик. Шлю билет. Поезд идёт ровно в 8 ч. Встретимся в вагоне*».

Вслед за этим посланием полетело второе:

««Мрачные дни миновали
час искупленья пробил»
«Смело товарищи в ногу и т. д.»

Целую твой <рисунок радостно улыбающегося щенка>

3 ч. 1 м. 28/11 23 г.»

Лили Юрьевна отправилась на Октябрьский вокзал столицы. Провожавшая её Рита Райт постом вспоминала:

«*Мы ехали на извозчике, было холодно, ветрено, но Лиля вдруг сняла шапочку, я сказала:* «*Киса, вы простудитесь*», *и она снова нахлобучила шапку, и видно было, как она волнуется*».

А вот что запомнилось самой Лили Брик:

«*Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона*».

Рита Райт:

«*Уходя, я обернулась и увидела, как Лиля идёт к вагону, а Маяковский стоит на площадке, не двигаясь, окаменев…*»

Лили Брик:

«*Как только поезд тронулся, прислонившись к двери, Володя прочёл мне поэму «Про это». Прочёл и облегчённо расплакался*».

Других свидетельств об этой читке, разумеется, нет. Да их и быть не могло – ведь всё происходило с глазу на глаз. Поэтому нам не остаётся ничего иного, как поверить утверждению Лили Юрьевны, что всё происходило именно так. Ещё она написала:

«*Не раз в эти два месяца я мучила себя упрёками за то, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это было именно так*».

И вновь перед нами изощрённое лукавство. Ведь выходит, что агентесса ГПУ не только выполняла порученное ей ответственное задание, но и билась ещё за «*идеалы человечества*». Даже если она имела в виду коммунистические идеалы, в её слова всё равно трудно поверить.

Как бы там ни было, но, вернувшись в Москву, Лили сказала встречавшей их Рите Райт:

«*Володя написал гениальную вещь*!».

«Читка» поэмы

8 марта 1923 года в Политехническом музее состоялся интернациональный митинг «Революция и литература», на котором Маяковский прочёл стихотворения «Париж», «Левый марш» и «III Интернационал». Последний стих завершался строками:

«Мы идём! / Штурмуем двери рая.
Мы идём. / Пробили дверь другим.
Выше, наше знамя! / Серп, / огнём играя,
обнимайся с молотом радугой дуги.

В двери эти!
Стар и мал!
Вселенься, Третий
Интернационал!»

Среди тех, кто выступал в Политехническом, был молодой турецкий поэт Назым Хикмет, который впоследствии написал:

«*На этом вечере перед выступлением я очень волновался. Но Маяковский сказал мне, успокаивая:*

– Послушай, турок, не бойся, всё равно не поймут».

Вскоре состоялось представление поэмы «Про это» близкому кругу людей. Среди приглашённых были Лев Гринкруг и известный в ту пору журналист Михаил Ефимович Кольцов (Моисей Ефимович Фридлянд), который привёл с собой своего младшего брата, художника-карикатуриста Бориса Ефимовича Ефимова (Фридлянда), оставившего воспоминания:

«*Помню огромную комнату, переполненную людьми, нестройный гомон голосов. Маяковский был, по-видимому, в отличном настроении, оживлён, приветлив, произносил шуточные, забавные тосты*».

Пётр Незнамов:

«*Припоминается, что «просочился» на чтение поэмы и Гроссман-Рощин*».

Как видим, опять Иуда Гроссман-Рощин оказался среди самых-самых близких товарищей поэта. Стало быть, и к анархизму Маяковский относился с прежним благоговением.

Прибыл и нарком Луначарский с супругой Натальей Розенель, которая потом написала:

«*Приехали мы в Водопьяный переулок, когда большинство приглашённых уже собралось…*

На этом вечере я впервые увидела Лилю Юрьевну Брик, тоненькую, в чёрном платье, с гладко причёсанными тёмно-рыжими волосами…

Запомнился мне Осип Максимович Брик, любезный и корректный, Асеевы, Борис Пастернак, Гроссман-Рощин, Малкин, Шкловский. Посреди комнаты художник Давид Петрович Штеренберг очень оживлённо убеждал в чём-то Маяковского…

Всё моё внимание невольно фиксировалось на Маяковском. Большого роста и при этом очень складный, с широкими, уверенными движениями, хорошо посаженной круглой головой и внимательным взглядом золотисто-карих глаз, он вдруг улыбался как-то очень молодо и по-мальчишески застенчиво, и от этой улыбки у его собеседника сразу исчезала всякая скованность при

общении с ним».

В этих воспоминаниях Натальи Розенель вызывает удивление лишь упоминание Шкловского, что он, мол, присутствовал на той читке. А Шкловский в это время был ещё эмигрантом и жил в Берлине. В страну Советов он вернулся лишь через пять месяцев.

Борис Ефимов:

«*Наконец, всё стихло. Началось чтение.*

Читал Маяковский с огромным темпераментом, выразительно, увлечённо. Мощно звучал красивый голос поэта».

Александр Родченко:

«*Читал Володя с необычайным подъёмом*».

Пётр Незнамов:

«*Маяковский придавал своему произведению большое значение, он настаивал на этой поэме и читал её прекрасно, подпевая в том месте, где «мальчик шёл, в закат глаза уставив»*».

Наталья Розенель:

«*В этот вечер Владимир Владимирович был как-то особенно в ударе. Впечатление было ошеломляющее, огромное. Анатолий Васильевич был совершенно захвачен поэмой и исполнением*».

Борис Ефимов:

«*Я слушал с напряжённым вниманием, но скоро, к немалому своему огорчению, обнаружил, что сложный смысл ускользает от меня, и содержание новой поэмы, во всяком случае, гораздо труднее для восприятия, чем ранее знакомые стихи Маяковского. Осторожно поглядывая на лица слушателей, я видел на них сосредоточенное, «понимающее» выражение, что ещё больше смутило меня.*

После чтения началось обсуждение, живое, страстное».

Луначарский с женой, видимо, сразу после завершения «читки» уехали, поэтому Наталья Розенель написала в воспоминаниях:

«*Обмена мнениями не было…*

Помню состояние какого-то лёгкого поэтического опьянения, в котором мы возвращались домой».

1800 строк

Та мартовская ночь, когда завершилась читка новой поэмы Маяковского, а гости разъезжались по домам, была ещё по-зимнему метельной. Наталья Розенель вспоминала:

«*В машине Анатолий Васильевич говорил мне, что сегодняшний вечер особенно убедил его, какой огромный поэт Маяковский.*

– Я и раньше знал это, а сегодня уверился окончательно. Володя – лирик, он тончайший лирик, хотя он и сам не всегда это

понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем лирик. А ты обратила внимание на глаза Маяковского? Такие глаза могут быть только у талантливого человека. У него глаза, как у большой, очень умной собаки. (У Анатолия Васильевича «собака» – было одним из самых ласкательных слов.)…

Мне редко приходилось видеть Анатлия Васильевича в таком радостно возволнованном настроении».

Надо полагать, что именно так оно и было – ведь Маяковский был великолепным чтецом, а свои произведения читал и вовсе бесподобно.

В марте 1923 года произошло ещё одно событие, на этот раз чрезвычайное – у Владимира Ильича Ленина случился третий инсульт. Но страну оповестили об этом не сразу, поэтому поэт-лефовец всё ещё был во власти созданной им поэмы. С нею надо было ознакомить публику, и на улицах Москвы появились афиши, зазывавшие граждан послушать это новое произведение в исполнении автора.

Одна из таких афиш попалась на глаза Луначарскому, и 27 марта он написал Маяковскому письмо:

«*Дорогой Володя! Я нахожусь всё ещё под обаянием Вашей прекрасной поэмы. Правда, я был очень огорчён, увидя на афише, объявляющей о чтении, и рекламу относительно каких-то несравненных или невероятных 1800 строк.*

Мне кажется, что перед прочтением такой великолепной вещи можно уже и не становиться на руки и не дрыгать ногами в воздухе. Эти маленькие гримасы, которые были милы, когда Вы были поэтическим младенцем, плохо идут к вашему возмужавшему и серьёзному лицу. Предоставьте их окончательно Шершеневичу. Это так, маленький упрёк потому, что я Вас вообще люблю, а за последнее Ваше произведение – втройне».

Эти слова можно дополнить воспоминаниями Натальи Розенель:

«*…некоторые выпады Маяковского огорчали Анатолия Васильевича…*

Ещё больше огорчали его какие-то отголоски прежней, дореволюционной бравады, изредко появляющейся у Маяковского в 20-х годах и о которой Анатолий Васильевич говорил, что это было уместно до 1917 года: «pour epater les bourgeois» («чтобы ошарашить буржуа» – франц.), – но нам это ни к чему».

К той же поре относится ещё одно высказывание Луначарского:

«*Несмотря на то, что я сильно поспорил с Влад. Маяковским, когда он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое великое призвание современного поэта – в хлёстких стихах*

жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, в душе я был доволен. Я знаю, что Маяковского в луже на Мясницкой улице долго не удержишь, а это почти юношеский (ведь Маяковский до гроба будет юношей) пыл и парадокс гораздо приятнее, чем та форма «наплевизма» на жизнь, которой является художественный формализм при какой угодно выспренности и жреческой гордыне».

Публичные читки поэмы «Про это» продолжались. И всё чаще раздавались голоса:

– Не понимаю! Что хотел сказать автор?

Попытки понять

29 марта 1923 года вышел первый номер журнала «Леф», в котором была напечатана поэма «Про это». Вскоре она вышла отдельным изданием, и Лили Брик, отвечая на многочисленные вопросы читателей, о чём это произведение, говорила:

«*Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский зашифровал её*».

О чём же она? Что хотел скрыть её автор? Что зашифровал?

В. В. Катанян, как бы тоже отвечая на подобные вопросы, написал:

«*Чем понятнее стихи, тем они непоэтичнее – поэма сложна*».

Маяковский и сам понимал это. Поэтому предварил её прологом, который назвал «*Про что – про это*?». В нём есть такие радостно-оптимистичные строки:

> «*Эта тема придёт, / прикажет: / – Истина! –*
> *Эта тема придёт, / велит: / – Красота! –*
> *И пускай / перекладиной кисти раскистены –*
> *только вальс под нос мурлычешь с креста*».

Но далее следуют слова совсем другого настроя:

> «*Это хитрая тема! / Нырнёт под события,*
> *в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,*
> *и как будто ярясь / – посмели забыть её! –*
> *затрясёт; / посыплятся души из шкур*».

После десяти таких же интригующих четверостиший Маяковский, наконец, подводит итог:

> «*Эта тема день истемнила, в темень*
> *колотись – велела – строчками лбов.*

Имя / этой / теме:
любовь».

Впрочем, последнее слово (да ещё особо выделенное) было только в рукописи. Во всех же напечатанных поэмах вместо слова «***любовь***» стоит многоточие. Что хотел сказать этим поэт? Что любовь – всего лишь одна из тем поэмы? Что есть и другие, не менее важные?

Бенгт Янгфельдт:

«*«Про это» полна скрытых и явных цитат из Достоевского, любимого писателя Маяковского. Это касается и собственно названия, которое заимствовано из «Преступления и наказания». Когда Раскольников говорил* ***про это****, он имел в виду своё преступление*».

А что скрыл под местоимением «***это***» Маяковский?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, приглядимся к тому, с чего поэма начинается.

Первая её глава называется «*Баллада Редингской тюрьмы*». И сразу же (во втором четверостишии поэмы) представляются адреса главных её героев и сами герои:

«Лубянский проезд. / Водопьяный…
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то, / что «он» – это я
и то, что «она» – / моя».

Затем называется время действия поэмы – канун Рождества, то есть 6 января. И Маяковский задаёт вопрос, который напрашивается сам собой (орфография автора):

«*При чём тюрьма? / Рождество. / Кутерьма.*
Без решёток окошки домика!
Это вас не касается. / Говорю – тюрьма.
Стол. / На столе соломинка».

В рукописях сохранился вариант:

«*А при чём в балладовой драме тюрьма…*
Это никого кроме меня не касается».

Конечно, российским читателям и слушателям, которые в массе своей были не очень образованными, трудно было понять, с чего это вдруг в поэме о любви появилась тюрьма. Да ещё какая-то «*Редингская*». Но ближайшему окружению Маяковского это название было хорошо знакомо – именно так («Баллада Редингской тюрьмы») называлась поэма ирландского поэта, писателя и драматурга Оскара Уайльда, написанная в 1897 году и в следующем году опубликованная. На русском языке она вышла в 1915 году (в переводе Валерия Брюсова).

Уайльд и Маяковский

Оскар Уайльд в 1895 году был приговорён к двум годам каторжных работ и полтора года провёл в тюрьме города Рединга графства Беркшир. В его «Балладе» есть посвящение, которое Брюсов перевёл так:

«*Памяти К. Т. В., бывшего кавалериста Королевской Конной гвардии. Скончался в тюрьме Его величества Рэдинг, Беркшир, 7 июля 1896 года*».

«*К. Т. В.*» – это инициалы Чарлза Томаса Вулриджа (Charles Thomas Woolridge), тридцатилетнего конногвардейца, приговорённого к смертной казни за убийство своей жены (из-за ревности) и казнённого в Редингской тюрьме.

Обратим внимание, что Маяковскому в 1923 году тоже исполнялось тридцать лет. И казнили Чарлза Вулриджа 7 июля 1896 года, то есть в тот самый день, когда Маяковскому исполнилось три года.

«Баллада» Оскара Уайльда написана под псевдонимом «*С.3.3.*» – это был тюремный номер Уайльда (галерея С, третья площадка, камера три). Номер тюремной камеры Маяковского в Бутырской тюрьме тоже оканчивался на тройку – 103.

В 1915 году, когда в России зачитывались переводом Брюсова, Владимир Маяковский написал первую свою поэму «Облако в штанах» и познакомился с Лили Брик.

В «Балладе Редингской тюрьмы» рассказывается о казни ревнивого британца, убившего свою жену. А тридцатилетний российский поэт тоже был приговорён – к двухмесячной разлуке со своей женой, которую Маяковский приревновал к Краснощёкову.

Так что ближайшее окружение Владимира Владимировича, которое было хорошо знакомо с поэмой Оскара Уайльда, сразу понимало, откуда в поэме «Про это» слово «*тюрьма*».

Но тут вновь возникают загадки. Если глава названа точно так же, как поэма Уайльда, то эпиграф тоже должен быть из неё.

Но не тут-то было! Эпиграф другой:

««Стоял – вспоминаю. / Был этот блеск.
И это / тогда / называлось Невою».
Маяковский, «Человек»».

Это означает, что в поэме «Про это» рассказывается не только о «*редингской тюрьме*», но что-то будет взято и из поэмы «Человек».

Вспомним эту поэму Маяковского, перечитаем-ка её ещё разок. И сразу возникнет ощущение, что написана она по той же самой причине, из-за которой пришлось писать поэму «Про это»: поэт приревновал свою любимую. К кому? В «Человеке» (в главке «Жизнь Маяковского») написано так:

«Повелитель Всего – / соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтоватых восхитительные полосы…»

В главке «Страсти Маяковского» описание соперника продолжено:

«Череп блестит, / хоть надень его на ноги,
безволосый, / весь рассиялся в лоске.
Только / у пальца безымянного / на последней фаланге
три / из-под бриллианта / выщетинились волосики».

И вот тут-то возле этого лысого соперника неожиданно возникает возлюбленная поэта, которая произносит названия поэм Маяковского:

«Вижу – подошла. / Склонилась руке.
Губы волосикам, / шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» – другой,
третий – сияньем неведомым
какого-то / только что / мною творимого имени».

Возмущённый поэт спрашивает, восклицая:

«Что это? / Ты? / Туда же ведома?

В святотатстве изолгалась!»

И у Маяковского вспыхнула ревность. Случилось это в 1916 году. То есть через год после знакомства с Лили Юрьевной. И после того, как была написана поэма «Флейта-позвоночник». Надо полагать, что Лили Юрьевна в тот момент вела себя как всегда вызывающе, ни с кем и ни с чем не считаясь и ни от кого ничего не скрывая.

Поэт, уличивший любимую в измене, мстить ей не стал – видимо, «Баллада Редингской тюрьмы» постоянно напоминала ему о том, как сурово и неотвратимо карается мщение. И он написал в «Человеке»:

«Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах / верхом / «Закон»,
на сердце цепь – / «Религия»».

И Маяковский решил покончить с собой. По телефону сообщил об этом Лили Брик – ведь из жизни он уходил из-за неё. Выстрелил. Произошла осечка. Лили Юрьевна приехала, забрала его с собой. У неё дома они стали играть в карты.

Так, ссылаясь на свидетельства Лили Брик, описывают тот инцидент практически все биографы Маяковского. Правда, никто не указывает, когда именно случилась эта история – в 1916 или в 1917 годах: Лили Юрьевна запамятовала. Но ознакомившись с поэмой «Про это», можно с уверенностью сказать, что всё произошло в 1916 году. Завершив писавшуюся тогда поэму «Война и мир», Владимир Владимирович сразу же приступил к созданию следующего произведения – о своём несостоявшемся самоубийстве. И написал, что он принял яд и вознёсся на небо. Однако поразмышляв там какое-то время («*Сколько их, веков, успело уйти, в дребезги дней разбилось о даль…*»), решил вернуться на Землю. И он возвращается. И вновь оказывается в городе на Неве. Зачем? Чтобы отомстить («*Проснулись в сердце забытые зависти*»). И поэт покупает оружие мщения:

«*Антиквар! / Покажите! / Покупаю кинжал.*
И сладко чувствовать, / что вот / перед местью я».

Но мщения не получилось. Ведь даже улица, на которой жила любимая, изменила название: была Жуковской, а стала, как

говорят ему:

««Она – Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой»
Кто, / я застрелился? / Такое загнут!»

Но любовь, которой так гордился поэт, ушла, закончилась. И он с горечью подводит итог:

«Петлёй на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне / наручники,
любви тысячелетия…»

Если «Флейта-позвоночник» воспевала Лили Брик, то поэма «Человек» была явно направлена против неё. Не Лили ли Юрьевна восстановила против этого произведения Алексея Максимовича Горького? Слишком много доводов подтверждают такую версию.

Но потом отношения восстановились. И поэму «Человек» поэты-символисты назвали шедевром. И любовь, вроде бы, вернулась. Но ненадолго. В 1923 году поэту пришлось вновь сочинять поэму о любви и ревности.

Что же вышло из-под пера Маяковского?

Содержание поэмы

Итак, на столе у героя поэмы «Про это» оказалась спасительная соломинка – телефон. И Маяковский позвонил. Ей. Но она говорить с ним не пожелала, о чём поэту сообщила взявшая трубку кухарка Аннушка. И поэт сразу же начал рыдать и превратился в плачущего медведя.

Почему медведя?

Бенгт Янгфельдт понял это так:

««*Медвежья*» *метафора заимствована у Гёте, который в стихотворении* «*Парк Лили*» *представляет себя ревнивым медведем*».

Но Гёте здесь, скорее всего, не причём. Маяковский, любивший играть словами, сам придумал себе это прозвище. Из своих инициалов: буква М и две буквы В, то есть МВВ. Произносилось это как «*Ме две Ве*» или (сокращённо) «*Медве*». Маяковский даже написал (во второй главе), как встретили его в каком-то зале, куда он случайно попал:

«*Медведь, / медведь, / медведь, / медве-е-е-е-е…*»

Впрочем, это не столь уж важно. Выражаясь словами самого Маяковского:

«*Это никого кроме меня не касается…*
Говорю – я медведь…
Косматый. Шерстью свисает рубаха».

В облике этого медведя поэт и отправляется в вояж:

«*Белым медведем / взлез на льдину,*
плыву на своей подушке-льдине».

Доплыв до Петрограда, он увидел у Невы самого себя, а точнее, героя поэмы «Человек», который тут же обратился к нему:

«*– Владимир! / Остановись! / Не покинь!..*
Семь лет я стою. / Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж, / когда ж избавления срок?..
Пока / по этой / по Невской / по глыби
спаситель-любовь / не придёт ко мне,
скитайся ж и ты, / и тебя не полюбят.
Греби! / Тони меж домовых камней!»

Но «*подушка-льдина*» уносит героя поэмы в даль дальнюю от Невы. На этом первая глава завершается.

Во второй главе (она называется «Ночь под Рождество») рассказывается о том, куда понесло медведя-Маяковского дальше. Сначала он объявляется на Пресне, где живут его мать и сёстры, предлагая пойти вместе с ним на Неву, чтобы спасти стоящего на мосту человека:

«*Он ждёт. / Мы вылезем прямо на мост*».

Но мать и сёстры не рвутся возвращать сыну и брату его любимую, которая (в который уже раз) изменила ему. И Маяковский с горечью восклицает:

«*Так что ж?! / Любовь заменяете чаем?*
Любовь заменяете штопкой носков?»

И поэт отправляется в кругосветное «*Путешествие с мамой*». Но всюду, куда бы они ни приехали («*Париж, Америка, Бруклинский мост, Сахара*»), люди пьют чай, демонстрируя этим, что жизнь состоит не только из любви и революций.

Тогда Маяковский идёт к своему знакомому, который женат на Фёкле Давидовне. В черновиках она названа Розой Давидовной. В рукописи поэмы у героинь настоящие имена: у Лили Юрьевны – Лиля, у матери Маяковского – Александра Алексеевна. Стало быть, и Роза Давидовна вполне могла быть реально существовавшим человеком. Но кто она? И кто он – тот знакомый, к которому заглянул поэт?

Логика описанной Маяковским ситуации подсказывает: побыв в своей семье и поездив по планете, главный герой поэмы мог отправиться к своим сослуживцам.

Где тогда служил Маяковский? Мы предположили, что в ОГПУ. Кто был его непосредственным начальником? Меер Трилиссер.

Стало быть, Маяковский описал визит к своему гепеушному шефу («*хозяину*»), который встречал зашедшего к нему в гости подчинённого такими словами:

«*Маяковский! / Хорош медведь! –*
Пошёл хозяин любезностями медоветь…»

И начальник поэта начал представлять своих гостей:

«*А это… / Вы, кажется, знакомы?! –*
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнёры.
Усища – / к стёклам ламповым пыльники –
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоят столетья, / как было.
Не бьют – / и не тронулась быта кобыла».

Затем (и, пожалуй, впервые в творчестве Маяковского)

появляются насекомые, которые дадут название предпоследней его пьесе:

«*С матрацев, / вздымая постельные тряпки,*
клопы, приветствуя, подняли лапки».

Зашедшего в гости к шефу Маяковского приветствовали также вожди и кумиры разных эпох:

«*Исус, / приподняв / венок тернистый,*
любезно кланяется.
Маркс, / впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательскую лямку».

В черновиках вместо Маркса стоит Ленин.
И вдруг среди гостей Маяковский замечает:

«*Но самое страшное: / по росту, / по коже одеждой, / сама походка моя! – в одном / узнал – / близнецами похожи – себя самого – / сам / я*».

И все пьют чай (и не только!):

«*Весь самовар рассиялся в лучики –*
хочет обнять в самоварные ручки».

Маяковский, расстроенный тем, что чаёвничают всюду, отправляется в Водопьяный переулок, в квартиру, где живёт его любимая, оставившая поэта. Там тоже гости. Все пьяны («*в тостах стаканы исчоканы*»). Все танцуют («*танцы, полами исшарканные*»). А с ними танцует и его любимая. Маяковский восклицает:

«*Я день, / я год обыденщине предал,*
я сам задыхался от этого бреда.
Он / жизнь дымком квартирошным выел.
Звал: / решись / с этажей / в мостовые!».

И тут же добавляет, спрашивая:

«*Но где, любимая, / где, моя милая,*

где / – в песне – / любви моей изменил я?»

И поэту хочется с криком ворваться в квартиру, где все пьяны и танцуют:

«*Скажу: / – Смотри, / даже здесь, дорогая,*
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя / в проклятьях моих / обхожу».

Иными словами, Маяковский не хочет мстить, зная, какая кара ему за это мщение угрожает.

Поняв, что и любимая помочь ему не может, поэт вновь отправляется в путь, летит над Россией, над Европой. И вот он уже над Соборной площадью Московского Кремля – на куполе колокольни Ивана Великого. Москва отмечает Рождество:

«*В ущелья кремлёвы волна ударяла:*
то песня, / то звона рождественский вал».

И в тот самый момент, когда Маяковский (а если точнее, то его поэтический образ) оказался в Кремле (и даже над ним), его вдруг стали вызывать на дуэли (то есть, видимо, очень резко критиковать):

«*Спешат рассчитаться, / идут дуэлянты.*
Щетинясь, / щерясь / ещё и ещё там…
Газеты, / журналы, / зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругнёй / за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо! / Хватай, клевеща!»

Напрасно поэт пытался объяснить, что он – не настоящий Маяковский («*Я только стих, / я только душа*»), ему тут же нёсся ответ:

«*– Нет! / Ты наш враг столетний.*
Один тут уже попался – / гусар!»

Вопросы, обращённые к стоявшему на куполе храма поэту, и его ответы на них очень напоминают допросы, которое проводило

ГПУ. И рассказы Осипа Брика, который знакомил своих собеседников с приёмами и ухватками следователей-гепеушников. При этом Осип Максимович наверняка подкреплял лубянские истории строками из «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда:

«*В тюрьме растёт лишь Зло…*

Живут здесь люди в кельях узких,
И тесных, и сырых,
В окно глядит, дыша отравой,
Живая Смерть на них…

Поят водою здесь гнилою,
Её мы с илом пьём;
Здесь хлеб, что взвешан строго, смешан
С извёсткой и с песком;
Здесь сон не дремлет: чутко внемлет,
Крича, обходит дом».

Затем в поэме «Про это» следовал эпизод, в котором говорилось о расстреле главного её героя:

«*…со всех винтовок, / со всех батарей,*
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов, / с десяти, / с двух,
в упор – / за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят».

Но кто тот «*гусар*», про которого сказано, что он «*уже попался*» расстрельщикам?

Янгфельдт считает, что это «*ссылка на Лермонтова*».

Но, во-первых, за сто лет до написания этих строк Михаилу Лермонтову было всего девять лет, и он не был ещё гусаром. Во-вторых, Лермонтов погиб на дуэли, а Маяковский описал один из тех расстрелов, которые совершались тогда чуть ли не ежедневно (Осип Брик рассказывал о них достаточно красочно). Поэтому «*гусар*» вспоминается совсем другой – тот, который с марта 1916 года служил в 5-ом Гусарском Александрийском полку, и который был расстрелян чекистами в августе 1921 года. Звали его Николай Степанович Гумилёв.

Маяковский словно предчувствовал, что ОГПУ расправится и

с ним. Вот как он описал окончание своего расстрела:

«*Окончилась бойня. / Веселье клокочет.*
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле / поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком».

Можно с большой долей достоверности предположить, что Осип Брик нагонял страху на тех, кто слушал его рассказы. И Маяковский уже тогда мог побаиваться того, чтобы стать узником Лубянки, и он (с его прекрасной памятью) мог даже подсказывать Осипу строки Оскара Уайльда, описавшего узников Редингской тюрьмы:

«*Забыты всеми, гибнем, гибнем*
Мы телом и душой!..
Те плачут, те клянут, те терпят
С бесстрастностью лица…»

Описанием расстрела вторая глава заканчивается. Третья названа довольно многословно:

«*ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ…*
Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!»

Здесь Маяковский говорит, что пули, потраченные на его расстрел, замолчать его не заставят:

«*Я не доставлю радости*
видеть, / что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте».

Самоубийство поэта тоже не устраивает:

«*Верить бы в загробь! / Легко прогулку пробную.*
Стоит / только руку протянуть –
пуля / мигом / в жизнь загробную
начертит гремящий путь».

Маяковский нашёл другой путь, о котором Бенгт Янгфельдт написал:

«*Заключительная часть поэмы написана в форме прошения, обращённого к неизвестному химику тридцатого века…*

…он просит химика воскресить его, речь идёт о воскрешении во плоти и крови. Вторя идеям философа Николая Фёдорова о «воскрешении мёртвых» и теории относительности Эйнштейна (которые он с энтузиазмом обсуждал весной 1920 года с Якобсоном), он видит перед собой будущее, при котором все умершие вернутся к жизни в своём физическом обличии».

Николай Фёдорович Фёдоров был русским религиозным мыслителем и философом, которого называли «*московским Сократом*». Его уважали и им восхищались Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Александр Чижевский, Павел Флоренский и многие, многие другие известные люди начала XX века. Николай Фёдоров намеревался, собирая молекулы и атомы, «*сложить их в тела отцов*». С этими идеями был хорошо знаком и Владимир Маяковский.

Мнения слушателей

3 апреля в Центральном клубе московского пролеткульта состоялся диспут на тему «Футуризм сегодня», на котором Маяковский читал отрывки из своей новой поэмы. Завершая дискуссию, он сказал:

«*Здесь говорили, что в моей поэме нельзя уловить общей идеи. Я читал, прежде всего, лишь куски, но всё же и в этих прочитанных мною кусках есть основной стержень: быт. Тот быт, который ни в чём не изменился. Тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас мещан*».

Маяковский вновь заявлял о том, что его и его любимую разъединил ***быт***! Но ведь при этом оба они знали, что этого «*разъединителя*» звали Александр Краснощёков.

Не случайно в прологе поэмы возникли строки:

> «*Эта тема придёт, / вовек не износится,*
> *только скажет: / – Отныне гляди на меня! –*
> *И глядишь на неё, / и идёшь знаменосцем,*
> *красношёлкий огонь над землёй знаменя*».

Слово «*красношёлкий*» означает, что «*огонь*» возникает «*из красного шёлка*». Те, кто был в курсе любовного инцидента Лили Юрьевны и Владимира Владимировича, прекрасно понимали, что речь идёт о «***краснощёком***» огне, который, как знамя, предстояло

нести по земле Маяковскому.

Да, семейный разлад, вроде бы, был улажен. Александр Михайлов пишет:

«*Внешне для Маяковского ничего не переменилось, «семья» по-прежнему оставалась «семьёй», основным работником, обеспечивавшим её материально, оставался Маяковский*».

Но даже сегодня, когда о времени, в котором жил поэт, появилось очень много откровенной информации, читая поэму «Про это» очень трудно понять её суть, а пересказать её содержание ещё труднее. О чём же она? Об «***омещанивании***», которое у многих вытесняло (или даже успело вытеснить) «***служение***» высоким идеалам революции? Или о ГПУ, то есть о чрезвычайном «***управлении***»? Ведь это слово тоже среднего рода.

Прав был Борис Ефимов, признавшись, что у поэмы был «*сложный смысл*», который при прослушивании «*ускользал*» от него.

В памяти всплывает поэма «Человек» и изображённый в ней молодой Маяковский. Будучи уже тогда смертельно обижен Лили Юрьевной, он так и остался стоять над Невой:

> «*Семь лет я стою. / Я смотрю в эти воды,*
> *к перилам прикручен канатами строк.*
> *Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.*
> *Когда ж, / когда ж избавления срок*?»

В поэме «Про это» Маяковский вновь заговорил об «*избавлении*» от мучений. Мстить он не собирался, но если «пуле» суждено отправить его «*в жизнь загробную*», поэт, обращаясь к Лили Брик, требовал воскресить его:

> «*Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом*
> *ждал тебя, / откинул будничную чушь!*
> *Воскреси меня / хотя б за это!*
> *Воскреси – своё дожить хочу*!»

Поэму проиллюстрировал художник Александр Михайлович Родченко. Руководствуясь принципами футуризма, в основу оформления он положил не рисунки, а фотоснимки. Чтобы ярче отобразить тему неразделённой любви поэта, были использованы многочисленные фотографии Маяковского, с печальным видом изображавшего охватившую его тоску. А обложку украсила фотография, о которой Александр Михайлов написал:

«*…подчёркивая автобиографичность поэмы, Родченко*

поместил на обложку фотопортрет Л. Ю. Брик».

Над головой Лили Юрьевны разместилось название поэмы, а под ней – слово «*Маяковский*».

Казалось бы, всё логично! Вот только почему Родченко взял именно эту фотографию Лили Брик и именно так расположил слова названия? Ведь на снимке у Лили Юрьевны выпученные (просто вытаращенные) глаза, а буквы в названии поэмы («**О**» и «**Э**») напоминают рога. Что хотел сказать этим фотохудожник? Что Лили Брик – дьявол в юбке?

В конце марта 1923 года в центральных газетах появился первый правительственный бюллетень, оповещавший о третьем инсульте Ленина. Маяковский тотчас откликнулся на это событие стихотворением «Мы не верим!» – 1 апреля оно появилось в журнале «Огонёк»:

«*Тенью истемня весенний день,*
выклеен правительственный бюллетень.
Нет! / Не надо! / Разве молнии велишь / не литься?
Нет! / не оковать язык грозы!
Вечно будет / тысячестраницый
грохотать / набатный / ленинский язык…
Нет! / Нет! / Не-е-ет…
Не хотим, / не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних / сгинь, навязчивая тень!»

А. М. Родченко. Обложка книги «Про это». 1923 год

Возможно, именно тогда у Маяковского появилась мысль написать поэму о вожде. В «Я сам» (в главке «*23-й ГОД*») сказано:

«*Начал обдумывать поэму «Ленин»*».

А власть в стране Советов окончательно перешла в руки партийной «тройки»: Зиновьев, Каменев, Сталин.

Борис Бажанов потом напишет:

«*С января 1923 года тройка начинает осуществлять власть. Первые два месяца, ещё опасаясь блока Троцкого с умирающим Лениным, но после мартовского удара Ленина больше не было, и тройка могла начать подготовку борьбы за удаление Троцкого. Но до лета тройка старалась только укрепить свои позиции*».

В тот момент, когда страна узнала о третьем инсульте Ленина, а Маяковский всюду читал свою новую поэму, произошло

событие, которое никакого отношения ни к политике, ни к искусству не имело. Но о нём нельзя не упомянуть.

Глава вторая. Король и реклама

Выборы короля

В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» сказано:

«*1 апреля – выступление в Большой аудитории Политехнического музея на вечере «Первая литературная олимпиада»*».

Там же приведён отрывок из дневниковой записи ученицы 7 класса Т. Лещенко:

«*Сам Брюсов открыл вечер. Маяковский – какой могучий, красивый, огромный! – читал, разговаривал с публикой. Один заорал: «Не желаю вас слушать!» – а он усмехнулся и говорит: «А билет вы покупали? Тогда слушайте!» Публика орала, так хлопали, что стоял грохот.*

Он читал много, и как читал! Голос его, и эта его искренность! Такая, что вот самые его непонятные выражения – становятся ясными: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» И это был мощный, страшно наш Революционный Ноктюрн.

Я про Революцию – как Революцию – последнее время не думаю… И вот я Революцию снова полюбила и поняла что-то, чего раньше не понимала. И это сделал Маяковский и его стихи…

Каменскому очень хлопали – он читал: «Мы в сорок лет ещё совсем мальчишки». Но он и есть мальчишка рядом с Маяковским. Ещё новый поэт Илья Сельвинский читал стихи.

Господи, пусть Маяковский будет счастливый, пусть живёт дольше всех! Пусть все поэты будут счастливы! А не так, как Пушкин и Лермонтов!»

Кроме этих восторженных фраз семиклассницы в «Хронике» о том мероприятии больше нет ни единого слова. А ведь это была не просто «Литературная олимпиада», это были очередные выборы «*короля поэтов*». Если судить по строкам, написанным «*ученицей 7 класса*» и приведённым в «Хронике», то победителем должен был стать только один участник вечера – «*могучий, красивый, огромный*» Владимир Маяковский. Однако он, как и в 1918 году, вновь оказался только вторым.

А кто же завоевал королевскую корону?

Зрители присудили её тому, кто, судя по записи семиклассницы Т. Лещенко, просто «*читал стихи*» – почти никому тогда не известному молодому человеку, уроженцу Крыма, недавно приехавшему оттуда, чтобы продолжить учёбу на

факультете общественных наук (юридическом) Московского университета. Звали его Илья Сельвинский. И выступал он от имени недавно созданного литературного объединения конструктивистов, с которым и познакомил публику, зачитав декларацию «Знаем»:

«*Конструктивизм есть небывалое утверждение искусства… Конструктивизм есть центростремительное, иерархическое распределение материала, акцентированного (сведённого в фокус) в предустановленном месте конструкции…*

Илья Сельвинский, 1921 г.

Мы знаем, что цель человечества – творчество! Мы знаем, что творчество это должно быть конструктивным, то есть кратким и сжатым. Мы знаем, что в малом – многое, в точке – всё!»

Эту выспренную фразеологию публика встретила с пониманием – в ту пору практически все литературные группы стремились перещеголять друг друга вызывающими словесными эскападами. Но вслед за декларацией Илья Сельвинский принялся читать стихотворения, которые тоже были необычными. Первое называлось «Вор»:

«Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу – золотой бампер.
«Мусью, сколько время?» – Легко подхожу…
Дзззызь промеж роги… – и амба.

Только хотел было снять часы –
Чья-то шмара шипит: «Шестая».
Я, понятно, хода. За тюк. За весы.
А мильтонов – чёртова стая!

Подняли хай: «Лови!», «Держи!»..»

Этот вор даже вынул «*пятизарядный шпайер*», чтобы отстреляться, так как очень надеялся, что у него есть ещё «*шанец жить*». Но тут неожиданно набежала многолюдная толпа.

«И я себе пошёл, как какой-нибудь ферть.
Скинул джонку и подмигнул с глазом:
«Вам сегодня не везло, мадамочка смерть?
Адью до следующего раза!»»

Конечно, такой неожиданный жаргон и воровская тематика произвели фурор. А Сельвинский прочёл (на этот раз с цыганским акцентом) ещё одно стихотворение:

«Нночь-чи? Сон-ы. Прох?ладыда
Здесь в аллейеях загалохше? – го сады
И доносится толико стоны? гиттаоры:
Таратинна – таратинна – тап».

Вполне возможно (точных сведений об этом нет), что Сельвинский читал и стихи о своём поколении, написанные в 1921 году («Двадцатилетние»):«*Мы, когда монархии ухабы бахали,*

«Мы, когда монархии ухабы бахали,
Только-только подрастали, но средь всяких «но»,
И нервы наши без жиров и без сахара
Лущились сухоткой, обнажены, как нож.

Это мы в контрразведках за дело – не дело
Слушали икотку и шейный хруст.
Это мы в Чека и в Особых отделах
Чёрной кровью смолили Русь…

Жгли, засекали, но слыли героями,
А теперь средь этих макинтошей и панам
Мы только уголовники, криминалоиды,
Рецидивисты, бандиты, шпана!

Товарищ! Довольно нам портняжить на верфях!
Бросьте вдувать в паровозы вой!

Подобру, по-здорову почините-ка нам нервы
И наладьте нас, как любой завод.

Чтоб мы научились смеяться и плакать
И хоть как-нибудь сжаться в гражданский круг.
Пускай обывателями, но не цепной собакой,
Которую науськивают на всякую икру!»

На фоне стихов, которые читали другие участники поэтического состязания (а многое из того, что тогда читалось, было публике хорошо знакомо), то, что прочёл Сельвинский, прозвучало неожиданно и очень по-новому.

Всю свою жизнь Илья Львович Сельвинский гордился той нелёгкой своей победой в поэтическом соревновании. Победой над самим Маяковским!

Но если вспомнить, как и для чего был организован первый подобный конкурс в феврале 1918 года, когда «*королём поэтов*» стал Игорь Северянин, можно предположить, что и на этот раз известные поэты просто решили немного подзаработать. Всю славу и «*королевские*» почести отдать безвестному стихотворцу, а деньги разделить между остальными участниками поэтического состязания.

К сожалению, документальных свидетельств, которые подтвердили бы или опровергли подобное предположение, нет. Но это не означает, что его вообще следует сбрасывать со счетов.

Таланты других

3 апреля в Пролеткульте состоялся диспут на тему «Футуризм сегодня», на котором Маяковский вновь зачитал фрагменты из поэмы «Про это». Когда вновь раздались реплики тех, кто не понял прочитанных строк, поэт сказал:

«*Первое, на что я обращаю внимание товарищей, это на их своеобразный лозунг «не понимаю». Попробовали бы товарищи сунуться с этим лозунгом в какую-нибудь другую область. Единственный ответ, который можно дать: «Учитесь»*».

И эти слова произносил поэт, который сам не желал не только учиться чему-нибудь, но даже книги читать.

А находившийся за рубежом страны Советов Сергей Есенин написал письмо одному из своих друзей. В нём речь шла об Айседоре Дункан (он называл её Изадорой). Ванька, которого упоминул поэт, это Иван Старцев:

«*Изадора прекраснейшая женщина, но врёт не хуже Ваньки. Все*

её банки и за́мки, о которых она пела нам в России, – вздор. Сидим без копеечки, ждём, когда соберём на дорогу и обратно в Россию».

Илья Шнейдер:

«*Для выезда в Москву нужны были деньги.*

Айседора… отправилась к владельцу художественного магазина, большому поклоннику её искусства, и рассказала ему о заложенных картинах Каррьера. Тот купил их у Дункан по настоящей стоимости. Продана была также вся мебель из дома Айседоры на Rue de la Pompe, 103…

– Что мы будем сегодня есть? – весело спрашивала Айседора. – Эту софу или этот книжный шкаф?»

А в стране Советов 6 апреля 1923 года отмечали 20-летие режиссёрской и 25-летие актёрской деятельности Всеволода Мейерхольда. Ему было присвоено звание народного артиста республики.

В эти же дни произошло знакомство Маяковского с одним из учеников Всеволода Эмильевича, молодым режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, который впоследствии написал:

«*– Ах, вот вы какой! – говорит громадный детина, широко расставив ноги. Рука тонет в его ручище. – А знаете, я вчера был весь вечер очень любезен с режиссёром Ф., приняв его за вас*!»

«*Режиссёр Ф.*» – это, скорее всего, Николай Михайлович Фореггер (Фореггер фон Грейфентурн). С ним мы уже встречались, когда говорили о созданной им в Москве экспериментальной мастерской «Мастфор» («Мастерская Фореггера»). Это он ставил в театре Сатиры сатирические пьесы Маяковского. А Сергей Эйзенштейн в тот момент ещё только начинал становиться на ноги:

«*Я уже не хожу по чужим театрам, а сам репетирую в собственном – пролеткультовском. Передо мной – редактор «Лефа» В. В. Маяковский, а я вступаю в это только что создающееся боевое содружество. Мой собственный спектакль ещё не вышел в свет, но дитя это настолько шумливо уже в самом производстве и столь резко очерчено в колыбели, что принято в Леф без экзамена…*

Так или иначе, премьеру «Мудреца» – мою первую премьеру – первый поздравляет бутылкой шампанского именно Маяковский…

До сих пор неизгладимо в памяти: Громкий голос. Челюсть. Чеканка читки. Чеканка мыслей. Озарённость Октябрём во всём».

«*Мудрец*», о котором говорил Эйзенштейн, это спектакль по пьесе Островского. О нём оставил воспоминания Борис Бажанов:

«*Эйзенштейн в то время руководил Театром Пролеткульта.*

Взяв пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты», Эйзенштейн превратил её в разнообразный балаган:

текст к Островскому не имел почти никакого отношения, актёры паясничали, ходили по канату, вели политическую и антирелигиозную агитацию. Не только постановка, но и текст были Эйзенштейна. К сожалению, ничем, кроме большевистской благонадёжности, текст не блистал. Повергая антисоветских эмигрантов, актёры распевали:

Мы были люди,
А стали швали,
Когда нам зубы
Повыбивали.

А для антирелигиозной пропаганды на сцену выносили на большом щите актёра, одетого муллой, который пел на мотив «Аллы Верды»:

Иуда коммерсант хороший:
Продал Христа, купил калоши.

У меня уже тогда сложилось впечатление, что к коммерческим талантам Иуды у Эйзенштейна не столько уважение, сколько зависть. Других же талантов у самого Эйзенштейна как-то не было заметно».

Маяковский эти «*таланты*» Эйзенштейна сумел разглядеть и оценил их бутылкой шампанского.

Смерть Воровского

10 мая 1923 года в швейцарском городе Лозанне бывшим белогвардейским офицером Морисом Морисовичем Конради (Георгиевским кавалером, участником Первой мировой и Гражданской войн) был убит советский дипломат Вацлав Вацлавович Воровский.

12 мая в Москве состоялись многолюднейшие митинги и грандиозная демонстрация протеста против этого убийства и против ультиматума Советскому Союзу британского министра иностранных дел Джорджа Кёрзона. Британия требовала прекратить подстрекательскую деятельность большевиков в Афганистане, Индии и Персии, требовала убрать из Кабула советского полпреда Фёдора Раскольникова, требовала перестать преследовать и казнить священнослужителей, угрожая разорвать отношения между странами в случае «*неудовлетворения всех требований и претензий в течение 10 дней со дня получения ноты*».

В ответ власти Москвы вывели на улицы людей. Газета «Правда» 13 мая сообщила:

> «*С песнями подошли манифестанты к балкону Коминтерна; впитали сердца расплавленную медь задушевных речей, и на митинг к Большому театру, там стальной голос Маяковского:*
>
> *Эй, разворачивайтесь в марше…*
> *Коммуне не быть под Антантой!..*»

Газета «Рабочая Москва» того же дня:

«*Половина третьего… Со Столешникова потянулись обратно колонны… На балконе памятника Свободы выступают ораторы. Митинг. Вот Владимир Маяковский. Резко, чеканно бросает на головы толпы стихи… И толпа дружно повторяет его призыв:*

– Левой, левой, левой!»

Памятник в самом центре Москвы (его называли обелиском Свободы) был установлен 7 ноября 1918 года – на том самом месте, где до этого стоял монумент генералу Скобелеву (его торжественно открыли 24 июня 1912 года на Тверской площади – напротив дома московского генерал-губернатора, и саму площадь переименовали в Скобелевскую). В день открытия обелиска Свободы все здания на площади были выкрашены в жёлтый цвет с белыми вставками, а бывший дом генерал-губернатора, в котором разместился Моссовет, был окрашен в красный и белый. Площадь стала называться Советской. 6 июня 1954 года вместо снесённого обелиска Свободы на том же месте был воздвигнут памятник Юрию Долгорукому. Площадь вновь стали именовать Тверской.

«Рабочая газета» 13 мая 1923 года:

«*Силу гнева русского пролетариата против мировой буржуазии и фашизма сумел впитать в себя поэт Маяковский. Сильным, мощным голосом, раздававшимся во всю площадь, он прочёл своё стихотворение «Коммуне не быть под Антантой».*

Вся площадь вторила ему: «Коммуне не быть под Антантой! Левой, левой, левой!»»

«Правда» 13 мая:

«*Большой, бесконечный Маяковский, выкрикивающий с балкончика статуи Свободы на медном языке своего голоса:*

– Разворачивайтесь в марше!..

– Левой! –

и внизу ревущее тысячеголосное – «Левой!»»

Михаил Булгаков, печатавшийся в берлинской газете «Накануне», в номере от 19 мая тоже поделился своими впечатлениями:

«*А напротив, на балкончике под обелиском Свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:*

– Ле-вой! Ле-вой!

– Ле-вой! Ле-вой! – отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая толпа, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

– Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

– Из-под маски вежливого лорда
глядит клыкастая морда!!
Когда убивали бакинских комиссаров…

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

Вставай, проклятьем заклеймённый!..

Маяковский всё выбрасывал тяжёлые, как булыжники, слова, у подножья памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

– В отставку Керзона!!»

20 мая – в день прибытия в Москву тела погибшего дипломата – «Известия» напечатали стихотворение Маяковского «Воровский»:

«*Сегодня, / пролетариат, / гром голосов раскуй,*
забудь / о всепрощенье-воске.
Приконченный / фашистской шайкой воровска́й,
в последний раз / Москвой / пройдёт Воровский…
Ответ / в мильон шагов / пошли / на наглость нот.
Мильонную толпу / у стен кремлёвских вызмей.

Пусть / смерть товарища / сегодня / подчеркнёт
бессмертье / дела коммунизма».

Поэт не только сверхоперативно откликнулся на событие, он ещё и выступил на Театральной площади, где 20 мая тоже проходил митинг. Об этом – воспоминания поэта Ильи Львовича Френкеля, учившегося тогда во Вхутемасе:

«*Громоподобную паузу нарушил голос невероятной силы и тембра. Говорил Маяковский с крыши броневой машины. Это были стихи, но они звучали, как команда:*

Разворачивайтесь в марше!..

«Левый марш», но какой-то другой, первоначальный, будто сейчас создаваемый стенами зданий, мерцанием штыков, безмолвием участников этого удивительного парада.

Взор ли меркнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепни у Керзона на горле
пролетариата пальцы».

Напомним, что в хрестоматийном варианте строки эти звучат так:

«*Глаз ли померкнет орлий?*
В старое ль станем пялиться?
Крепни у мира на горле
пролетариата пальцы».

Ультиматум британского правительства бурно обсуждался на заседании политбюро, что совпало с намерением «тройки» (Зиновьев, Каменев, Сталин) прибрать к своим рукам всё то, что оформлялось на этих заседаниях. Оформляли же всё секретари, поставленные на свои посты ещё Лениным.

Борис Бажанов:

«*…из двух секретарш Ленина главная и основная – Мария Игнатьевна Гляссер. Она секретарша Ленина по Политбюро, Лидия Фотиева – секретарша по Совнаркому. Вся Россия знает имя Фотиевой – она много лет подписывает с Лениным все декреты правительства. Никто не знает имени Гляссер – работа*

Политбюро совершенно секретна. Между тем всё основное и самое важное происходит на Политбюро, и все важнейшие решения и постановления записывает на заседаниях Политбюро Гляссер…»

Получив согласие Зиновьева и Каменева, Сталин снял с поста секретаря политбюро Марию Гляссер, заменив её своими людьми. Но из этого ничего не получилось – новые назначенцы с работой не справились.

А требования Джорджа Кёрзона страна Советов всё же удовлетворила. Михаил Булгаков записал потом в дневнике:

«*Нашумевший конфликт с Англией кончился тихо, мирно и позорно. Правительство пошло на самые унизительные уступки, вплоть до уплаты денежной компенсации за расстрел двух английских подданных, которых советские газеты упорно называют шпионами*».

Друзья и недруги

Во все времена с событиями глобального масштаба соседствуют происшествия незначительные, мелкие, забывающиеся, как правило, уже на следующий день. Таким вот будничным, неприметным для окружающих событием стало окончание молодым поэтом Ильёй Сельвинским правового отделения ФОНа 1-го Московского университета (ФОН – факультет общественных наук, бывший юридический). Илья стал работать в Центросоюзе специалистом по пушнине, а в свободное от работы время создавать из своих сторонников и последователей некое объединение с весьма громким названием – Литературный центр конструктивистов (ЛЦК).

Конструктивисты очень походили на литераторов, объединившихся вокруг Маяковского: так же, как и лефовцы, «*констры*» заявляли, что искусство должно быть «*конструктивным*», то есть строиться (конструироваться) и жить по тем же принципам, по которым создавалось первое в мире социалистическое общество. И поначалу казалось, что в искусстве лефовцам и конструктивистам шагать по одной дороге.

А Маяковский шагать (вышагивать) очень любил. Об этом – Николай Асеев:

«*Однажды ехали к нему на дачу в Пушкино. Вдруг он предложил сойти на предыдущем разъезде и – вперегонки, от семафора до семафора; но идти шагом, шагом какой угодно длины, не переходящем на рысь, на бег. Пари на червонец.*

Я тогда занимался гимнастикой регулярно и сейчас же принял пари, так как учёл массивность фигуры Маяковского и то, что я лёгок на ногу.

Договорились.

Сошли с поезда, спрыгнули с площадки платформы и – раз-два-три – приняли старт. Маяковский ушёл метров на двадцать, я растягивал шаги, как мог, но сразу было не угнаться за ним. Однако к половине дистанции я подошёл вплотную, и дальше мы шли вровень до самого конца. Маяковский потерял на слетевшей шляпе и, пока он нагибался, я обошёл его. Потом он вновь нагнал меня, но уже перегнать у него дыхания не нашлось.

Кто же выиграл?

Решили разыграть в орёл-решку. Но дело было не в том. Оказалось, что во время хода я, очевидно, уже слишком расстилаясь и маша отчаянно руками, уронил часы – ремешок, что ли, расстегнулся.

Маяковский осмотрел меня сочувственно и предложил проделать обратный маршрут в поисках – за часами. Вернулись, но часов не нашли.

Тогда Владимир Владимирович предложил ещё раз шагать на спор.

– Вам теперь легче, ведь вы теперь без часов!

Я рассердился и отказался от дурацкого, на мой взгляд, повтора.

Мы сели в подоспевший поезд, и Маяковский потешался надо мною:

– Почему вы не пошли ещё раз? Ведь время потеряно всё равно!

Или, вынимая свои часы и невинно поднося их к уху, напевал:

– Часы идут, часы летят, часы бегут, часы лежат.

Я старался придать себе беззаботный вид, хотя мне было жаль часов.

Когда мы вернулись в город, дня через два, Маяковский, встретясь со мной, обратился ко мне:

– Вот, Колядка, я ведь нашёл ваши часы!

Я не поверил, что это те же самые, хотя и мои потерянные были новенькие. Но он запомнил форму и фасон!»

Поэт Пётр Незнамов, работавший в это время в издательстве «Круг», оставил воспоминания об этом издательстве, в которое, по его словам, со всей страны съезжались литераторы всех мастей:

«*Из Петрограда наезжали «Серапионовы братья». Приходили какие-то волжане с вещевыми мешками за спиной. Маяковский называл их «пайконосы».*

Когда приходил Маяковский, в комнате сразу становилось тесно от него самого, от громады его голоса, от безаппеляционности его принципиальных заявлений. Он с Асеевым отстаивал «непривычные» обложки Родченко».

«*Непривычность*» обложки, сделанной для книжки

«Маяковский издевается», заключалась в том, что она в корне отличалась от тех, что делал признанный мэтр оформительского дела Юрий Анненков. Пётр Незнамов писал, что…

«*…обложка была остроумная и яркая, простотой конструкции побившая всю тогдашнюю юриеанненковскую практику в этой области*».

А вот воспоминания художника-карикатуриста Бориса Ефимова. Его брат, журналист Михаил Кольцов, был тогда редактором журнала «Огонёк». В крохотное помещение редакции, помещавшейся в Козицком переулке, как-то пришёл Маяковский:

«*Поэт по-хозяйски перебирает лежащие на столе рукописи, берёт один из моих рисунков.*

– Ваш?

– Мой, Владим Владимыч.

– Плохо.

Я недоверчиво улыбаюсь. Не потому, что убеждён в высоком качестве своей работы, а уж очень как-то непривычно слушать такое прямое и безапелляционное высказывание. Ведь обычно принято, если не нравится, промолчать или промямлить что-нибудь маловразумительное.

Маяковский протягивает огромную руку за другим рисунком. Я слежу за ним уже с некоторой тревогой.

– Плохо! – отчеканивает поэт и берёт третий, последний рисунок.

– Очень плохо! – заявляет он тоном, каким обычно сообщают чрезвычайно приятные новости, и, видимо, считая обсуждение исчерпанным, заговаривает с кем-то другим.

Таков был простой, прямой и предельно откровенный стиль Маяковского. В вопросах искусства он был непримиримо принципиален даже в мелочах, не любил и не считал нужным дипломатничать, кривить душой, говорить обиняками и экивоками.

Плохо – значит, плохо, и – «никаких гвоздей»!

Вероятно, немало недоброжелателей и даже врагов приобрёл он себе таким путём».

Пётр Незнамов обратил внимание и на привычку Маяковского подтрунивать над кем-то. Обычно те, над кем подшучивал поэт, относились к этому спокойно и весело. Но…

«*…было немало мелких самолюбий, которых одно-два слова Маяковского надолго выбивали из седла. Иные из них делались врагами на всю жизнь. Это они, преватно перетолковывая его бравады, шипели вслед ему: рекламист; это они гнусно клеветали (когда вышли в свет два тома «13 лет работы»), что на полученные (небольшие) Маяковским деньги можно прожить*

тринадцать лет тринадцати семьям.

Он противостоял им всей своей практикой, всей цельностью своей натуры, всей твёрдостью своих революционных взглядов, не был похож на них, не пил с ними водки, не ходил по пивным, не вёл специфических разговоров о женщинах. Как же им было не говорить ему: «Ну, скажите, Маяковский, кто превзойдёт вас в аппетитах?»

А он в это время заботился не об аппетитах, а об интересах своей страны, которую любил больше всего на свете, и притом любил каждой строчкой своего стиха, следовательно, самим существом своим».

Лев Никулин вспомнил ещё об одном журнале, куда частенько заглядывал поэт:

«*На Большой Дмитровке в «Рабочей Москве», вернее в подвале здания редакции, устроился сатирический журнал «Красный перец». Сотрудниками журнала были остроумные, тогда ещё молодые люди – поэты, фельетонисты, художники…*

Владимир Владимирович был ближайшим сотрудником «Красного перца»; перелистывая комплекты журнала, чувствуешь, что, кроме стихов, подписанных поэтом, по всем страницам рассыпаны шутки, остроты, так называемые мелочи, не подписанные им или сочинённые коллективно с его участием.

Он был неутомим, когда нужен был материал для очередного номера. И когда один из сотрудников поленился написать фельетон на заданную тему, шутя сказал, что он, Маяковский, один заполнит стихами и фельетонами три номера журнала и к тому же нарисует все рисунки.

– И пущу вас всех по миру! – пригрозил он».

Именно в это время в четвёртом номере журнала «Красная новь» была напечатана «Маяковская галерея», которая состояла из стихотворных портретов премьер-министра Франции Раймонда Пуанкаре, премьер-министра Италии Бенито Муссолини, министра иностранных дел Великобритании Джорджа Кёрзона и бывшего временного Начальника Польского государства, а тогда главы генерального штаба польской армии Юзефа Пилсудского. Газета «Трудовая копейка» (в номере от 5 сентября) написала:

«*Реакционная английская газета «Морнинг стар» выражает протест против Маяковского за его стихотворение о Керзоне, напечатанное в журнале «Красная новь». Газета считает, что в своих стихах Маяковский клевещет на Керзона, и требует, чтобы английское правительство привлекло Маяковского и «Красную новь» к ответственности*».

А в Кабул в это время (как сообщала в письме родным Лариса Рейснер) шли…

«*…телеграммы, письма, сенсационные поздравления со скорым возвращением – что бы это значило? Неужели опять Адмиралтейство? Нет, уж лучше наша пустыня*».

В конце весны 1923 года советские газеты начали печатать высказывания о том, каким должен быть Дворец Советов, возвести который предложил на съезде Советов Сергей Миронович Киров. Высказался об этом и конструктивист Корнелий Зелинский – его статью «Стиль и Сталь (к посторойке Дворца СССР в Москве)» 1 июня опубликовали «Известия». Там говорилось:

«*И было бы стыдно строить в центре Красной Москвы, может быть, будущей столицы Всемирного союза Советов Республик, дворец, который целиком своим фасадом, телом, строительным материалом, статикой, всей своей физиономией обращён к прошлому или к обслуживанию близорукой корысти сегодняшнего переходного быта.*

Мы не должны, строя будущее, строить его на гнилых подпорках.

Почему не построить на гигантском стальном каркасе и на поворачивающихся осях дома́но с разборными стеклянными и алюминиевыми стенками?»

Маяковский статью прочёл и тут же позвонил её автору по телефону:

«*– Слушайте, оказывается, Вы написали «Стиль и Сталь»! Так какого чёрта вы от меня скрывали, что являетесь настоящим лефовцем? Вы же наш человек! Извольте ко мне придти, я вас приглашаю на Водопьяный переулок к Брику*!»

Эти слова привёл в своих воспоминаниях Корнелий Зелинский, для которого они означали, что в его творческой жизни должны произойти перемены.

И ещё Зелинский недоумевал:

«*Странное дело, но с Маяковским мы знакомились трижды. В первый раз – в 1918 году на вечере в гвардейском экипаже в Петрограде. Во второй раз нас познакомил О. С. Литовский в 1921 году. Мы оба получали корреспондентские билеты на 11 съезд Советов. В 3-ий раз Маяковский сам захотел познакомиться, прочитав одну мою статью в «Известиях»…*

В глазах Маяковского я был лишь пылким журналистом, которого посылали записывать выступления Ленина, которого можно было встретить на всех вновь открывающихся выставках, премьерах Мейерхольда и диспутах о поэзии, на которых требовалось больше темперамента, чем логики».

В тот момент и в творчестве Владимира Маяковского тоже начался новый этап.

Маяковская реклама

В начале июня 1923 года в Москву из Афганистана (оставив там своего мужа) приехала Лариса Рейснер. В статье «Старое и новое» она написала об ощущениях, которые возникли у неё во время расставания с военно-морским флотом:

«*Кончилась романтика, авантюра, опасность, но кончилась и радость жизни. Иногда после вольного воздуха походов очень тесной и облезлой казалась жизнь*».

Маяковский, который ни в каких походах не участвовал, смотрел вокруг себя более оптимистично и сочинял практически непрерывно, тут же записывая придуманное. На это с немалым удивлением обратил внимание Пётр Незнамов:

«*…это был круглосуточный писатель, который даже в полудремотном состоянии, уже засыпая, мог… писать. Это невероятно, но факт. Во всяком случае, это его устраивало. Однажды, играя в городки в Пушкино, он успел сделать запись даже между двумя ударами палкой. Пиджак его остался в комнате, блокнота с ним не было, и он нацарапал эту заготовку углём на папиросной коробке*».

Что же на этот раз так интенсивно придумывал поэт? Для каких стихотворений или поэм понадобились ему эти внезапные «*заготовки*»?

Работа над ними началась ещё в 1922 году, а в 23-ем она уже шла полным ходом. Художник Александр Родченко рассказывал:

«*Работали мы так. Утром Маяковский обходил учреждения и принимал заказы. Возвращался он домой с портфелем, туго набитым всякими справочниками, ведомственными отчётами и прочим. Весь материал он добросовестно изучал, выписывал на бумажку интересные факты, цифры и после этого обдумывал темы. Вечером, часов в семь-восемь, я приходил к Володе за темами и текстом.*

Иногда текст был уже готов, иногда дописывался при мне. Было интересно наблюдать за Маяковским в эти минуты. Обдумывая строку, он ходил по комнате, бубня про себя фразы и отбивая такт рукой. Потом быстро записывал на клочках бумаги сложившийся текст. Иногда он передавал мне вместе со стихами рисунок, но каждый раз при этом деликатно говорил: «Вот это я нарисовал, но тебе, конечно, не нужно, это я так, для ясности».

Рисование было для него отдыхом, и он делался в эти минуты особенно ласковым и нежным».

Как довольно легко догадаться, Маяковский обратился к рекламе. Вот некоторые стихотворения тех лет – тексты для плакатов, которые рекламировали Государственное издательство

(сокращённо – Госиздат или ГИЗ):

«*Путь к коммунизму – книга и знание.*
Учебник в Госиздате купи заранее!»

«*Дети требуют: учебники дайте!*
Сообщаем: учебники все в Госиздате».

Реклама продукции Резинотреста:

«*Лучших сосок / не было и нет –*
готов сосать до старости лет».

Реклама товаров Чаеуправления:

«*Где взять / чаю хорошего?*
В Чаеуправлении – / доброкачественно и дёшево.
Спешите покупать, / не томитесь жаждой –
чай на любую цену, / чай на вкус каждый».

Реклама продукции треста «Моссукно»:

«*Выбери представителя (расторопного, не из разинь)*
и со списком желающих пришли в магазин.
Четверть платишь наличными, а на остальные – векселя.
И иди к прилавку, сердце веселя».

Художник Самуил Яковлевич Адливанкин написал о том, как Маяковский общался с теми организациями, для которых сочинял рекламу. В частности, в Чаеуправлении его как-то попросили придумать стихи для обёрток, в которых продавался чай, кофе, цикорий и так далее:

«*Он ужасно ругался, когда от него требовали, чтобы новые упаковки обязательно были похожи на старые, дореволюционные образцы. Однажды он вернулся с непринятой работой и говорит:*

– Чёрт их знает, говорят, что «не цикорно». Ну, вот, поймите, что значит «не цикорно». А впрочем, это слово мне нравится. Обязательно запишу его.

В дальнейшем, если в работе что-нибудь не получалось, он говорил:

– Что-то у нас сегодня «не цикорно» получается».

1 июля 1923 года строки Маяковского, рекламирующие Государственный универсальный магазин (ГУМ), появились в отделе объявлений газеты «Известия»:

«*Всё, что требуют сердце, тело и ум, –*
всё человеку предоставляет ГУМ».

В тот же день на обложке журнала «Красная нива» (№ 26) разместился рисунок Маяковского с его же текстом (реклама московских типографий):

«*Глаза разбегаются! С чего начать?*
Во-первых, в Мосполиграфе – вся печать…»

Вернувшаяся в Москву Лариса Рейснер, когда писала о том, какой она увидела столицу страны Советов, надо полагать, имела в виду и рекламные плакаты, тексты для которых сочинял Владимир Маяковский:

«*Изумительная американская новая Москва. Жёсткая, быстрая, жадная, аккуратная в извёстке ремонтов, в вонючих облаках бензиновой гари… Москва гениальных плакатов, советской рулетки, нелепого НЭПа и таких пролетарских шествий, таких демонстраций гнева и силы…*»

Видимо, в этот момент с Ларисой Рейснер встретился Александр Краснощёков и увлёкся ею. Галина Пржиборовская в книге «Лариса Рейснер» пишет:

«*В Рейснер был влюблён Краснощёков… Он окружил её вниманием, лестным для женщины, но Лариса Михайловна не допускала денежных расходов на себя*».

В самый разгар работы Маяковского над рекламой в доме на Водопьяном переулке появился Корнелий Зелинский. Он пришёл не один (впоследствии написав):

«*Мы были у Маяковского с Сельвинским…*

Мы хотели разговора на равных, что возмутило Маяковского: для такого разговора надо было иметь хотя бы книги на столе».

Илья Сельвинский потом вспоминал, что глава лефовцев сказал ему:

«*– Я поэт текущей политики, в этом моё новаторство. А вы кто такой? Чего вы хотите от стиха? Чего добиваетесь от поэзии?*

– Я призван эпохой связать Маяковского с Пушкиным.

– Как это понять? – удивлённо спросил Маяковский.

– Вы своим новаторством подорвали связи с классикой. Вот я

и хочу исправить это дело. Математически это можно выразить так: если вы с Пушкиным – катеты, то я буду гипотенузой».

Такой поворот беседы Маяковскому явно понравился, и он, по словам Сельвинского, сказал:

«*– Почему вы меня интересуете? Потому что – то, что умею делать я, не умеете вы, а то, что умеете вы – не умею я*».

И Маяковский предложил молодым конструктивистам заглядывать в Водопьяный переулок почаще.

Тучи над Промбанком

Начнём с воспоминаний Софьи Шамардиной о её встречах с Маяковским:

«*В 1922–1923 годах в Москве – я училась в 1-м МГУ – встречались несколько раз. Помню, вечер один бродили по Тверскому бульвару. Руку мою держал в своём кармане. Были вместе в Доме писателя. Был он в те дни невесёлый*».

Зашёл разговор и о Бриках. Точнее, о Лили Юрьевне:

«*Потом долго говорил мне о Лиле, о своей любви к ней. «Ты никому не верь – она хорошая». Показал мне фотографии. Так насторожённо смотрел на меня, пока я вглядывалась в её лицо. «Нравится?» – «Нравится». – «Люблю, не разлюблю»*».

Поведал Маяковский и о сплетне, пущенной про него Чуковским, сказав:

«*И после этого, ты бы видела, как меня, распластываясь, встречал Чуковский в Пушкинском доме в Петрограде. Ходил за мной по пятам, чуть ли не полотенце за мной носил – Владимир Владимирович, Владимир Владимирович*!»

Маяковский вряд ли знал тогда, что Чуковский, носивший за ним «*чуть ли не полотенце*», именно о нём написал «Тараканище».

А у главы Промбанка Александра Краснощёкова в тот момент стали возникать серьёзные проблемы. Аркадий Ваксберг употребил даже более тревожный оборот:

«*…над Краснощёковым стали сгущаться тучи. Посты, которые он занимал, неизбежно обрекали его на участие в таких операциях, которые при желании легко могли быть использованы для любых, компрометирующих его, обвинений. Он ворочал огромными деньгами – рано или поздно это всегда даёт повод для более и менее правдоподобных подозрений в махинациях и злоупотреблениях*».

А тут пошли толки ещё об одном Краснощёкове, Якове, младшем брате Александра Михайловича. Яков Краснощёков возглавлял процветавшую компанию – «Американско-русский

конструктор». На деньги, выданные братом Александром, он готовился начать грандиозное строительство в Москве. Но молва, разносившаяся об обоих братьях, была совсем иного рода.

Аркадий Ваксберг:

«*Слухи, один другого сенсационнее, ползли по Москве и Петрограду. О том, например, что при своих поездках в Петроград Александр Краснощёков, его брат и их «помощники» занимали несколько апартаментов в лучшей гостинице города – «Европейская», где вечерами шла пьяная гульба с участием цыган. Ночью кутилы перемещались в квартиры своих развлекателей, куда уже заранее доставлялись вина и всякая гастрономия – за счёт, разумеется, банка. За усладу гостей песнями и плясками темпераментные цыганки получали золотые украшения и огромные пачки червонцев*».

Стоит ли удивляться, что следствие по делу Промбанка и компании «Американско-русский конструктор» стремительно набирало обороты. Александра Краснощёкова постоянно вызывали на допросы. Пока в качестве свидетеля.

Лили Брик в этом «*деле*» была уже не нужна, и ей предложили съездить за рубеж.

А в Париже в этот момент Айседора Дункан говорила журналистам:

«*Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока ещё трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасён для того, чтобы и дальше творить Красоту*».

Эти строки попали на глаза Дмитрию Мережковскому, и он поместил в газете «Эклер» статью, в которой высказался о Дункан и Есенине. Айседору он корил за то, что она «*продалась большевикам*», а Есенин был и вовсе назван «*пьяным мужиком*».

Дункан тотчас откликнулась, написав статью, в которой, в частности, заметила:

«*Есенин – самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь – все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господин Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями*».

В это время Фёдор Раскольников, ждавший в Афганистане приказа о возвращении в Россию, получил письмо от жены, в котором она совершенно неожиданно предложила ему с нею развестись. Всё дело в том, что у Ларисы Рейснер начался роман с членом ЦК РКП(б) и членом исполкома Коминтерна Каролем

Собельсоном (Карлом Радеком). Был в неё тогда влюблён и Николай Бухарин, говоривший:

«*Радеку-чёрту незаслуженно повезло*».

А Корнелий Зелинский и Илья Сельвинский зачастили в дом, что в Водопьяном переулке. Корнелий Люцианович вспоминал:

«*Маяковский басил:*

– Ну, бросьте этот конструктивизм! Все мы тут конструктивисты. Если вам нужно, возьмите моё и скажите, что вот, я – конструктивист. Это всё Зелинский придумывает. Печатал бы у нас Сельвинский свои стихи. Только хорошие. А вы бы свои статьи. Вот вам и конструктивизм».

Во время другого посещения Водопьяного переулка Маяковский вновь стал завлекать конструктивистов в Леф:

«*– Послушайте, Зелинский, – сказал Маяковский. – Я вам объясню, что значит литературная группа. В каждой литературной группе должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик, у вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. А во всём остальном мы с вами договоримся*».

Рассказывая об этом, Зелинский (по вполне понятным причинам) не добавлял, что «*разливальщица чая*» Вера Инбер была не только поэтессой, но и являлась близкой родственницей самого Льва Троцкого.

Как бы там ни было, а отношения между лефовцами и конструктивистами стали налаживаться, о чём свидетельствует эпизод, описанный Зелинским:

«*Однажды Маяковский схватился с Сельвинским бороться. Сельвинский сжал Маяковского в талии, поднял в воздух и положил.*

Выходит, он говорил ему зря: «Я с удовольствием справлюсь с двумя, а если разозлюсь, то с тремя»».

Под словом «*он*» имелся в виду Маяковский, который в стихотворении «Юбилейное» хвастливо заявлял:

«*Ту́шу / вперёд стремя,*
я / с удовольствием / справлюсь с двоими,
а разозлюсь – / и с тремя».

Сельвинский тогда тоже хвастался своей спортивной формой:

«*Пузырясь, цирк шары фонарьи мечит,*
Сочат афиши сукровичный сок.
Приехал в цирк боксёрский полубог –

Чугунный торс и кованные плечи…

Чугунный торс и кованные плечи,
Губа, как мяса кровяной бифштекс,
Колоссы мышц, рубцов китайский текст,
Борца великолепные увечья».

И тут вдруг Маяковский принялся готовиться к очередной поездке за рубеж, собираясь отправиться туда вместе с Бриками. Об этом даже Эльзу предупредили.

Луначарский ещё 10 мая 1923 года отправил письмо наркому по иностранным делам:

«*Наркомпрос даёт командировку известному поэту-коммунисту Маяковскому. Цели, которые он преследует своей поездкой в Германию, находят полное оправдание со стороны Наркомпроса. Они целесообразны с точки зрения вообще поднятия культурного престижа нашего за границей. Но так как лица, приезжающие из России, да притом ещё с репутацией, подобной репутации Маяковского, натыкаются иногда за границей на разные неприятности, то я, ввиду всего вышеизложенного, прошу Вас снабдить Маяковского служебным паспортом*».

А что Владимир Маяковский привозил из своих зарубежных поездок?

1 июля 1923 года в одном из журналов Екатеринбурга он напечатал небольшую статью, которая называлась «О мелочах». В ней шла речь о том, о чём поэт говорил чуть ли не в каждом своём выступлении:

«*Например, маленький вопрос – о нумерации домов. У нас стоишь перед № 10 и думаешь с тоской: справа – длинный забор, слева – огромный пустырь, где же, чёрт бы его побери, № 12? Идёшь наугад налево, тратишь минут пять и натыкаешься на № 8 – обратно идёшь ещё минут десять!*

А в Берлине под каждым номером – ещё стрелка, указывающая направление нумерации. Тут зря не пойдёшь – каждая минута на счету.

Ввести б это у нас – сколько времени отчислится городу в год!»

Мелочь? Да. Но, по мнению Маяковского, весьма существенная. Поэтому на неё и стоило обратить внимание.

Из таких вот мелких «*штучек*», в основном, и складывались рассказы вернувшегося на родину поэта о его зарубежных поездках. У слушателей невольно возникал вопрос: а стоило ли ради этих «*мелочей*» ездить за границу? И из зала на сцену

сыпались записки с вопросами:

– Зачем вы ездите за границу?

– Что вы привезли из Франции?

– Для чего поехали в Германию?

Как бы отвечая на эти вопросы, Маяковский опубликовал в московских «Известиях» стихотворные «Авиачастушки» (3 июля 1923 года). Вот эти:

«*Крылья сделаны гусю.*
Гусь – / взлетит до крыши.
Я не гусь, / а мчусь вовсю
всякой крыши выше…
Плачут горько клоп да вошь, –
человека не найдёшь.
На воздушном на пути
их и тифу не найти».

Многие читатели, прочтя подобные вирши, наверняка задавались вопросами: это смешно? это актуально? это злободневно? Ведь в тот момент столько проблем было в стране и в мире! А поэта волновали не они, а какие-то «*гусь*», «*клоп да вошь*».

Но ответить Владимир Владимирович уже не мог, так как в тот же день (3 июля) он покинул страну Советов – вместе с Осипом Максимовичем и Лили Юрьевной вылетел из Москвы в Кёнигсберг.

Новый загранвояж

Бенгт Янгфельдт об этом перелёте написал:

«*…спустя всего лишь полгода после первой поездки в Германию они снова направились туда, на сей раз самолётом из Москвы в Кёнигсберг*».

Сам Маяковский в стихотворении «Москва-Кёнигсберг» отчитался так:

«*Eins! / zwei! / drei! – / Мотора гром.*
В небо дверью – / аэродром.
Брик. / Механик. / Ньюба́льд. / Пилот.
Вещи. / Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки-/ящеры,
Ходынка / накрылась скатертцей…»

Судя по этим строкам, пассажиров на самолёте было пятеро: Маяковский, Осип и Лили Брик, механик и Д. И. Ньюбольд, английский коммунист, депутат парламента, он же – делегат IV конгресса Коминтерна. Самолёт поднялся над Ходынским полем и взял курс на запад.

Пока он набирает высоту, заглянем в протоколы заседаний политбюро ЦК РКП(б) начала 1923 года.

1 февраля на заседании присутствовали Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Троцкий, Томский, Бухарин, Молотов и Калинин. В самом конце был рассмотрен вопрос:

«*28. Просьба тов. Зиновьева о разрешении тов. Бухарину двухнедельной поездки за границу*».

О необходимости поездки видного большевика за рубеж мы поговорим чуть позднее. А пока – решение, которое приняли члены политбюро:

«*28. Отклонить*».

Через два месяца, 29 марта, на заседании политбюро, где присутствовали Зиновьев, Сталин, Каменев, Томский, Троцкий и Рыков, среди прочих других рассматривался вопрос о жене председателя Президиума Верховного Совета СССР, возжелавшей съездить за океан:

«*7. О поездке в Америку т. Калининой*».

Скупые строки протокольной записи не дают возможности представить, каким было обсуждение этого вопроса. До нас дошла лишь единственная фраза окончательного вердикта вождей:

«*7. Признать неудобной поездку т. Калининой в Америку, ввиду официального места, занимаемого т. М. И. Калининым*».

Вопрос о поездке за рубеж Маяковского и Бриков на заседании политбюро не обсуждался. И этот факт ни у кого из биографов удивления не вызвал – видимо, из-за слишком незначительного статуса лиц, захотевших прокатиться за кордон. И всё-таки очень странно, почему нигде не сообщается о том, кто на этот раз отправлял за рубеж нашу троицу, какие организации хлопотали о визах для них, кто оплачивал командировочные расходы и так далее.

А ведь расходы эти были немалые.

В книге Василия Васильевича Катаняна «Лиля Брик. Жизнь» про полёт из Москвы в Кёнигсберг простодушно сказано:

«*Это был один из первых полётов «Люфтганзы», и Лиля захотела узнать, каково летать*».

Ничего себе – «*захотела узнать*»!

Откуда у нигде официально не работавших Маяковского,

Лили Брик и у рядового гепеушника Осипа Брика взялись поистине бешеные деньги для приобретения супердорогих авиабилетов? Ведь даже послы Советского Союза добирались до стран пребывания поездами и пароходами! Даже в начале 70-х годов прошлого столетия услуги Аэрофлота считались (для рядовых советских граждан) непозволительной роскошью. И от каждого, кто отправлялся в командировку, требовались убедительные обоснования необходимости лететь самолётом, а не ехать поездом (не за рубеж, а в какой-либо пункт Советского Союза). И начальство решало, разрешить такой полёт или не разрешить.

А Брики и Маяковский летели за рубеж вовсе не по служебным делам, а на отдых (так, во всяком случае, считается официально). К тому же одного самолёта им не хватило, пришлось фрахтовать две машины. В предисловии к сборнику «Вещи этого года» Маяковский писал:

«*Аэроплан, летевший за нами с нашими вещами, был снижен мелкой неисправностью над каким-то городом. Чемоданы были вскрыты, и мои рукописи взяты какими-то крупными жандармами какого-то мелкого народа*».

Маршрут тех перелётов известен: посадки самолёты делали в Смоленске (или в Великих Луках) и в литовском Ковно (Каунас). Таким образом, поэт походя подковырнул эту страну, назвав её жителей «*мелким народом*». Зачем?

В книге Александра Михайлова сказано, что нашей троице предстоял…

«*…трёхнедельный отдых во Фленцбурге, а после пребывания в Берлине – ещё отдых, целый август в Нордернее*».

Подобную роскошную поездку могли себе позволить лишь императорские особы, магнаты-миллионеры или сотрудники каких-то невероятно могучих спецслужб. К последней когорте как раз и принадлежали наши спешившие на отдых путешественники.

Странно, что никто из биографов Маяковского не придал этому полёту из Москвы в Кёнигсберг особого внимания. Словно речь шла о посещении подмосковной дачи.

Впрочем, Бенгт Янгфельдт сообщил читателям:

«*Луначарский обратился в советский МИД с просьбой выдать Маяковскому служебный паспорт. Такие же документы были, вероятно, выданы и Лили с Осипом*».

Так ли это? Нужно ли было Осипу Брику содействие Луначарского, когда за спиной Осипа Максимовича находилось несравненно более могущественное ведомство – ОГПУ? Разве что для прикрытия?

Да и какие, собственно, «*документы*» имеет в виду

Янгфельдт? Дипломатические паспорта? Ответа Бенгт Янгфельдт, к сожалению, не даёт.

В том же стихотворении «Москва-Кёнигсберг» Маяковский сам поставил вопрос:

> «*Что же – / для того / конец крылам Икариным, человечество / затем / трудом заводов никло, – чтобы этакий / Владимир Маяковский, / барином, Кёнигсбергами / распархивался / на каникулы*?!»

«*Однако какими были истинные цели его поездки? Более семи из десяти недель, проведённых в Германии, он находился на курортах и пляжах. Всего один раз выступал с чтением стихов (в Берлине) и написал только два стихотворения – «Нордерней» и «Москва-Кёнигсберг», которые к тому же не имели никакой пропагандистской ценности на Западе, поскольку печатались только по-русски*».

И Янгфельдт с недоумением вопрошал:

«*Действительно ли Маяковский поехал в Берлин для пропаганды советской литературы? Или поездки за границу уже стали для него необходимостью, своего рода передышкой*?»

Передышкой от чего? Какие такие неимоверные труды требовали непременного нахождения поэта «*на курортах и пляжах*»? Притом не отечественных, а зарубежных!

Чтобы получить ответы на эти вопросы, вернёмся в самое начало этого увлекательного вояжа.

Третья «*ездка*»

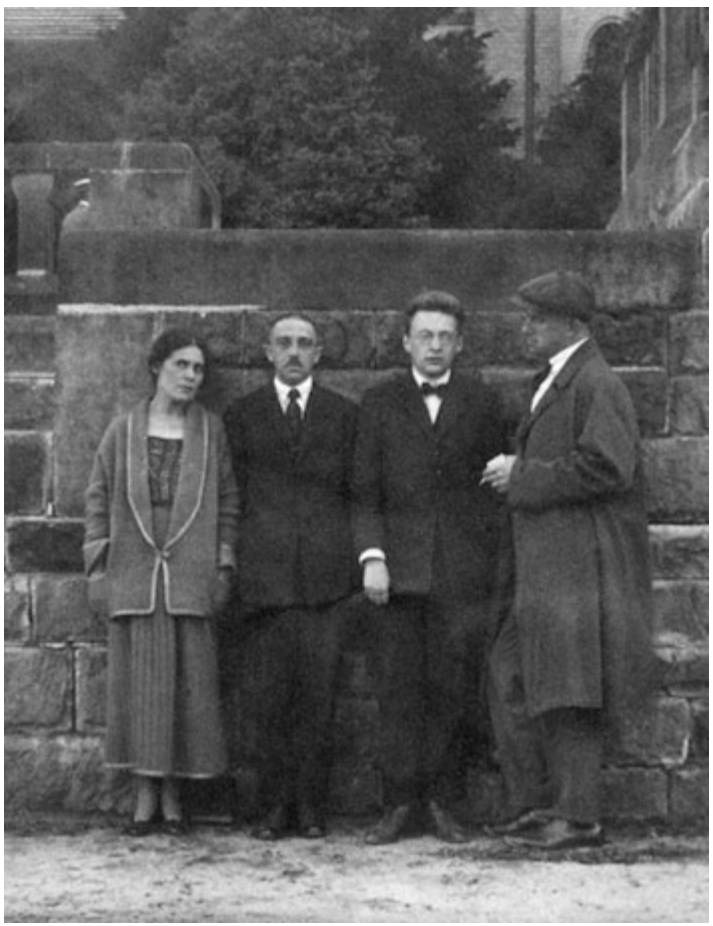
Аркадий Ваксберг:

«*3 июля 1923 года они отбыли из Москвы, воспользовавшись редчайшим тогда видом транспорта: рейсовый самолёт компании «Дерулюфт» доставил их с Ходынского поля в Москве прямиком в Кёнигсберг, откуда они проследовали в Берлин и, не задерживаясь, отбыли на курорт Бад-Флинсберг, вблизи Гёттингена. В безмятежную и размеренную курортную жизнь на водах приятное разнообразие внёс приезд из Праги Романа Якобсона, который зримо убедился в том, что никакой надобности бежать от большевиков по фиктивному брачному свидетельству у Лили действительно не было*».

Рассмотрим фотографию, сделанную в июле 1923 года на немецком курорте Бад-Флинсберг. На снимке – Лили Брик (в длинной юбке и в какой-то мешковатого вида кофте)

внимательно смотрит в объектив. Рядом с ней – заложивший руки за спину и коротко стриженый Осип Брик, как-то отстранённо смотрит сквозь стёкла очков на фотографа. Возле Осипа – элегантно одетый Роман Якобсон с копной шевелюры, тоже смотрящий сквозь очки на фотографа. Справа от этой троицы (к фотографу в профиль) в кепке и в плаще стоит Маяковский, зажав в левой руке папиросу со спичечным коробком, и в глубоком раздумье смотрит на своих друзей.

Этот оценивающий взгляд делает его похожим на командира разведывательно-диверсионной группы, заброшенной на территорию врага и фотографирующейся перед отправкой на очередную операцию. Диверсанты ещё не знают, какое задание даст им их командир. А командир внимательно осматривает уходящих на сверхопасное дело товарищей, пытаясь угадать, кто из них вернётся, а кому суждено пасть за дело всемирной социалистической революции.



Л.Ю. и О. М. Брики, Р. О. Якобсон, В. В. Маяковский. Бад-

Флинсберг, Германия, 1923.

То, что Якобсон вполне мог быть чекистским агентом, засланным в Чехословакию, чтобы основательно там закрепиться, мы уже говорили. Его встречи с Бриками напоминают контакты со связными, которые привезли новые распоряжения центра.

А между тем Роман Осипович сильно тосковал тогда в чужой стране. Янгфельдт свидетельствует:

«*Якобсону было двадцать шесть лет, два года он прожил в Праге. Но он был несчастным и пил, что, однако, не влияло на его интеллект и работоспособность*».

Этот запой вполне мог быть следствием того, что Якобсону безумно надоело его подпольное положение, но он ничего не мог поделать – ГПУ своих агентов умело держать в повиновении крепко.

Янгфельдт, правда, выдвинул ещё одно объяснение пристрастия к алкоголю:

«*Одной из причин, заставлявших Якобсона пить, была его неугасимая любовь к Эльзе…*

К своему разочарованию, он смог убедиться, что в Эльзу влюблён не он один. Ухаживавший за Эльзой ещё в России Виктор Шкловский в Берлине страстно влюбился в неё. Он был беден, носил единственную манишку, которую стирал каждый вечер и «гладил», закрепляя мокрой на гостиничном зеркале, – чтобы сэкономить деньги на цветы Эльзе. Каждое утро, когда она выходила из комнаты в пансионе, на её туфлях, выставленных для чистильщика, лежал новый букет».

Как видим, в этой компании путешествующих по зарубежным странам появилась и Эльза Триоле, которая наверняка тоже была агентессой ВЧК-ГПУ.

В самом деле, ведь Эльза жила в Париже одна, нигде не работала. Возникает вопрос: на что же она существовала? Не на такие же точно средства, какие позволили ей и её матери безбедно прожить четыре месяца в Стокгольме в 1918 году? Практически всякий раз, когда за границу отправлялась Лили Брик, к ней приезжала и Эльза (то в Берлин, то в Лондон). Откуда брала на это деньги Эльза Юрьевна?

Да и Виктор Шкловский с его подозрительно странным бегством из России, тоже даёт основания предположить, что этот «*побег*» был организован (или подсказан ему) чекистами.

Как бы там ни было, но, находясь за рубежом, Шкловский написал книгу «Zoo или Письма не о любви», которая заканчивалась обращением во ВЦИК с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Осип Брик прокомментировал это

обращение так:

«*Витя странный человек. Он не научился грамматике – не знает, что есть слова неодушевлённого рода, и что ВЦИК – имя неодушевлённое. У неодушевлённых предметов чувства юмора нет, так что с ВЦИКом шутить нельзя*».

Но вернёмся на курорт Бад-Флинсберг. Роман Якобсон впоследствии вспоминал, чем занимался там Владимир Маяковский:

«*…обыгрывал в карты какого-то богача-эмигранта, который вывез из Сибири колоссальное количество платины*».

Закончив поправлять здоровье на этом курорте, Брики и Маяковский отправились в другое место отдыха.

Островная жизнь

Бенгт Янгфельдт охарактеризовал место отдыха Маяковского и Бриков как…

«*…курорт Нордерней, расположенный на одном из Фарерских островов у немецкого побережья Северного моря. Там к ним присоединился Виктор Шкловский и Эльза из Берлина, а также приехавшая из Лондона Елена Юльевна*».

У Аркадия Ваксберга толкование немного другое:

«*Три недели полуотдыха, полулежания имели ещё более счастливое продолжение в течение всего августа, который Брики и Маяковский провели на острове Нордернее – популярном балтийском курорте на границе Германии и Голландии*».

Об отдыхе на этом чудном острове Янгфельдт написал:

«*Днём они купались, ловили крабов и загорали. ‹…› По вечерам они ходили в рестораны. Лили и Эльза, как всегда, танцевали до поздней ночи, но с другими кавалерами, поскольку ни Шкловский, ни Маяковский не любили и не умели танцевать*».

Василий Васильевич Катанян это описание продолжил:

«*Они часами лежали на пляже, покупали у рыбаков свежекопчёную рыбу, совершали морские прогулки на небольших пароходиках, и Маяковский был совсем послушный – никаких карт и застолий*».

Ваксберг добавил:

«*Погода была превосходной, море тёплым, песчаный пляж идеальным, дюны исключительно живописны. Давно уже все, кто собрался тогда на острове, не испытывали такой безмятежности и такого блаженства*».

На что это похоже? На времяпровождение хорошо обеспеченных, а потому беспечно-беззаботных людей.

О том, выступал ли где-либо Маяковский с чтением стихов,

поднимая престиж своей рабоче-крестьянской державы, Александр Михайлов пишет, что у него было…

«*Одно, кажется, выступление в здании торгпредства и всё*».

Получается, что поэт (с дипломатическим паспортом!) поехал на два с половиной месяца за рубеж только для того, чтобы всего один раз прочесть стихи нашим же торговым работникам?

Впрочем, к большевикам можно предъявлять много претензий, обвиняя их в разных грехах. Но считать их близорукими простофилями, позволявшими кому бы то ни было ездить за рубеж ради развлечений, нет никаких оснований. Поднимать культурный престиж страны на заграничных пляжах и в ресторанах с ночными танцами они не позволяли никому!

Но для чего же приехали туда Брики и Маяковский?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует внимательно приглядеться к тому, что происходило тогда в Германии.

Ожидание революции

Но сначала – об одной кадровой перестановке в стране Советов. 9 августа 1923 года Оргбюро ЦК РКП(б) постановило:

«*Назначить помощником секретаря ЦК т. Сталина т. Бажанова с освобождением его от обязанностей секретаря Оргбюро*».

Через какое-то время Сталин назначил своего нового помощника секретарём политбюро. Бажанов потом напишет:

«*Политбюро – центральный орган власти. Оно решает все важнейшие вопросы управления страной (да и мировой революцией). Оно заседает 2–3 раза в неделю*».

Проект повестки дня каждого такого заседания предстояло готовить Бажанову:

«*Тут я неожиданно раскрываю подлинный механизм власти тройки.*

Накануне заседания Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин собираются… Официально – для утверждения повестки Политбюро… На самом деле члены тройки сговариваются, как этот вопрос должен быть решён на завтрашнем заседании Политбюро, обдумывают решение, распределяют даже между собой роли при обсуждении вопроса на завтрашнем заседании».

В этот момент (когда разбитый третьим инсультом Ленин уже совсем не мог говорить) состоялось очередное заседание политбюро. И было оно не совсем обычным.

Борис Бажанов:

«*Недели через две после начала моей работы в Политбюро, 23 августа 1923 года, я секретарствую на особом, чрезвычайно*

секретном заседании Политбюро, посвящённом только одному вопросу – о революции в Германии. На заседании присутствуют члены и кандидаты Политбюро, и кроме того Радек, Пятаков и Цюрупа. Радек, член исполкома Коминтерна, делает доклад о быстро растущей революционной волне в Германии. Первым после него берёт слово Троцкий. «Хронически воспалённый Лев Давидович», как называют его злые языки, чувствует себя в своей стихии и произносит сильную речь, полную энтузиазма».

Здесь Бажанов не совсем точен – «*хронически воспалённым*» Троцкого начнут называть чуть позднее (через два с половиной месяца), когда он неожиданно заболеет совершенно непонятной, если не сказать, загадочной болезнью. А в августе он был ещё полон сил и энергии, потому и произнёс «*сильную*» речь, в которой прозвучала поддержка тем положениям, что прозвучали в докладе Карла Бернгардовича Радека (Кароля Собельсона):

«*– Вот, товарищи, наконец, эта буря, которую мы столько лет ждали с нетерпением и которая призвана изменить лицо мира… Германская революция – это крушение капиталистического мира… Германская революция идёт. Не слышите ли вы её железную поступь? Не чувствуете ли вы, как высоко поднялась волна? Надо спешить, чтобы катаклизм не застал нас врасплох. Не чувствуете ли вы, что это уже вопрос недель*?»

Энтузиазм Троцкого «тройка» встретила весьма скептически, дескать, «*в таких важных вещах надо быть осторожным и действовать обдуманно*». Но всё же был создан комитет во главе с Радеком – боевая «*четвёрка*» для достойной подготовки германской социалистической революции. В неё (кроме Радека) вошли полномочный представитель страны Советов в Германии Николай Николаевич Крестинский, заместитель председателя ВСНХ СССР Георгий Леонидович Пятаков и нарком труда Василий Владимирович Шмидт. Было также дано указание привлечь к этому делу лучшие силы ИНО ОГПУ, РУ РККА и МСО ИККИ.

Вновь обратимся к книге Вальтера Кривицкого «Я был агентом Сталина»:

«*В Политбюро пошли бесконечные дискуссии, на которых руководители большевистской партии дебатировали вопрос о назначении точного часа начала революции в Германии. Лидеры Германской компартии провели в Москве многие беспокойные часы, пока мозговой трест большевистской партии вырабатывал окончательный план действий.*

Москва решила в этот раз продумать всё до мелочей. Она тайно направила в Германию своих лучших людей – Бухарина, Макса Левина, одного из лидеров Баварской советской диктатуры, просуществовавшей 4 недели, Пятакова, венгерских и болгарских

агентов Коминтерна и самого Радека».

Вот, оказывается, для чего на заседании политбюро 1 февраля 1923 года Зиновьев предлагал отправить в Германию Бухарина – он уже тогда должен был начать вдохновлять немецких коммунистов на вооружённый мятеж. Но Троцкий, видимо, засомневался в том, что зима – подходящее время для начала революции, и поездка Бухарина была ненадолго отложена.

Вместе с Карлом Радеком в Германию поехала и Лариса Рейснер, ставшая его гражданской женой. Ей выдали заграничный паспорт на имя Магдалины Михайловны Краевской, сотрудницы полномочного представительства СССР в Германии, которая отправлялась за рубеж вместе с двухлетней дочерью Алисой. Кроме этого, у Рейснер были корреспондентские удостоверения «Правды», «Известий» и «Красной газеты».

Лариса Михайловна энергично окунулась в напряжённую атмосферу готовившегося вооружённого выступления, вдохновляя на подвиги немецких коммунистов. Своим родным она писала:

«*Начнётся буря, я её смогу встретить во всеоружии, зная Германию сверху донизу… Нация на дыбе. Ваша одиночка, которая хочет быть сильной*».

Коминтерн направил в Берлин ещё одного «*вдохновителя*», который считал себя «*сильным*» – Якова Блюмкина как специалиста по конспиративной работе в тылу противника. Он должен был инструктировать боевые отряды повстанцев по части террористической деятельности.

Среди других «*лучших людей*», отправленных на организацию революции в самом центре Европы, был и Иосиф (Юзеф) Станиславович Уншлихт, о котором Борис Бажанов написал:

«*На Уншлихта была возложена организация отрядов вооружённого восстания для переворота, их рекрутирование и снабжение оружием. На него же была возложена организация германской чека для истребления буржуазии и противников революции после переворота*».

Германия в тот момент была наводнена советскими агентами, среди которых преобладали кадровые военные – в том числе и Вальтер Кривицкий, к свидетельству которого мы обращаемся вновь:

«*Мы, командиры Красной Армии, продолжали в Германии обучение войск. Проводили секретные ночные манёвры близ Золингена в Рейнской области, в которых порой принимали участие по нескольку тысяч рабочих*».

Вдохновители бунта

В Москве о событиях в Германии ходило много слухов. 18 сентября 1923 года Михаил Булгаков записал в дневнике:

«*А происходит там вот что: германская марка катастрофически падает. Сегодня, например, сообщение в советских газетах, что доллар стоит 125 миллионов марок! Во главе правительства стоит некий Штреземан, которого советские газеты называют германским Керенским. Компартия из кожи вон лезет, чтобы поднять в Германии революцию и вызвать кашу. Радек на больших партийных собраниях заявляет, что революция в Германии уже началась.*

Действительно, в Берлине уже нечего жрать, в различных городах происходят столкновения».

Участницей многих таких столкновений, во время которых нередко начинались перестрелки, оказывалась и Лариса Рейснер. Зато Карл Радек получал от неё самую достоверную информацию о том, как обстоят дела у немецких рабочих. Когда Ларисе говорили, что это очень опасно – быть в самой гуще вооружённых столкновений, она улыбалась и начинала читать стихотворение, сочинённое ею ещё в царское время:

«*Я прошу Тебя, Всевышний, об одном:*
Дай мне умереть с открытыми глазами,
Плакать дай кровавыми слезами
И сгореть таинственным огнём.

Пусть умру я, Боже, улыбаясь,
И глаза пусть будут полны слёз,
Да услышу музыку миров, прощаясь
С царством терние и роз».

Впрочем, известный острослов Радек, посланный поднять немецкий народ на революцию, всё же пророчески заявлял, что любые восстания на территории Германии будут неудачными, так как вместо того, чтобы сразу же брать вокзалы, приученные к порядку немцы будут сначала покупать перронные билеты.

В той тревожной обстановке, когда чуть ли не со дня на день ожидалось начало вооружённого восстания, ГПУ не могло, конечно же, допустить, чтобы его сотрудники безмятежно прохлаждались на немецких пляжах. У Бриков и Маяковского наверняка было чёткое и вполне определённое задание, к выполнению которого необходимо было приступить, как только прозвучит условный сигнал. Вот поэтому их так торопливо и отправили в Германию специальным авиарейсом.

Прибыв на место, наши путешественники встретились с

другими агентами ГПУ (Якобсоном, Шкловским и, вероятно, с кем-то ещё, чьи имена пока нам недоступны). Им давались инструкции, как вести себя и что делать во время революции, которая (по расчётам Москвы) вот-вот должна была вспыхнуть, а по словам Радека, «*уже началась*».

Вновь обратимся к свидетельствам, оставленным Вальтером Кривицким:

«*Наконец, пришла новость: «Зиновьев установил дату восстания».*

Отряды Компартии по всей стране стали ждать последних указаний. В адрес ЦК Германской компартии поступила телеграмма от Зиновьева с указанием точной даты. Курьеры Компартии поспешили разъехаться по партийным организациям в разных частях страны с приказом из Москвы. Из тайников доставали оружие. С нарастающим нетерпением ожидали мы условленного часа. И тогда…

– Новая телеграмма от «Гриши», – сообщило нам руководство. – Восстание откладывается…

Снова коминтерновские курьеры засновали по Германии с новыми приказами и новой датой начала революции».

Ждали её начала и Брики с Маяковским. О том, сколько таких групп, замаскированных под «*отдыхающих*» находилось тогда в Германии, данных в открытой печати нет. Но группы эти были. И все они ждали сигнала, по которому им предстояло сыграть свои заранее определённые и, надо полагать, хорошо отрепетированные роли.

Борис Бажанов:

«*План переворота был таков. По случаю годовщины русской октябрьской революции рабочие массы должны были выйти на улицу на массовые манифестации. Красные сотни Уншлихта должны были провоцировать вооружённые конфликты с полицией, чтобы вызвать кровавые столкновения и репрессии, раздуть негодование рабочих масс и произвести общее рабочее восстание*».

Германская компартия ждала окончательного сигнала из Москвы. Ждал его и Вальтер Кривицкий со своими людьми:

«*Несколько недель мы жили по тревоге. Почти каждый день приходили телеграммы от «Гриши» (Зиновьева), означающие новые приказы, новые планы, прибытие новых агентов из Москвы с новыми инструкциями и новыми революционными прожектами*».

Но, готовясь начать мировую социалистическую революцию, гепеушники не забывали и о деле, совершить которое поручил им Феликс Дзержинский: дискредитировать Александра Краснощёкова.

И тут из-за рубежа в советскую Россию вернулся ещё один

посланный туда тайный агент ГПУ.

Возвращение поэта

3 августа 1923 года в Москву из полуторагодичного турне по заграницам вернулись Сергей Есенин и Айседора Дункан.

На железнодорожном вокзале их встречал и Илья Шнейдер:

«*…поезд подходил к перрону.*

Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан, весёлые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьёзно сказала по-немецки: «*Вот я привезла этого ребёнка на его родину, но у меня нет более ничего общего с ним…*»»

В воспоминаниях Матвея Ройзмана говорится о том, что живший за рубежом и «*не скрывавший своей хорошо оплачиваемой тайной работы*» Александр Кусиков заявил Есенину, что ему-де запретят въезд в СССР из-за того, что он возвращается сам по себе (без разрешения ГПУ). Сергей Есенин потом с горечью написал:

«*Ах, какое поганое время, когда Кусиков и тот стал грозить, что меня не впустят в Россию*».

Однако никаких запретов не возникло, и супруги благополучно приехали в Москву. Какое-то время они прожили в подмосковном Литвинове, где на лето расположилась школа Айседоры Дункан.

Илья Шнейдер:

«*Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.*

Когда рассказывали о первом посещении берлинского Дома искусств в «Кафе Леон», Айседора вдруг, восторженно глядя на Есенина, воскликнула:

– Он коммунист!

Есенин усмехнулся:

– Даже больше…

– Что? – переспросил я.

– В Берлине, в автобиографии, написал, что я «гораздо левее» коммунистов… Эк, хватил! А вступлю обязательно!»

Потом все переехали в Москву – на Пречистенку.

21 августа состоялась «Встреча Есенина в Политехническом музее», имевшая шумный успех. Что читалось на том вечере, установить трудно. Но вполне возможно, что Есенин знакомил публику с отрывками из своей новой пьесы «Страна негодяев». Одно её название звучало как некий вызов, а некоторые строки,

как бы впрямую обращённые к большевикам, у многих могли вызвать оторопь:

«*Пустая забава, / Одни разговоры.*
Ну что же, / Ну что же вы дали взамен?
Пришли те же жулики, / Те же воры
И законом революции / Всех взяли в плен».

Не случайно это четверостишие советские цензоры в печать не пропускали категорически.

На вечере в Политехническом музее поэта познакомили с актрисой Камерного театра Августой Леонидовной Миклашевской. И Есенин сразу в неё влюбился.

Миклашевская потом вспоминала:

«*Долго бродили по Москве, он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребёнок. Трогал руками дома, деревья. Уверял, что всё, даже небо и луна другие, чем там. Рассказывал, как ему трудно было за границей*».

На Пречистенке Есенин не появлялся. И стал писать стихи, посвящая их Августе:

«*Заметался пожар голубой,*
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить…

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому».

Через какое-то время поэт организовал помолвку.

Анатолий Мариенгоф о новой влюблённости своего друга написал:

«*У Миклашевской был муж или кто-то вроде мужа – «приходящий», как говорили тогда. Она любила его – этого лысеющего профессионального танцора…*

Приезжая к Миклашевской со своими новыми стихами, Есенин раза три-четыре встретился с танцором. Безумно ревнивый, Есенин совершенно не ревновал к нему. Думается по той причине, что роман-то у него был без романа. Странно, почти невероятно, но это так».

В самом деле, до свадьбы дело так и не дошло – Есенин вновь

на какое-то время вернулся к Айседоре Дункан. А та, обиженная, собралась поехать в Минеральные Воды, подлечиться. Есенин проводил её и обещал через несколько дней поехать вслед за ней.

Матвей Ройзман написал об отношениях Сергея и Айседоры той поры:

«*По приезде в Москву он уходил от неё в Богословский переулок и снова возвращался*».

В Богословском переулке жила Галина Бениславская, с которой у Есенина был роман ещё до Айседоры. Почему он то «*уходил*», то «*возвращался*»?

Всё встанет на свои места, если вспомнить об угрозах, которыми осыпал поэта Александр Кусиков. Разрыв Есенина с Дункан ставил крест на захватывающей операции гепеушников, придумавших внедрение поэта-агента в самую гущу европейской художественной элиты. На стихотворца, разочаровавшегося в той роли, которую навязало ему ГПУ, видимо, очень сильно «надавили», потребовав выполнять так прекрасно начавшуюся «акцию». Надо полагать, гепеушиники «давили» на Есенина не один раз, требуя вернуться к Айседоре. Вот поэт то «*уходил от неё*», то «*снова возвращался*».

Не будем отвергать с порога это предположение. Посмотрим, как события развивались дальше.

Есенинское творчество

Осенью 1923 года Феликс Дзержинский пригласил вернувшегося из Германии Якова Блюмкина на работу в ОГПУ. Тот согласился и стал сотрудником Иностранного отдела, которым руководил Меер Трилиссер. Блюмкину предложили возглавить резидентуру Ближнего Востока и дали ему чекистские клички «Джек» и «Живой».

Старых друзей, Сергея Есенина и Якова Блюмкина, тогда очень часто видели вместе. Как-то Есенин читал в «Стойле Пегаса» свою новую поэму «Москва кабацкая». Иван Старцев вспоминал:

«*Присутствовавший при чтении Яков Григорьевич Блюмкин (сотрудник ВЧК-ОГПУ) начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточённо говорить, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта*».

О том, как относился Есенин к замечаниям своего друга-чекиста, запомнилось и Матвею Ройзману:

«*Сергей, иногда молча, иногда, посмеиваясь, выслушивал, как Блюмкин критиковал его произведения за упадочные настроения*».

Что же за «*упадочность*» находил в «Москве кабацкой» Яков Блюмкин? Наверняка он находил в ней что-то такое, чего не находят в этих стихах нынешние исследователи есенинского творчества. Ведь писал же Сергей Александрович в феврале 1923 года, возвращаясь из Америки в Европу, своему другу-имажинисту Александру Кусикову (он называл его Сандро):

«*Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждёт меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестёр, то плюнул на всё и уехал бы в Африку или ещё куда-нибудь. Тошно мне законному сыну российскому в своём государстве пасынком быть. Надоело мне это б… снисходительное отношение власть имущих, а ещё тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей Богу не могу. Хоть караул кричи или бери нож и становись на большую дорогу.*

Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка ‹…›, стало очевидно, что ты и я были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать ‹…›.

А теперь, теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому. В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь…»

Обратим внимание, что себя и Кусикова Есенин назвал «*сволочами*», на которых «*можно всех собак вешать*». Почему? Видимо, потому же, почему российские эмигранты называли Кусикова чекистом, а Есенина, надо полагать, именовали гепеушником.

Вернувшись на родину, Сергей Есенин, как мы предположили, служить в ОГПУ решительно отказался. И ближайшему его другу Якову Блюмкину это было хорошо известно. Да и «Москва кабацкая» не являлась собранием стихотворений, в которое (как пишут многие исследователи есенинского творчества) поэт вложил своё «*стремление забыться в угаре «сладкой жизни»*». Да, речь о питейных заведениях в них шла. Вот стихотворение, написанное ещё в 1922-ом:

«Снова пьют тут, дерутся и плачут,
Под гармоники жёлтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,

Чтоб подумать хоть миг об ином».

Но среди этих безответственно-хмельных строк были и такие:

«*Ах, сегодня так весело россам,*
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поёт и про Чека».

Было там и четверостишие, мгновенно коробившее цензоров:

«*Жалко им, что Октябрь суровый*
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге».

А уж строки из другого стихотворения, совершенно ничего особенно в наши дни не говорящие, несли Якову Блюмкину вполне определённую и откровенную информацию:

«*Не злодей я и не грабил лесом,*
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам…

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук».

Какое «*царство*» имел в виду поэт? Царство животных? Вряд ли. Собакам галстуки не нужны. А вот в ведомстве, в котором служил Блюмкин и другие «*кобели*», и в котором расстреливали «*несчастных*», было, надо полагать, немало тех, кто с завистью смотрел на заграничные галстуки Сергея Есенина. И Яков Блюмкин знал об этом. И понимал, про какое именно «*царство*» написал его друг Серёжа.

Как это напоминает поэму «Пятый Интернационал», в которой только что поступивший на службу в ОГПУ Маяковский говорил о том, что стал людогусем, то есть человеком, получившим возможность видеть недоступное другим. Разница

лишь в том, что Владимир Владимирович с гордостью заявлял, что стал «*социалистическим поэтом*», а Сергей Александрович с печалью признавался:

«*Если раньше мне били в морду,*
То теперь вся в крови душа».

Не удивительно, что Блюмкин не только критиковал Есенина, он и рвался ему помочь.

Помощь поэту

Сергей Есенин в тот момент был увлечён идеей создания «*крестьянского*» журнала и поэтому часто встречался со «*святой троицей*»: поэтами Клычковым, Орешиным и Ганиным. Вот этот-то журнал и вызвался помочь организовать Яков Блюмкин. Ни о какой поездке Есенина в Кисловодск речи быть уже не могло – об этом написал Илья Шнейдер (тоже собиравшийся поехать на Кавказ):

«*…прибежал в возбуждённом состоянии и объявил:*

– Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала!

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам:

– Такие большие дела! Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу всё, приеду туда к вам!»

На следующий день (один из последних дней августа 1923 года) Есенина встретил Матвей Ройзман:

«*Он был в светло-сером коверкотовом пальто, шляпу держал в руках.*

– Куда, Серёжа?

– Бегу в парикмахерскую мыть голову! – и объяснил, что идёт на приём к наркомвоенмору.

Я знал, что в важных случаях Есенин прибегал к этому своеобразному обычаю. Разумеется, эту встречу организовал Блюмкин».

В есенинской пьесе «Страна негодяев» одним из действующих лиц был некий Чекистов (он же – Лейбман), который заявлял:

«*Я гражданин из Веймара*
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей».

В те времена практически каждый, кто слышал эти строки, сразу понимал, что поэт намекает на Льва Троцкого (Лейбу Бронштейна). Знал ли тогда об этой пьесе сам Троцкий, неизвестно.

Встреча поэта с наркомвоенмором состоялась.

Матвей Ройзман:

«*Есенин заявил, что крестьянским поэтам и писателям негде печататься: нет у них ни издательства, ни журнала.*

Нарком ответил, что этой беде можно помочь: пусть Сергей Александрович, по своему усмотрению, наметит список членов редакционной коллегии журнала, который разрешат. Ему, Есенину, будет выдана подотчётная сумма на расходы, он будет печатать в журнале произведения, которые ему придутся по душе. Разумеется, политическая и финансовая ответственность за журнал целиком ляжет на Сергея».

Сохранилось письмо Есенина, написанное 29 августа и отправленное Дункан. В нём говорится о посещении наркомвоенмора:

> «*Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу.*
>
> *Был у Троцкого. Он отнёсся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство…*
>
> *Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе.*
>
> *С Пречистенки я съехал, сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаю вместе с Мариенгофом…*
>
> *Желаю успеха и здоровья и поменьше пить…*
>
> *Любящий С. Есенин».*

К сожалению, не удалось отыскать свидетельств того, ***что именно*** потребовал от Есенина Троцкий (в обмен на предоставление ему журнала). А такое требование наверняка было. Вот только какое?

В книге Матвея Ройзмана говорится только об ответной реакции поэта:

«*Есенин подумал-подумал, поблагодарил наркома и отказался. Когда вышли из кабинета, Блюмкин, не скрывая своей досады, спросил Есенина, почему тот не согласился командовать всей крестьянской литературой? Сергей ответил, что у него уже был опыт работы с Клычковым и Орешиным в «Трудовой артели художников слова»: однажды выяснилось, что артель осталась без*

гроша. А кто поручится, что это же не произойдёт и с журналом? Он же, Есенин, не так силён в финансовых вопросах. А заработать себе на спину бубнового туза не собирается!»

Что же всё-таки заставило Есенина отказаться от предложенного ему журнала? Что потребовал Троцкий в обмен?

Ответ напрашивается один: поэту предложили продолжить его служение ОГПУ. На это автор «Пугачёва», «Москвы кабацкой» и «Страны негодяев» согласиться, конечно же, не мог.

Матвей Ройзман:

«*В общем, дело с новой крестьянской группой разладилось. Но по-прежнему «святая троица» восседала вместе с Есениным. Очень многие перестали ходить в «Стойло Пегаса»*».

Владельцев кафе сокращение посетителей их заведения несомненно очень расстроило. И тогда (по предложению режиссёра Александра Таирова) было принято решение: «*святую троицу*» в «Стойло Пегаса» не пускать. Изготовили даже специальное объявление, под которым первым подписался Есенин, и вывесили у входа в кафе.

Средства на жизнь Сергею Есенину давало не только кафе. Деньги шли и от публикации стихов. Но для их печатания необходима была виза ГПУ, а получить её тому, кто отказывался играть навязываемую чекистами роль, стало невероятно трудно. Не потому ли тогда и появилось стихотворение «Русь советская», в котором есть такие строки:

«*Я никому здесь не знаком.*
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли…
Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щёки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец…

Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен».

Некоторыми согражданами Есенин был забыт, но любовь к родине осталась у него прежней. Это видно хотя бы по тому, как завершается «Русь советская»:

«*Но и тогда, / Когда во всей планете*

Пройдёт вражда племён, / Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать / Всем существом поэта
Шестую часть земли / С названьем кратким «Русь»».

Что тогда творилось на «*шестой части земли*» по имени Русь, можно судить по письму, которое написал 12 сентября 1923 года советский полпред в Кабуле Фёдор Раскольников своей жене:

«*Я прекрасно знаю, что партия мне безгранично доверяет. А между тем почти все письма от матери приходят ко мне с явными следами грубого, неумелого вскрытия. По советским законам письма на имя полпреда перлюстрации, конечно, не подлежат. Значит, находятся негодяи, которые вопреки закону проявляют своё любопытство*».

Раскольникову, конечно же, даже в голову не приходило, что «*негодяи*», вскрывавшие все письма, шедшие к нему и от него, были работниками ОГПУ. Да и вся страна уже, по словам Сергея Есенина, стала «*страной негодяев*».

Краснощёковская история

ГПУ тем временем продолжало раскручивать дело Краснощёкова.

Что знали об этом те, для кого судьба «раскручиваемого» была далеко не безразлична? Прежде всего, что знала о любимом человеке Лили Брик, отдыхавшая на немецком курорте?

Аркадий Ваксберг:

«*Кроме обрывочных газетных сообщений, доходивших до курортников из Москвы крайне нерегулярно, никаких известий о ходе следствия, начатого против Краснощёкова, Лиля не имела. Даже оказавшись в Берлине уже в начале сентября и имея возможность читать как советские, так и эмигрантские газеты, уделявшие скандалу «в большевистском логове» немало места, Лиля в Москву не поспешила*».

Почему?

Скорее всего, Брики получили приказ задержаться в Германии. Их присутствие в Москве, как посчитал кто-то из гепеушных начальников, было нежелательным.

И Маяковский выступил в Берлине всего только один раз (в первых числах сентября). Об этом выступлении оставил воспоминания поэт и писатель Вадим Андреев, сын знаменитого писателя Леонида Андреева:

«*На сцене Маяковский был один и весь вечер – не помню даже, был ли перерыв – заполнил чтением своих стихов и разговорами с*

аудиторией, стараясь сломить неприязнь, что ему не всегда удавалось. Он начал своё выступление словами:

– Прежде чем напасть на Советский Союз, надо вам послушать, как у нас пишут. Так вот – «слушайте», – и он превосходно прочёл замечательный рассказ Бабеля «Соль».

Впечатление от этого рассказа было огромное.

После сравнительно недолгого чтения своих произведений – я помню только, что он читал отрывок из «Флейты-позвоночника», «Прозаседавшиеся» и опять «В сто сорок солнц» – начались разговоры с аудиторией. Кто-то крикнул:

– Почему вы больше не надеваете жёлтой кофты?

Маяковский ответил сразу, не задумываясь:

– Вы хотите сказать, что я на революции заработал пиджак?

В зале засмеялись. Маяковский улыбнулся и, переменив тон, очень серьёзно начал объяснять, что всему своё время – было время кофтам, а теперь вот пиджакам, так как советская литература занята теперь гораздо более серьёзным делом, чем дразнение буржуев. Помню, что, обращаясь к сотруднику «Накануне», он сказал несколько слов в защиту небольшой книжки Брика «Не попутчица», незадолго перед тем неодобрительно этой газетой прорецензированной».

Упомянутые строки «*В сто сорок солнц*» – это самое начало стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», в котором провозглашалось:

«*Светить всегда, / светить везде…*
Вот лозунг мой – / и солнца!»

После этого выступления Маяковский, видимо, получил приказ поскорее вернуться на родину. И 15 сентября он сел в поезд, направлявшийся в Ригу.

Перед тем как покинуть Берлин, поэт отправил письмо за океан – Давиду Бурлюку:

«*Дорогой Додичка!*

Пользуюсь случаем приветствовать тебя. Шлю книги. Если мне пришлёте визу, буду через месяца два-три в Нью-Йорке…

Твой В. Маяковский.

Сегодня еду на 3 месяца в Москву».

Как естественно и просто! Пожил месяц-другой в Германии, дела потребовали – вернулся в Москву. Пришлют визу – отправится в Америку!

При этом заметим, что, согласно тону, в котором написано это письмо, Маяковский не просто возвращался домой, на родину, а как бы «*заезжал*» туда на время («*на 3 месяца*»), чтобы вновь отправиться в очередной вояж.

В тот же самый день, когда поезд увёз Маяковского из Берлина, в Москве состоялось заседание президиума Центральной Контрольной Комиссии, на котором было принято решение:

«*а) Войти в политбюро с предложением об отстранении т. Краснощёкова и других лиц, причастных к злоупотреблениям в Промбанке.*

б) Торгово-промышленной инспекции возбудить совместно с ГПУ формальное следствие в отношении лиц, злоупотребления которых доказаны».

Маяковский прибыл в Москву 18 сентября.

Чуть больше года работал он в ОГПУ, и эта работа доставляла ему пока сплошные удовольствия. Самой большой неприятностью был роман Лили Брик и Краснощёкова, но и тут всё потихоньку утрясалось. Уколы критиков, продолжавших публиковать свои впечатления о творчестве поэта-футуриста, были намного больнее. Вот почему, узнав, что Лев Троцкий только что выпустил новую книгу, посвящённую литературе и литераторам, поэт сразу же приобрёл её.

Глава третья. На пороге нововластия

Мнение наркомвоенмора

В связи с тем, что в конце 20-х годов прошлого века Лев Троцкий был объявлен злейшим врагом советской власти и выслан из страны, память о нём основательно вытравляли. Его произведения изъяли из книжных магазинов и библиотек и безжалостно уничтожили. Поэтому в советских книгах, посвящённых Маяковскому, Троцкого не цитируют, словно наркомвоенмор никогда не высказывался о творчестве поэта-футуриста, поэта-комфута, поэта-лефовца.

А между тем Лев Давидович Троцкий не только говорил о Маяковском, но и посвятил ему целый раздел своей книги, вышедшей в конце лета 1923 года.

Заглянем в неё.

Книга, можно сказать, программная, так как посвящена самой злободневной в тот момент теме – это видно не только по названию («Литература и революция»), но и по фразе, которая являлась посвящением:

«*Христиану Георгиевичу Раковскому, борцу, человеку, другу, посвящаю эту книгу.*

14 августа 1923 года».

Биографический энциклопедический словарь:

«*РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (настоящие имя и фамилия Крыстю Стан чев) (1873–1941), политический деятель, дипломат. С 1889 – в европейском социал-демократическом движении. В 1918 – председатель Временного революционного правитель ства Украины. Один из основателей Коминтерна, член ИККИ. С 1923 – полпред СССР в Великобритании…*»

Своим посвящением Троцкий как бы сразу заявлял читателям, что его ***другом*** может быть только ***борец***, который является ещё и ***человеком***.

После этих слов наркомвоенмор сразу же переводил взгляд на поэзию, ища в ней «*борца*» и «*человека*», которого можно было бы зачислить в свои «*друзья*». Но, увы:

«*Годы революции стали годами почти полного поэтического безмолвия. ‹…› Мы получили, правда, «Двенадцать» Блока и несколько произведений Маяковского. Это кое-что, намёк, скромный задаток, но не уплата по счетам истории, даже не начало уплаты*».

Как видим, «Мистерию-буфф», которой Маяковский так гордился, Троцкий даже не упомянул. А ведь поэт, выступая 30 января 1921 года на диспуте «Надо ли ставить «Мистерию-буфф?»», напомнил:

«*…вывел её на свет божий Анатолий Васильевич Луначарский в своей книжке «Речь об искусстве», где он писал: «Впервые в истории мировой революции дана пьеса, идентичная всему ходу мировой революции»*».

Народный комиссар по военным и морским делам как бы слегка «подправил» народного комиссара по просвещению, написав, что в первые годы революции на литературном фронте не было ничего выдающегося:

«*Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло, и что это вообще её не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать* её».

И тут Троцкий сразу же дал понять, что ему очень хорошо знакомы не только те стихотворцы, которые провозглашали себя революционным авангардом российской поэзии, но также и их популяризаторы (толкователи):

«*В своей книге о футуристах Чуковский, у которого на языке то, что у более осторожных на уме, назвал по имени основной порок Октябрьской революции: «По внешности буйная, катастрофическая, а по-существу – расчётливая, мозговая, себе на уме»*».

Этот же «*порок*» Троцкий разглядел и у многих литераторов страны Советов, которые внешне буйствовали, клялись в верности Октябрю, а в душе были очень расчётливы.

И ещё Лев Давидович, пожалуй, одним из первых заявил, что судить об Октябрьской революции, об эпохе советской власти потомки будут по тому, как это время отразилось в стихах живших в ту пору поэтов. Лучшим стихотворцем начала правления большевиков в России Троцкий назвал Блока, сказав о нём:

«*Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда*».

От Блока Троцкий перешёл к молодому поколению стихотворцев, сказав, что это – «*молодёжь призывного возраста гениев*». Среди этой «*молодёжи*» на первом месте стоял, конечно же, Маяковский, который прославлял себя чуть ли не в каждом своём стихотворении. В книге «Литература и революция» он охарактеризован так:

«*Маяковский по сути своей Маяковоморфист, заселяет самим собой площади, улицы и поля революции…*

Маяковский атлетствует на арене слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири. Он всегда стреляет на пределе – а, как известно артиллеристу, такая стрельба даёт наименьше попаданий и тяжелее всего отражается на орудии».

Сатирические произведения Маяковского Троцкий тоже не посчитал образцами истинно революционной поэзии. И с Лениным, певшим поэту дифирамбы за его «Прозаседавшихся», не согласился, заявив:

«*Сатира Маяковского приблизительна: беглые наблюдения со стороны, иногда на палец, а иногда на ладонь от цели. ‹…› Сатира Маяковского бегла и поверхностна*».

Тем, кто окружал Маяковского («*Шкловский, Жирмунский, Якобсон и другие*»), объявляя «*сущностью поэзии форму*», Троцкий напомнил крылатое выражение мудрецов древности о том, что форма без содержания – ничто, и с нескрываемой усмешкой порекомендовал лефовцам (и особенно их лидеру) пореже переходить на крик:

«*Маяковский слишком часто кричит там, где следовало бы говорить: поэтому крик его там, где следует кричать, кажется недостаточным. Пафос поэта подсекается надрывом и хрипотой. ‹…› Перекричать войну и революцию нельзя. А надорваться можно*».

Анатолий Луначарский в статье «Владимир Маяковский – новатор» привёл и такие слова наркомвоенмора:

«*Троцкий пишет, что драма Маяковского заключается в том, что он, правда, как мог, полюбил революцию и, как мог, шёл к ней, – да революция-то у него не настоящая, и поэтому любовь не настоящая, и путь не настоящий*».

Явно имея в виду поэму «Про это», где Маяковский призывал к борьбе с бытом, который, по словам поэта, «*является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас мещан*», Троцкий насмешливо спрашивал:

«*…как же перестроить себя, свой быт, не глядясь в зеркало*?»

Иными словами, Троцкий призвал Маяковского внимательно посмотреть в зеркало на самого себя.

Зеркало наркомвоенмора

В зеркале, в которое Троцкий предложил заглянуть Маяковскому, поэт не мог увидеть себя «*нашим*» (пролетарским) поэтом, поскольку наркомвоенмор зачислил его в компанию «*попутчиков*», пояснив:

«Кто такой «попутчик»? «Попутчиком» мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идёт до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идём гораздо дальше. Кто идёт против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции – для нас высший закон».

Выводы Льва Давидовича очень точны, мудры и справедливы. И не только о Маяковском и лефовцах. Вот что в «Литературе и революции» сказано об имажинистах и о «Пугачёве» Есенина:

«Сам Пугачёв с ног до головы Сергей Есенин: хочет быть страшным, но не может… Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда же Пугачёв изъясняется как отягощённый образами романтик, то это хуже. Имажинистский Пугачёв немножко смехотворен.

Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин ещё впереди. Заграничным журналистам он объявляет себя левее большевиков.

Это в порядке вещей и никого не пугает…

Чтобы зажечь свежее рязанское воображение, достаточно, если небоскрёбы, дирижабли, подводные лодки существуют в Америке…

Сейчас от Есенина, поэта, от которого – хоть он и левее нас, грешных, – всё-таки попахивает средневековьем, начались «годы странствия». Воротился он не тем, что уехал. Не будем загадывать, сам расскажет».

Высказывания Троцкого Маяковский оставил без ответа. А вот Есенину отваги и смелости было не занимать, и он тотчас же ответил наркомвоенмору – в статье «Железный Миргород», опубликованной в «Известиях» 22 августа и 16 сентября:

«Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочёл о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но, видите ли?.. Видите ли?.. Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернулся не тем, чем был».

Есенин имел в виду статью Троцкого «Литературные попутчики революции», опубликованную 5 октября 1922 года в «Правде». В ней наркомвоенмор тоже говорил о есенинском творчестве.

Сергей Есенин:

«Да, я вернулся не тем. Многое дано мне, но и многое отнято. Перевешивает то, что дано… Зрение моё переломилось особенно после Америки… Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, – я близок им умом и надеюсь, что буду, может

быть, близок в своём творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба…

…моим взглядам предстал Нью-Йорк. Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке!..

У нашей российской реальности пока ещё, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут стихи по картинкам плохих самых журналов».

Сохранились воспоминания о том, как отреагировал на статью Есенина Маяковский:

«*– Где эта газета? – спросил Маяковский. – Дайте её скорее сюда!*

Он отбросил все остальные газеты и стал внимательно читать статью Есенина. Потом недовольно отбросил газету и сказал:

– Чёрт знает что нагородил! – затем раздражённо встал и вышел».

В сентябре 1923 года добился разрешения на своё возвращение в страну Советов и приехал в Москву Виктор Шкловский.

Решительные меры

18 сентября 1923 года состоялось заседание политбюро, на котором присутствовали Зиновьев, Рыков, Томский, Бухарин, Калинин, Молотов и Рудзутак. Ознакомившись с документом, представленным Центральной Контрольной Комиссией, вожди приняли решение:

«*8. О Промбанке. Предложение ЦКК принять*».

Тем самым расправа над лицами, «*злоупотребления которых доказаны*», была санкционирована официально.

Но кем эти злоупотребления были доказаны? Работниками ЦКК?

Но ведь суда-то ещё не было! Центральная Контрольная Комиссия всего лишь предлагала «*возбудить совместно с ГПУ формальное следствие*» – дескать, нами уже всё установлено, надо лишь изобразить расследование, то есть «*формально*» пробежаться по страницам дела и… действовать.

А что вообще представляла собой эта ЦКК?

Секретарь политбюро ЦК РКП(б) Борис Бажанов, входя в курс партийных дел, написал:

«*Быстро просвещаюсь я и насчёт работы органа* «*партийной совести*» *– Партколлегии ЦКК.*

В стране существует порядок – всё население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой

момент может быть арестован, сослан, приговорён ко многим годам заключения или расстрелян просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Но члена партии в 1923 году ГПУ арестовать ещё не может (это придёт только через лет восемьдесять). Если член партии проворовался, совершил убийство или совершил какое-то нарушение партийных законов, его сначала должна судить местная КК (Контрольная Комиссия), а для более видных членов партии – ЦКК, вернее партийная коллегия ЦКК, то есть несколько членов ЦКК, выделенных для этой задачи. В руки суда или в лапы ГПУ попадает только коммунист, исключённый из партии Партколлегией. Перед Партколлегией коммунисты трепещут. Одна из наибольших угроз: «передать о вас дело в ЦКК»».

На следующий день после заседания политбюро (19 сентября) ГПУ начало проводить аресты. Был арестован и Александр Краснощёков.

Об этом сразу заговорила вся Москва. С каждым днём слухи обрастали новыми подробностями. Михаил Булгаков записал в дневнике:

«*Вчера узнал, что в Москве раскрыт заговор. Взяты: в числе прочих Богданов, предс*[едатель] *ВСНХ! И Краснощёков, пред*[седатель] *Промбанка! И коммунисты. Заговором руководил некий Мясников, исключённый из партии и сидящий в Гамбурге. ‹…› Чего хочет вся эта братия – не известно, но, как мне сообщила одна к*[оммунистка]*, заговор «левый» (!) – против НЭПа*!»

Что касается председателя ВСНХ Петра Алексеевича Богданова, то каких-либо сведений о его аресте в 1923 году обнаружить не удалось. Видимо, это были всего лишь слухи, так как Богданов не со всеми решениями кремлёвских вождей был согласен. А Гавриил Ильич Мясников, названный Булгаковым руководителем «*левого*» заговора, действительно являлся активнейшим оппозиционером, исключённым (20 февраля 1922 года) из партии за создание антипартийного Манифеста Рабочей группы РКП(б). В мае 1923 года его тайно выдворили на аэроплане в Германию. Фракционные группы, в которые входили Пётр Богданов и Гавриил Мясников, «*обвиняли партийный аппарат в бюрократическом перерождении и в полном равнодушии к интересам рабочих*». К этим-то фракционерам молва и присоединяла Краснощёкова.

Бенгт Янгфельдт:

«*Арест Краснощёкова стал настоящей сенсацией. Впервые обвинение в коррупции были предъявлено коммунисту, занимавшему столь высокое положение, и это бросало тень на весь партийный аппарат*».

Валериан Владимирович Куйбышев, глава ЦКК и нарком РКИ (Рабоче-крестьянской инспекции), произнёс речь, которую тотчас же опубликовали две главные советские газеты – «Правда» и «Известия». Куйбышев сказал:

«*Установлены бесспорные факты преступного использования Краснощёковым средств хозяйственного отдела в личных целях, устройство на эти средства безобразных кутежей, использование хозяйственных сумм банка в целях обогащения своих родственников и так далее*».

Подводя итог, Куйбышев не скрывал, что судьба Краснощёкова предрешена, поскольку он…

«*…преступно нарушил доверие, выраженное ему, и должен понести суровую кару по суду.*

Советская власть и коммунистическая партия будут больше, чем когда-либо, суровой рукой уничтожать уродливое проявление НЭПа и сумеют напомнить успокоившимся на прелестях капиталистического бытия господам, что они живут в рабочем государстве, возглавляемом коммунистической партией».

Иными словами, глава ЦКК и РКИ громогласно заявил, что предстоящий суд будет всего лишь формальностью, и что «*суровая кара*» Краснощёкова и его подельщиков уже поджидает.

То, что случилось с Краснощёковым, было, пожалуй, одной из первых репетиций того, что произойдёт в стране в 30-х годах, когда начнутся массовые процессы «*врагов народа*» («*врагов*», выявленных среди «*своих*»). Именно в 1923 году большевики создали Соловецкий лагерь особого назначения (сокращённо – СЛОН), который предстояло заполнить заклятыми врагами советской власти и приступить там к перековке их в её пламенных друзей.

20 сентября 1923 года на заседании политбюро (в присутствии Сталина, Рыкова, Зиновьева, Томского, Троцкого, Бухарина, Калинина, Рудзутака и Молотова) было принято ещё одно решение:

«*6. О Промбанке. Отложить решение вопроса на ближайшее заседание политбюро (21/IX)*».

Вероятно, члены политбюро получили какую-то дополнительную информацию.

Тем временем статьи о проштрафившихся коммунистах заполнили первые страницы всех советских газет.

«*Рядовые*» революции

Арест Краснощёкова и осуждение «краснощёковщины» явились победой гепеушной акции, организованной Дзержинским

по приказу Троцкого. Поэтому осенью 1923 года Зиновьев, Каменев (и помогавший им Сталин) решили нанести первый решительный удар по наркомвоенмору. 23 сентября на пленуме ЦК «тройка» неожиданно выдвинула предложение расширить состав Реввоенсовета, введя туда противников Троцкого. Разгневанный наркомвоенмор, по словам Бориса Бажанова, произнёс «*громовую речь*»:

«*Не имея никакого желания вести борьбу с этими интриганами и желая только одного – служить революции, он предлагает Центральному Комитету освободить его от всех его чинов и званий и позволить пойти простым солдатом в назревающую германскую революцию. Он надеется, что хоть в этом ему не будет отказано…*

Слово берёт Зиновьев с явным намерением придать всему оттенок фарса и предлагает его также освободить от всех должностей и почестей и отправить вместе с Троцким солдатами германской революции. Сталин, окончательно превращая всё это в комедию, торжественно заявляет, что ни в коем случае Центральный Комитет не может согласиться рисковать двумя такими драгоценными жизнями и просит Центральный Комитет не отпускать в Германию своих «любимых вождей». Сейчас же это предложение было самым серьёзным образом проголосовано…

Троцкий вскочил и заявил: «Прошу вычеркнуть меня из числа актёров этой унизительной комедии». И бросился к выходу.

Это был разрыв. В зале царила тишина исторического момента. Но полный негодования Троцкий решил для вящего эффекта, уходя, хлопнуть дверью…

С этого решения пленума о Реввоенсовете борьба между тройкой и Троцким вступает в открытую фазу».

А Лариса Рейснер писала родным из Германии:

«*Пишите мне через т. Уншлихта – для Изы. Ни имени, ни адреса не надо. Помните, никому ничего не рассказывайте, погубите меня*».

Брики тоже всё ещё пребывали в Берлине. Это наводит на мысль, что кто-то в ГПУ (скорее всего, Ягода или Агранов) специально позаботился о том, чтобы арест Краснощёкова был произведён в отсутствии в Москве Лили Юрьевны.

Вполне возможно, что по совету тех же гепеушников в письме, которое Маяковский послал Лили Брик, об этом самом главном московском событии тех дней не говорилось ни слова. Бенгт Янгфельдт пишет:

«*Он сообщает им имя сотрудника посольства в Берлине, который может дать разрешение на ввоз в Россию мебели (по-видимому, купленной в Берлине), рассказывает, что белка,*

обитающая у них, по-прежнему жива, и что Лёва Гринкруг – в Крыму. Единственное важное сообщение – что он был у Луначарского, чтобы обсудить «Леф», и что по этому же вопросу он собирается к Троцкому. О событии, которое обсуждала вся Москва, и которое в высшей степени касалось Лили – ни слова».

И заканчивалось письмо Маяковского так, словно ничего из ряда вон выходящего в Москве вообще не произошло:

«*Дорогой мой и сладкий Лилёночек! Ужасно без тебя заскучал!!! Приезжай скорее! ‹…› Без тебя здесь совсем невозможно! ‹…› Приезжай скорее, детик! Целую всех (Киса + Ося), а тебя ещё и очень обнимаю. Твой весь…*»

Но в Берлине советские газеты получали, да и местная (в том числе и эмигрантская) пресса вовсю трубила о «*деле Промбанка*». Владимир Владимирович, может быть, просто хотел немного успокоить Лили Юрьевну, чтобы она не очень переживала из-за ареста близкого ей человека. Ведь у неё остался другой не менее близкий ей «*Щен*», который по-прежнему её любил и ждал.

Вскоре Брики вернулись в Москву.

В это время Коминтерн готовил ещё одну революцию – в Болгарии. Там в ночь с 22 на 23 сентября 1923 года вспыхнуло восстание, которое возглавила местная компартия. Но уже через несколько дней этот бунт был жестоко подавлен: погибло около пяти тысяч человек, около десяти тысяч было арестовано и осуждено, около двух тысяч страну покинуло.

В Польше тоже готовилась революция, которую организовывал Коминтерн. Власти страны всерьёз насторожились. А 25 сентября арестовали и поместили в варшавскую тюрьму Нестора Махно (вместе с женой и двумя его соратниками). Им было предъявлено обвинение в подготовке восстания в восточной Галиции (для присоединения её к Советскому Союзу). Кто знает, не прочёл ли Нестор Иванович на одном из судебных заседаний стихотворение, сложенное им в румынском концлагере:

«Я в бой бросался с головой,
Пощады не прося у смерти,
И не виновен, что живой
Остался в этой круговерти.

Мы проливали кровь и пот,
С народом откровенны были.
Нас победили. Только вот
Идею нашу не убили.

Пускай схоронят нас сейчас,
Но наша Суть не канет в Лету.
Она воскреснет в нужный час.
И победит. Я верю в это!»

Всем четверым подследственным анархистам суд вынес оправдательный приговор.

После арестов

О том, что могли ощущать вернувшиеся в Москву Брики, написал Аркадий Ваксберг (начав своё описание весьма поэтично):

«*Золотая подмосковная осень была как раз в самом разгаре, и так мечталось продолжить пляжное блаженство дачным в обществе любимого человека. Вместо этого Лиля должна была носить передачи арестанту в Лефортовскую тюрьму*».

А в Германии революционные события всё так и не начинались.

Борис Бажанов:

«*…германская революция 1923 года не удалась. В октябре стало ясно, что за подготовку взялись слишком поздно, …что шансов на переворот практически нет и что его надо отложить до лучших времён. Троцкий сделал ряд острых критических замечаний насчёт того, что Зиновьев и Коминтерн всё проглядели и занялись всем слишком поздно, а Зиновьев и Сталин отделались разговорами о том, что Троцкий переоценил остроту революционной ситуации, и что в конце концов правы оказались они*».

Хотя всем уже стало ясно, что революция «*не удалась*», из Москвы пришёл приказ к выступлению. И гамбургские рабочие стали строить баррикады. Лариса Рейснер тотчас собралась в Гамбург, написав родителям:

«*…дней на десять перекочую в рабочие кварталы собирать сведения о боях*».

Но сражения восставших продолжались недолго, и 25 октября 1923 года лидер коммунистов Эрнст Тельман отдал приказ к отступлению. Германская революция завершилась.

Яков Серебрянский, успевший уже дважды побывать в гепеушных застенках, в октябре 1923 года поступил работать в газету «Известия», где его приняли кандидатом в члены большевистской партии. С эсеровским прошлым было окончательно покончено.

Но с журналистским будущим у Серебрянского ничего не получилось. Из-за того, что Якову Блюмкину, которому было предложено возглавить резидентуру советской нелегальной разведки в Палестине, потребовался проверенный человек, чтобы доверить ему пост заместителя. Серебрянский, свободно говоривший по-немецки, по-английски и по-французски, прекрасно подходил на эту роль. И, главное, он без раздумий согласился стать помощником своего друга.

Препятствием было лишь принятое полтора года назад постановление Президиума ГПУ, которое запрещало Якову Серебрянскому работать «*в политических, розыскных и судебных органах*». Можно ли было мечтать о работе заместителя резидента? Оказалось, что можно. Поскольку прежнее постановление было мгновенно отменено. И Яков Исаакович, став особоуполномоченным Закордонной части ИНО ОГПУ и подчинённым Меера Трилиссера, начал готовиться к поездке в Палестину.

Борис Бажанов так охарактеризовал начальника Серебрянского, главу ИНО ОГПУ:

«*Трилиссер был фанатичный коммунист, подбирал своих резидентов тоже из фанатичных коммунистов. Это были опасные кадры, не останавливавшиеся ни перед чем. Такие дела, как взрыв собора в Софии… или похищение генерала Кутепова в Париже, были их обычной практикой*».

О взрыве собора и похищении генерала Кутепова – речь впереди. А пока ГПУ ещё только собирало свои «*опасные кадры*». Что же касается тех, кто руководил работой Лубянки (входил в Президиум ГПУ или в его коллегию), то вот что о них написал всё тот же Борис Бажанов:

«*…коллегия ГПУ была бандой тёмных прохвостов, прикрытая для виду Дзержинским*».

А Владимир Маяковский в тот момент продолжал работать над рекламой товаров, которые выпускало объединененение по переработке сельскохозяйственной продукции (Моссельпром). В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» об этом сказано:

«*В октябре Маяковский написал для Моссельпрома рекламные тексты о папиросах «Ира», «Моссельпром», «Красная Звезда», «Шутка», «Червонец», «Прима», «Араби», «Леда», «Посольские», о столовом масле, дешёвом хлебе, печенье, макаронах, шоколаде, четыре текста относительно обедов, отпускаемых на дом, и четыре – для уличной фигурной рекламы конфет*».

Вот образцы той рекламы:

«*Нигде кроме*

как в Моссельпроме».
«*Нами / оставляются / от старого мира
только – / папиросы «Ира»*»

О той своей работе Маяковский говорил следующее (в «Я сам»):

«*Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» – деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная – реклама. Несмотря на поэтические улюлюкания, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации*».

Конструктивисты в этот момент тоже не сидели сложа руки – выпустили (тиражом в 1500 экземпляров) книгу «Мена всех». Её название было анаграммой (от греческих слов «*ánά*» – «*снова*» и «*grámmá*» – «*буква*»), то есть литературным приёмом, позволяющим путём перестановки букв в слове образовывать новые слова. На этот раз пародировалось название журнала («Смена вех»), выходившего с 1921 года в Праге, в котором эмигранты писали, что нэп приведёт Россию «*от коммунизма к капитализму*». Авторы «Мены всех» (Алексей Чичерин, Корнелий Зелинский и Илья Сельвинский) в очередной раз торжественно провозглашали (в тон футуристической «Пощёчине» и декларации имажинистов):

«*Конструктивизм – высшее мастерство, глубинное исчерпывающее знание всех возможностей материала и умение сгущаться в нём.*

Конструктивизм есть небывалое утверждение искусства.

Мастера всех эпох ПРЕДЧУВСТВОВАЛИ конструктивизм, и только мы осознали его».

А Леф 22 октября заключил соглашение с Московской ассоциацией пролетарских писателей. В передовой статье журнала «Леф» (написанной Маяковским явно сразу после прочтения книги Троцкого, в которой тот предлагал поэту посмотреться в зеркало) о соглашении с МАППом сказано:

«*В чём смысл этого соглашения? Что у нас общего?*

Мы видим, что пролетарской культуре грозит опасность со стороны слишком скоро уставших, слишком быстро успокоившихся, слишком безоговорочно принявших в свои объятья кающихся заграничников, мастеров на сладкие речи и вкрадчивые слова. Мы дадим организованный отпор тяге «назад!», в прошлое, в поминки. Мы утверждаем, что литература – не зеркало, отражающее историческую борьбу, а оружие этой борьбы.

Леф не затушёвывает этим соглашением разницу наших

профессиональных и производственных принципов. Леф нацелено развивает намеченную им работу. Леф рад, что с его маршем совпал марш передового отряда пролетарской молодёжи».

Под «*маршем передового отряда*» Маяковский имел в виду исполнявшееся в октябре пятилетие РКСМ (Российского коммунистического союза молодёжи). Объединяясь с МАППом, поэт как бы снисходительно похлопывал по плечу молодых людей из этого «*передового*» пролетарского отряда. А между тем мапповцам было доступно то, что лефовцам и не снилось. Например, решение жилищного вопроса. О том, как воспользовался неожиданно представившейся возможностью Маяковский – в воспоминаниях лефовца Петра Незнамова:

«*Жилплощадь на Покровке я также получил не без его участия, в качестве «приложения» к договору Лефа с МАППом. Либединскому, Фадееву, Герасимовой, Колосову, М. Голодному и другим пролетарским писателям тогда было предоставлено до двадцати комнат в бывшей гостинице «Компания»*».

Той же осенью с Вологодчины в Москву окончательно приехал поэт Алексей Ганин, называвший себя «*романтиком XX века*». Он написал роман-притчу «Завтра» и теперь его стало волновать спасение России от «*еврейского Интернационала*».

Ганин принялся составлять «*тезисы*», названные им «Манифестом русских националистов».

В книге Галины Пржиборовской «Лариса Рейснер» приводится рассказ Л. Розенблюма, друга семьи Рейснеров, о том, как в доме Бориса Малкина в присутствии Лили Брик и Владимира Маяковского Лариса Михайловна рассказывала о своей поездке в город на Неве. Она была в тёмном платье с открытой шеей, на шее – цепочка с подобием чёрного креста. Ехавший вместе с ней в одном вагоне Эфраим Склянский, заместитель Троцкого, был так очарован её красотой и обоянием, что, встав на колено, поцеловал ей ногу.

«*Краснощёковщина*» и ОГПУ

Члены политбюро продолжали изучать дело Промбанка. 15 октября 1923 года на очередном заседании кремлёвским вождям было зачитано письмо Александра Григорьевича Белобородова, заместителя Феликса Дзержинского, одного из организаторов расстрела царской семьи. Белобородов предлагал:

«*«Краснощёковщина» должна быть выжжена огнём*!»

Как отреагировали на это руководители страны, в протоколе заседания не сказано.

18 октября в Кремле вновь рассматривали дело

Краснощёкова – докладывал член Центральной Контрольной Комиссии Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Губельман).

На этом же заседании политбюро вожди решили сделать более солидным статус ГПУ НКВД РСФСР, и с 15 ноября это ведомство стало именоваться ОГПУ при Совнаркоме СССР, то есть было поднято до союзного уровня.

22 ноября Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский, Бухарин, Калинин и Рудзутак вновь рассматривали вопрос о Промбанке:

«*2. Дело Краснощёкова (Сольц)*».

Кроме Арона Александровича Сольца, которого называли «*совестью партии*», вождей с подробностями этого дела знакомил и Николай Васильевич Крыленко, только что назначенный председателем Верховного суда СССР (в 1917 году по рекомендации Ленина прапорщик Крыленко побывал в должности верховного главнокомандующего российской армии). И вновь члены политбюро пытались решить, как же им поступить с кутилами-коммунистами. Обсудив вопрос, договорились:

«*2. Информацию тт. Крыленко и Сольца принять к сведению*».

О членах партколлегии ЦКК Сольце и Ярославском секретарь политбюро Борис Бажанов высказался так:

«*На заседаниях партколлегии ряд старых комедиантов вроде Сольца творят суд и расправу, гремя фразами о высокой морали членов партии, и изображают из себя «совесть партии». На самом деле существует два порядка: один, когда дело идёт о мелкой сошке и делах чисто уголовных (например, член партии просто и грубо проворовался), и тогда Сольцу нет надобности даже особенно играть комедию. Другой порядок – когда речь идёт о членах партии покрупнее. Здесь… Сольц такую истерику разыгрывает по этому поводу, что твой Художественный театр. Одним словом, получив от Каннера директиву, Сольц или Ярославский будут валять дурака, возмущаться, как смел данный коммунист нарушить чистоту партийных риз, и вынесут приговор, который они получили от Каннера (о Каннере и секретариате Сталина мы ещё поговорим)*».

Тем временем (в ноябре 1923 года) в Москву прилетел Гавриил Ильич Мясников – тот самый, который, согласно молве, возглавлял антибольшевистский «*левый*» заговор. Перед отлётом советский полпред в Германии Николай Крестинский лично заверил его, что никакие преследования в стране Советов ему не угрожают. Но Мясникова арестовали прямо у трапа прилетевшего из Берлина самолёта. Арестом оппозиционера лично руководил Феликс Дзержинский.

Что в тот момент представляла страна Советов?

Борис Бажанов:

«*Страна была разделена на два лагеря. Один – огромная беспартийная масса, совершенно бесправная и целиком отданная во власть ГПУ. Эта масса была раздавлена диктатурой, сознавала, что не имеет никаких прав не только на какую-либо политическую жизнь, но даже и на какое-либо правосудие…*

…органы ГПУ могли арестовать кого угодно по каким-то только ГПУ известным подозрениям, расстрелять человека по решению какой-то никому неизвестной «тройки» или по её безаппеляционному постановлению загнать его на 10 лет истребительной каторги, официально называемой «концентрационным лагерем». Всё население дрожало от страха перед этой организацией давящего террора.

Наоборот, во втором лагере, состоявшем из нескольких сот тысяч членов коммунистической партии, царила довольно большая свобода. Можно было иметь своё мнение, не соглашаться с правящими органами, оспаривать их решения. Эта «внутрипартийная демократия» шла ещё от дореволюционных времён, когда она была явлением нормальным для партии, участие в которой было делом свободного желания её членов».

Вот в такой стране и для таких людей создавали свои стихи поэты.

ЛЕФ и имажинисты

Сергей Есенин всё пытался пристроить свою «Страну негодяев», пьесу, написанную стихами. Одно её название изумляло многих, уже успевших привыкнуть к тому, что Россия стала именоваться страной Советов. А у Есенина в его драматургической поэме говорилось:

«*Не страна, а сплошной бивуак.*
Для одних – золотые россыпи,
Для других – непроглядный мрак».

Если в предыдущей пьесе Есенина «Пугачёв» главный герой был непримиримым врагом царицы Екатерины, то главным героем «Страны негодяев» стал непримиримый враг большевиков по имени Номах. Его прообразом являлся анархист Нестор Махно, Есенин только слоги фамилии переставил: Мах-но, Но-мах.

Но прочитанная справа налево, фамилия есенинского героя звучала как «*Хам он*». И об этом Есенину всё время напоминал

Яков Блюмкин, который, как мы помним, хамов терпеть не мог.

Да и высказывания этого персонажа пьесы почти не отличались от тех слов, которые произносил вслух сам Сергей Есенин:

«*…я – гражданин вселенной,*
Я живу, как я сам хочу!»

В словах, которыми Номах оправдывал то, что он бандит, нетрудно найти отголоски тех объяснений, которые давал Есенин, когда отвечал, почему он является хулиганом:

«*В этом мире немытом*
Душу человеческую ухорашивают рублём,
И если преступно здесь быть бандитом,
То не более преступно, / Чем быть королём».

А вот каким этот бандит (или этот хулиган) был совсем ещё недавно:

«*А когда-то, когда-то… / Весёлым парнем,*
До костей весь пропахший / Степной травой,
Я пришёл в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем / И не с пустой головой.
Я верил… я горел… / Я шёл с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов, / И рас, и племён».

О ситуации, сложившейся в стране через шесть лет после большевистского переворота, в пьесе говорилось:

«*Ваше равенство – обман и ложь.*
Старая гнусавая шарманка.
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка,
Подлецам – порядочный улов».

Судьба главного героя пьесы очень напоминала судьбу самого Есенина. За бандитом Номахом, который грабит поезда и раздаёт народу похищенное золото, гоняются чекисты (одного из них, Чекистова, Номах называет «*прохвостом*»). Но бандиту всюду

сопутствует удача, и в конце пьесы он в очередной раз оставляет ВЧК с носом. И Есенин написал:

«*И в ответ партийной команде*
За налог на крестьянский труд
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?»

Пьесу, в которой выражалось сочувствие заклятому врагу советской власти, и в которой этот враг воспевался, конечно же, всюду встречали в штыки и отказывались печатать.

А Маяковский, который по-прежнему относился к анархизму благожелательно, со многими анархистами дружил, а идеолога махновщины Гроссмана-Рощина, ввёл в своё ближайшее окружение, имени Нестора Махно старался не произносить. В 13-томном собрании сочинений поэта оно упоминается всего два раза. В седьмом томе (1925–1926 годы) в стихотворении «Еврей»:

«*То шёл Петлюра / в батарейных громах,*
то плетью свистела махновщина».

И в девятом томе (1928 год) в «Десятилетней песне»:

«*Били Деникина,*
били / Махно,
так же / любого
с дороги смахнём».

То есть в стихах Маяковского можно найти только фамилию анархистского батьки и наименование его движения. Никакой политической оценки, никакого собственного отношения.

А Айседора Дункан в это время возвращалась в Москву из поездки по Кавказу. И остановилась в Крыму, куда к ней обещал приехать Есенин. Она напомнила ему об этом в телеграмме. Вскоре пришёл ответ:

«*Писем, телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернётся никогда. Галина Бениславская*».

Дункан очень удивилась и на следующий день отправила ещё

одну телеграмму:

«*Москва, Есенину.*

Петровка. Богословский. Дом Бахрушина.

Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы письма телеграммы на Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу объяснить телеграммой очень люблю Изадора».

Илья Шнейдер:

«*Ответа мы не получили, так как на другой же день, 12 октября, выехали в Москву*».

У Маяковского тогда много времени уходило на журнал «Леф» («Левый фронт») и литературную группу того же названия. В статье «За что борется Леф?», опубликованной в первом номере журнала, Владимир Владимирович писал:

«*Леф должен собрать воедино левые силы…*

Леф должен объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры».

Тон приведённых фраз свидетельствует о том, что название у вновь создававшейся литературной группы было новым, а воинственно-агрессивные нападки на культурное наследие прошлого остались прежними – они явно шли (почти без изменений) из «Пощёчины общественному вкусу».

25 ноября 1923 года в харьковской газете «Коммунист» была напечатана статья «Литературная Москва», в которой говорилось:

«*…задача Лефа – революция поэтической (разрушение старой), стихотворной и прозаической формы, революция созидания. Формы переходного мира резки, сильны, монументальны*».

Галина Артуровна Бенинславская

Откликаясь на переименование комфутов в лефовцев, журналист Лев Сосновский написал критическую статью «Литхалтура» («Правда» от 1 декабря 1923 года). Она была направлена против Николая Асеева, который, ещё находясь в Сибири и на Дальнем Востоке, защищал футуризм и его лидера. Пётр Незнамов отзывался о нём так:

«*Николай Николаевич Асеев, второй после Маяковского человек… Когда он – подтянутый и стройный, какой-то пепельно светлый, потому что рано поседевший – шёл своей летящей походкой, казалось, что и сама речь его будет такой же лёгкой и стремительной. ‹…› Самая речь состояла из страстных и гневных филиппик, направленных против врагов Маяковского. Речь была приятна тем, что совершенно не адвокатская. Речь, которую трудно говорить, но невозможно не сказать*».

Лефовцы, по словам Незнамова, на статью Сосновского ответили тут же:

«*Ответ писалася в Водопьяном, писался весело, сообща. Делали его и шутили:*

– Запорожцы пишут письмо турецкому султану.

Многое в этом удачном ответе было и от едкого остроумия Маяковского».

Статью под названием «Крит-халтура» поместили в журнале «Леф».

Но советская власть лефовцев (как и футуристов) поддержать не желала. В воспоминаниях Натальи Розенель-Луначарской говорится, что на одном из диспутов, состоявшихся летом 1923 года в Большом зале Московской консерватории…

«*Луначарский назвал «кувырканием» попытку создать особую, лефовскую теорию литературы и очень отчётливо выделил Маяковского из этой писательской группировки*».

Сам Маяковский продолжал относиться к Луначарскому очень трогательно и как-то сказал его жене:

«*Очень хороший человек Анатолий Васильевич. Я сам люблю его, как дядю, как отца. А вот иногда злюсь на него, как на наркома*».

Интересно отметить, что литературовед Иуда Гроссман-Рощин (тот самый, бывший махновец, который постоянно «*просачивался*» в квартиру в Водопьяном переулке), по словам всё той же Натальи Розенель, на диспуте в консерватории «*горячо, но невразумительно защищал Леф*».

Имажинистов советская власть тоже не поддерживала.

Акция ОГПУ

Ставший эмигрантом российский поэт Владислав Ходасевич писал:

«*То, что публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, был бы давно расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан приказ по милиции: доставлять в участок для отрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода*».

Эдуард Хлысталов в книге о Есенине тоже говорит про этот «*приказ по милиции*»:

«*…с сентября 1923 года Есенина начинают то и дело задерживать работники милиции, доставляют в приёмный покой Московского уголовного розыска, предъявляют ему обвинения в хулиганстве и в подстрекательстве к погромным действиям. Изучая ранее неизвестные архивные материалы, я обнаружил любопытную закономерность. «Пострадавшие» от Есенина люди*

приходили в ближайшее отделение милиции или звали постового милиционера и требовали привлечь поэта к уголовной ответственности, проявляя хорошую юридическую подготовку. Они даже называли статьи Уголовного кодекса, по которым Есенина следовало судить.

И ещё одна закономерность: во всех случаях задержание проходило по одному и тому же сценарию – Есенин всегда оказывался в состоянии опьянения. Словно кто-то ждал того часа, когда он выйдет после пирушки. Как правило, инцидент начинался с пустяка. Кто-то делал Есенину замечание, тот взрывался, звали милиционера. Блюститель порядка с помощью дворников силой тащил Есенина в отделение. Задержанный сопротивлялся, называл стражей порядка взяточниками, продажными шкурами и т. п.

Во всех случаях с Есениным были другие лица (поэты А. Ганин, И. Приблудный, А. Мариенгоф и другие), но их не только не задерживали, но и не допрашивали».

Как видим, всё действительно началось «*с сентября 1923 года*», то есть практически сразу же, как начались нелады у приехавших из-за границы супругов Есенина и Дункан. Убедившись в том, что Есенин не собирается продолжать так блестяще задуманную гепеушную операцию, ГПУ решило взять его измором, началось тотальное преследование поэта (других стихотворцев, взятых вместе с Есениным даже «*не допрашивали*»).

Возникает вопрос, а знал ли об этом Маяковский?

Ответ напрашивается только один: не мог не знать, ведь информация поступала к нему от Осипа Брика и Якова Агранова, которые вполне могли рассказать о том, как их ведомство наказывает тех, кто не хочет выполнять взятых на себя обязательств.

В октябре Сергей Есенин рассорился с Анатолием Мариенгофом из-за того, что, несмотря на постоянные просьбы, присылавшиеся из-за рубежа, его сестре деньги передавались с большими перебоями. Об этом – Матвей Ройзман:

«*Долю Сергея, причитающуюся из отчислений «Стойла» его сестре Кате, выдавали нерегулярно: в кафе стали хромать дела*».

Есенин решил, что во всём виноват Мариенгоф. Возник конфликт, из-за которого, по словам Матвея Ройзмана, недавние друзья:

«*Так поссорились, что перестали разговаривать друг с другом*».

Впрочем, к деловым неудачам явно добавилась ещё и зависть:

«*Анатолий не переносил, когда, даже в шутливом тоне, ему намекали, что Есенин талантливей его*».

Иван Старцев о Есенине:

«*За границей он работал мало, написал несколько*

стихотворений, вошедших потом в «Москву кабацкую». Большею частью пил и скучал по России.

– Ты себе представить не можешь, как я скучал. Умереть можно. Знаешь, скука, по-моему, тоже профессия, и ею владеют только одни русские».

Сохранились слова поэта и о его отношениях с Айседорой Дункан (их передала в своих воспоминаниях Галина Бениславская):

«*– Была страсть и большая страсть. Целый год это продолжалось. А потом всё прошло и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь! Боже мой, какой я был слепой?! Где были мои глаза? Это, видно, всегда так слепнут…*»

Когда Есенин переехал жить к Бениславской, гепеушники решили нажим на него усилить. И нашли для этого повод – 20 ноября в Доме печати торжественно отмечалось пятилетие Всероссийского союза поэтов (ВСП). Газета «Известия» на следующий день сообщила:

«*Вечером в помещении ВСП (Тверской бульвар, д. 25) состоялось «академическое собрание» под председательством Брюсова и при участии поэтов И. А. Аксёнова, Н. Н. Асеева, М. П. Герасимова, С. А. Есенина, Р. Ивнева, В. В. Каменского, О. Э. Мандельштама, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака, В. Г. Шершеневича и др…*»

Перечисленные поэты в своих выступлениях славили стихотворный союз.

После официальной части в клубе была устроена вечеринка. Зная, что во время застолья Есенин непременно что-то выскажет, ГПУ отрядило туда своих людей.

Пивной инцидент

На вечеринку в клуб писателей Есенин не пошёл – вместе с поэтами Ганиным, Клычковым и Орешиным он отправился в пивную Малинникова, которая располагалась на углу улицы Мясницкой и Чистопрудного бульвара.

Эдуард Хлысталов:

«*Если Есенин ещё имел кое-какие средства для существования, то Ганин, Клычков и Орешин влачили нищенский образ жизни*».

Именно с ними Есенин и отправился в пивную.

Матвей Ройзман:

«*Там они не только угостили его захваченной с собой водкой, но ещё смешали её с пивом, то есть, как это называют, поднесли ему «ерша». Сергей в отличие от своих собутыльников*

моментально захмелел».

Стали обсуждать только что завершившееся «*академическое собрание*». Алексей Ганин принялся вклинивать в разговор фразы из своего «Манифеста русских националистов», говорить о засилье «*еврейского Интернационала*» в литературных делах. Орешин принялся возражать. Поэты заспорили.

Потом Есенин привёл такие подробности их разговора:

«*Сидел в пивной с приятелями, говорили о русской литературе, …упоминали частично т.т. Троцкого и Каменева и говорили относительно их только с хорошей стороны, то, что они нас-то и поддерживают. О евреях в разговоре поминали только, что они в русской литературе не хозяева и понимают в таковой в тысячу раз хуже, чем в чёрной бирже, где большой процент евреев обитает как специалистов*».

В этот момент, по словам Матвея Ройзмана:

«*В пивную вошёл с девушкой молодой человек в чёрной кожанке, как оказалось чекист. Они заняли столик неподалёку от четырёх поэтов*».

Как впоследствии выяснилось, фамилия «*чекиста*» была М. В. Родкин (Марк Родкин или Роткин – в газетах его называли по-разному). Он дал такие пояснения:

«*Рядом со мной за столиком сидело четверо неизвестных мне гр<ажда>н, которые вели между собой разговор о советской власти, ругая евреев, называя их паршивыми жидами, указывая на принадлежность товарищей Троцкого и Каменева, называя их жидами*».

Сергей Есенин:

«*Я увидел типа, который прислушивался к нашему разговору. Я сказал приятелю, чтобы он плеснул ему в ухо пивом, после этого тип встал и пошёл, позвал милицию*».

Алексей Ганин:

«*Неизвестный гражданин привёл почему-то милиционера и попросил взять одного из нас, указав на тов. Есенина…*»

Сергей Клычков:

«*Я спросил его о причине… Он сказал: «В милиции разберутся». Я, не видя причины за Есениным, предложил всем четверым идти в милицию, и мы все вчетвером поднялись идти*».

Поэтов отвели в 47-е отделение милиции, где был составлен протокол, а Сергей Есенин дал показания:

«*Идя в отделен. милиц., неизвестный гр<аждани>н назвал нас «мужичьё», «русские хамы». И вот, когда была нарушена интернациональная черта национальности словами этого гражданина, мы, некоторые из товарищей, назвали его жидовской мордой. Больше ничего показать не имею. Протокол записан с моих*

слов правильно и мне прочитан, в чём подписуюсь».

Любопытны показания милиционера И. Ф. Абрамовича, сообщившего, что водворённые в камеру поэты…

«*…запели в искажённой форме с ударением на «р», подражая еврейскому акценту, революционную песню «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой»*».

22 ноября газета «Рабочая Москва» опубликовала фельетон «Что у трезвого «попутчика» на уме…», в котором говорилось, что Есенин и его друзья…

«*…переночевав в милиции, были препровождены затем в ГПУ для допроса. Делу будет дан судебный ход*».

Да, было заведено уголовное дело. И в «Рабочей газете» появился фельетон известного нам Льва Сосновского «Испорченный праздник». В нём, в частности, говорилось о том, ***как*** Есенин просил Демьяна Бедного вызволить его и его собутыльников из милиции:

«*Есенин звонит из отделения милиции. Говорит подчёркнуто развязно и фамильярно.*

– Послушай… Скажи тут, чтобы нас освободили…

– Кого вас?

– Меня, Орешина, Клычкова и Ганина.

– Почему вы в милицию попали?

– Да, понимаешь, сидели в пивной… Ну, заговорили о жидах, понимаешь… Везде жиды… И в литературе жиды… Ну, тут привязался к нам какой-то жидок… Арестовали…

– М-да… Очень не-хо-ро-шо…

– Понятно, нехорошо: один жид четырёх русских в милицию привёл».

И Сосновский делал вывод:

«*Лично меня саморазоблачение наших поэтических «попутчиков» очень мало поразило. Я думаю, что если поскрести ещё кое-кого из «попутчиков», то под советской шкурой обнаружится далеко не советское естество*».

Ознакомившись с этой статьёй, Есенин тут же написал письмо Троцкому. Оно сохранилось, хотя отправлено почему-то не было:

«*Дорогой Лев Давидович!*

Мне очень больно за всю историю, которую подняли из мелкого литературного карьеризма т. Сосновский и Демьян Бедный…

С Демьяном Бедным мы так не разговаривали…

Никаких антисемитских речей я и мои товарищи не вели.

Всё было иначе. Во время ссоры Орешина с Ганиным я заметил нахально подсевшего к нам типа, выставившего своё ухо и бросил фразу: «Дай ему в ухо пивом». Тип обиделся и назвал меня

мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой…

В быту – перебранки и прозвища существуют, также как у школьников, и многие знают, что так ругается сам Демьян».

Кроме всего прочего в милиции выяснилось, что у Есенина всё ещё отсутствует московская прописка, поскольку у него нет никакой жилплощади. Это противоречило существовавшим тогда законоположениям, и поэту пришлось написать обязательство:

«*Обязуюсь в 2-недельный срок прописаться по адресу Богословский переулок, дом № 3, кв. 46*».

Это был адрес Галины Бениславской. В том же доме жили Григорий Колобов и Анатолий Мариенгоф со своими семьями. Судя по всему, это был дом, где проживали чекисты или те, кого поддерживало ОГПУ.

Но Есенин там так и не прописался. Хотя квартира Колобова пустовала – её хозяин с 27 августа 1923 года по 27 июня 1924 года работал начальником Закавказского окружного управления местного транспорта наркомата путей сообщения, а потом его перевели в Ленинград.

Поэтические будни

Вскоре по Москве пошли толки о том, что четырёх поэтов отдают под суд.

А глава поэтов-лефовцев вместе с Николаем Асеевым в это время сочинял рекламу для Мосполиграфа. Вот эту:

«*Карандаши, перо, чернила,*
штемпель – дёшево и мило.
А обои – загляденье –
рад бы клеить каждый день я.
Шрифта – угол непочатый,
всё, что хочешь, напечатай!»

Каждые две строки сопровождались рисунком Маяковского.

29 ноября 1923 года, как о том сообщается в «Хронике жизни и деятельности Маяковского», Владимир Владимирович…

«*…заключил договор с Московским губернским отделом Союза рабочих полиграфического производства на агитпоэму о Кодексе законов о труде с 30 иллюстрациями. Срок сдачи – через две недели*».

Сдавая завершённую работу Мосполиграфу, Маяковский неожиданно «*вышел из себя*». Об этом – Николай Асеев:

«*В гневе я видел его по-настоящему один только раз.*

Мы с ним выполняли плакаты с подписями, кажется, по охране труда. Работа была ответственная, сроки подходили к окончанию. Наконец, окончив всё, проверив яркость красок и звучность текстов, мы, радостные, пошли сдавать заказ в учреждение.

Но учреждение отнюдь не обрадовалось нам…

Мы ходили трое суток, дежуря в приёмной по многу часов».

Руководители Союза рабочих-полиграфистов, видимо, по привычке заседали в многочисленных комиссиях, которых в ту пору развелось превеликое множество, поэтому начальству было не до посетителей.

Терпение у Маяковского лопнуло, и он («*сквозь вопли дежурной секретарши*») прорвался в кабинет одного из начальников, ведя за собой Асеева. В одной руке у Владимира Владимировича «*была палка, в другой – свёрнутые в трубочку плакаты*». Увидев вломившихся в кабинет незваных посетителей, начальник, по словам Асеева, сразу узнал поэта и…

«*…поднялся в кресле во всём своём величии, которому, правда, не хватало роста:*

– Маяковский! Что это вы себе позволяете?! Здесь вам не Политехнический музей, чтобы врываться без разрешения!

Он был пунцов от раздражения, он грозил Маяковскому коротеньким пухлым пальцем, всей своей фигуркой выражая негодование. А тут ещё секретарша сбоку старалась выгородить себя, вопя, что Маяковский поднял её за локти и отставил в сторону от защищаемой ею двери начальства.

Начальство свирепело всё больше. Что-то вроде «извольте выйти вон» с указующим перстом на выходные двери.

Маяковский вдруг внезапно положил трость на письменный стол, снял шляпу с головы, положил плакаты на кресло и, опершись ладонями о стол, начал с тихой, почти интимной, воркующей интонацией:

– Если вы, дорогой товарищ…

Громче и скандируя:

– …позволите себе ещё раз…

Ещё громче и раздельнее:

– …помахивать на меня вашими пальчиками!

Убедительно и почти сочувственно:

– То я! оборву вам эти пальчики!! вложу в портбукет!!!

Со страшной силой убедительности и переходя на наивысшие ноты:

– И пошлю их на дом вашей жене!!!

Эхо раскатов голоса Маяковского заставило продребезжать стёкла. Начальство по мере повышения голосовой силы, как бы пригибающей к земле, начало опускаться в своё кресло,

ошарашенное и самим гулом голоса и смыслом сказанного.

Результат был неожиданным.

– Маяковский, да чего вы волнуетесь? Ну что там у вас? Давайте разберёмся!

Плакаты были просмотрены и утверждены за десять минут».

Напомним, что вышедшее из употребления в наши дни слово «*партубкет*» (по-французски – «*porte-bouquet*») означает футляр для цветов, которые дарили даме.

Сам же инцидент в кабинете некоего начальника свидетельствует о том, что Маяковский, уже вошедший во вкус своей гепеушной работы, продемонстрировал, кто он, и какое ведомство стоит за его спиной. И этим, как видим, поэту-гепеушнику удавалось напугать кое-кого из тех, кто вставал на его пути.

Иными словами, Маяковскому было не до Есенина и его друзей.

За арестованных стихотворцев бросились хлопотать другие.

Друзья вызволяют

Матвей Ройзман:

«*Мне пришлось говорить с начальником отдела, за которым числилось дело 4 поэтов. Я рассказал, как всё произошло на самом деле в пивной… Начальник попросил позвонить ему по телефону на следующий день. Я это сделал, и он сообщил мне, что сегодня вечером Сергей будет на свободе*».

Какими же надо было обладать связями, чтобы вот так легко связываться по телефону не просто с каким-то работником ГПУ, а с начальном именно того отдела, который «*вёл дело*» арестованных поэтов?

Сергея Есенина, в самом деле, в тот же вечер выпустили из застенков Лубянки.

30 ноября «Правда» напечатала открытое письмо четырёх поэтов, в котором они заявляли:

«*Всякие возражения и оправдания, впредь до разбора дела третейским судом, считаем бесполезными и преждевременными…*

Пётр Орешин, Сергей Клычков, А. Ганин, С. Есенин».

Сразу вспоминаются есенинские строки, в которых наглядно передаётся настроение, охватившее тогда поэта:

«*Защити меня, влага нежная,*
Май мой синий, июнь голубой,
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.

Знаю, если не в далях чугунных,
Кров чужой и сума на плечах,
Только жаль тех дурашливых, юных,
Что сгубили себя сгоряча.

Жаль, что кто-то нас смог рассеять,
И ничья непонятна вина.
Ты Рассея, моя Рассея,
Азиатская сторона».

О Есенине той поры в книге Владислава Тормышова сказано:

«*Он не писал верноподданнических стихов, не сочинял агиток, позволял себе иметь мнение по любому вопросу и высказывал его вслух. Он тяжело переживал запреты цензуры на публикацию его сочинений. ОГПУ распространяло небылицы, сплетни, анекдоты о Есенине…*

При этом писали не всегда правду. Иногда совсем неправду, как Мариенгоф, Кручёных, Сосновский и компания».

4 декабря газета «Трудовая копейка» поместила рекламу продукции треста «Моссукно» (текст и рисунки Маяковского):

«*Стой! Прочти! Посмотри!*
Выполни точка в точку.
И в Моссукне, магазин № 3,
оденешься в рассрочку».

Вечером 10 декабря 1923 года в театре Всеволода Мейерхольда проходил диспут на тему «Гипертрофия искусства». Доклад делал режиссёр Константин Миклашевский (тот самый, что ставил спектакль по пьесе Горького «Работяга Словотёков»). В обсуждении принял участие и Маяковский.

В эти же часы (в 8 вечера) в Доме печати начался общественный суд над Ганиным, Есениным, Клычковым и Орешиным.

Поэтов судят

О существе дела собравшимся доложил Платон Керженцев.

Матвей Ройзман:

«*Обвинителем выступил Л. Сосновский. Он сосредоточил основной огонь своей речи на Сергее. Резко обрушился на четырёх поэтов председатель суда Демьян Бедный… Впрочем, нотки*

сожаления зазвучали в его голосе, когда он говорил о том, что Есенин губит свой талант».

Суд продолжался до 3 часов ночи, и было объявлено, что окончательное решение будет оглашено вечером 13 декабря.

16 декабря газета «Правда», сообщив, что поэтам объявлено «*общественное порицание*», добавила:

«*Инцидент ликвидируется настоящим постановлением и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения счётов, и поэты Есенин, Орешин, Клычков и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжёлый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу*».

Устами общественных судей ГПУ как бы предупреждало Есенина, что он сможет «*по-прежнему продолжать свою литературную работу*», если будет соблюдать гепеушные правила и порядки (то есть продолжит выполнять доверенное ему дело).

А Маяковский 17 декабря 1923 года (как сообщается о том в «Хронике» его жизни и деятельности):

«*…сдал в губотдел Союза рабочих полиграфического производства рукопись написанной совместно с С. Третьяковым агитпоэмы «Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей (Кодекс законов о труде)»*».

Поэма заканчивалась очень оптимистично:

> «*Такого кодекса / нет нигде.*
> *Живёт Фадей / и не нахвалится*
> *на советский кодекс / законов о труде*».

А у Есенина в тот момент никакого оптимизма не было, ведь «*советский кодекс законов о труде*» не защищал его никак. Об этом поэт говорил в написанной им статье «Россияне».

Обиженный и разгневанный поэт бил наотмашь. Досталось от него всем, но особенно – Льву Сосновскому, который в тот момент был членом Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК):

«*Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живём.*

Тягостное за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.

…эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы.

– Расходитесь, – мол, – так твою так-то! Где это написано,

чтоб собирались по вечерам и песни пели?!

Некоторые типы, находясь в такой блаженной одури и упоённые тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора.

Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский.

Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет всё об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению…

Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортёрских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту»…»

Хотя есенинская статья не была опубликована, какие-то её положения автор явно высказывал вслух. Видимо, поэтому 30 декабря на первой странице «Правды» появился фельетон Михаила Кольцова «Не надо богемы», в котором говорилось:

«*Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прежние времена – уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной организовано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте, будем грубы и нечутки, заявим, что это одно и то же*».

Михаил Кольцов напомнил читателям о «*пивном путче*», который произошёл в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» 8 февраля 1923 года. Там вождь немецких нацистов Адольф Гитлер провозгласил лидера баварских правых Густава фон Кара регентом Баварии, генерала Эриха Людендорфа – главнокомандующим германской армии, а себя – имперским канцлером. Мюнхенский путч провалился, Гитлер был отправлен за решётку. Называя Есенина и его друзей фашистами, Михаил Кольцов призывал и с ними поступить точно так же.

В том, что фельетон «Не надо богемы» был написан по заказу Лубянки, вряд ли стоит сомневаться. Тем более, ОГПУ в тот момент резко расширило сеть своих осведомителей. Об этом рассказал Борис Бажанов, описав услышанный им на заседании одной из комиссий ЦК разговор видного большевика Андрея Сергеевича Бубнова, заведовавшего отделом агитации и пропаганды ЦК РКП(б), и гепеушника Генриха Ягоды:

«*Ягода хвастался успехами в развитии информационной сети*

ГПУ, охватывавшей всё более и более всю страну. Бубнов ответил, что основная база этой сети – все члены партии, которые нормально всегда должны быть информаторами ГПУ; что же касается беспартийных, то вы, ГПУ, конечно, выбираете элементы, наиболее близкие и преданные советской власти. «*Совсем нет, – возражал Ягода, – мы можем сделать сексотом кого угодно, и, в частности, людей, совершенно враждебных советской власти*». – «*Каким образом?*» – *любопытствовал Бубнов.* «*Очень просто, – объяснял Ягода. – Кому охота умереть с голоду? Если ГПУ берёт человека в оборот с намерением сделать из него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он всё равно, в конце концов, будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую нигде не примут без секретного согласия наших органов. И в особенности, если у человека есть семья, жена, дети, он вынужден быстро капитулировать*»».

Между прочим, именно так ГПУ взяло «*в оборот*» Сергея Есенина, пытаясь заставить его плясать под лубянскую дудку.

Но вернёмся к суду над четырьмя поэтами. На оглашении приговора суда Есенин не присутствовал, так как (согласно сохранившимся документам) 13 декабря он лёг в профилакторий, который находился в больнице на улице Большая Полянка. Поэт-имажинист пролежал там до конца января следующего года.

А в Палестину в это время прибыли агенты ОГПУ: два Якова – Блюмкин и Серебрянский. Перед отъездом из Москвы их принял первый заместитель председателя ОГПУ и куратор Иностранного отдела Вячеслав Рудольфович Менжинский, который порекомендовал делать за границей «*всё, что будет полезно для революции*». У Блюмкина были документы на Моисея Гурфинкеля (Гурсинкеля). Прибывшие на Ближний Восток россияне открыли в Яффе (ныне – один из районов Тель-Авива) прачечную, которая стала штаб-квартирой их резидентуры.

А всё ещё находившийся в Польше Нестор Махно сделал публичное заявление о необходимости непримиримой борьбы с большевиками и советской властью.

Финиш года

19 декабря 1923 года Луначарский отправил руководителям постоянных представительств СССР за рубежом, а также работавшим там сотрудникам наркомата по просвещению (НКП) следующий документ:

«*Товарищам полпредам, представителям НКП за границей и другим представителям Советской власти.*

Известный поэт В. Маяковский командируется Наркомпросом

в длительную поездку с широкими художественно-литературными целями. Наркомпрос РСФСР просит всех официальных представителей российского и союзных правительств, а равно всех лиц, стоящих на платформе советской власти и могущих быть полезными т. Маяковскому в его поездке, оказывать ему всемерную поддержку».

О том, какая обстановка складывалась тогда в стране Советов, кремлёвские вожди могли узнать из представленной Генрихом Ягодой секретной сводки ОГПУ от 28 декабря:

«*Обзор политического настроения рабочих за ноябрь 23 г.*

Настроение рабочих в ноябре по-прежнему не вполне удовлетворительное. ‹…› Наблюдается недовольство на почве фактического снижения уровня зарплаты, сокращения штатов. ‹…› Следствием тяжёлого экономического положения рабочих является высокий уровень забастовочного движения по СССР и наблюдается рост антисоветского влияния среди рабочих…

Во главе националистического движения идёт Чечня. Вся Чечня и часть Дагестана представляет из себя вооружённый лагерь».

А вот каким запомнился тот момент Борису Бажанову:

«*Ленин умирает. Борьба за наследство идёт между тройкой и Троцким. Тройка ведёт энергичную пропаганду в партии, выставляя себя как верных и лучших учеников Ленина. А из Ленина официальная пропаганда создаёт икону – гениальный вождь, которому партия обязана всем, а написанное им – Евангелие, подлинная истина*».

Уже семь лет большевики управляли страной, но всё ещё не научились хозяйствовать так, чтобы удовлетворить чаяния народа. Рабочие, ради которых, как утверждала официальная пропаганда, и совершался Октябрьский переворот, ухудшавшимся с каждым днём положением были категорически недовольны.

А как обстояли дела у Маяковского?

Он (вместе с Асеевым) сочинял по заказу треста Моссукно агитпоэму «Ткачи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам!». В ней речь шла о том, что советские ткачихи смогут дать советским людям ткани из советской шерсти:

«*Наши ткани / не богатым –*
обошьёшься из зарплаты!
Кто не верит – / посмотри
в магазине № 3.
Забрели в магáзин вы бы,
цены – грош, / огромный выбор!
Подобрали точка в точку,
и бери товар в рассрочку».

Александр Михайлов:

«*Конец года обозначил полярные точки в творчестве Маяковского: «Нигде кроме как в Моссельпроме» – рекламу на конфетных этикетках, на печенье, на вывесках киосков и магазинов, просто на заборах. Торжество производства над поэзией, попрание искусства…*

Рекламные плакаты идут как с конвейера. Реклама макарон, папирос, пива, журнала «Московский планетарий». ‹…› Оптимизм бьёт через край:

«Нечего на цены плакаться,
в ГУМ, комсомольцы,
в ГУМ, рабфаковцы!..»

«Папиросы «Червонец» хороши на вкус.
Крепки, как крепок червонный курс»…

Пережив драму любви, исчерпав себя в бурном лирическом всплеске поэмы «Про это», Маяковский целиком отдался утилитарному деланию продукции, хотя внешне и связанной с искусством, но не являющейся искусством в его высоком значении».

Корнелий Зелинский:

«*Новый 1924 год Маяковский пригласил меня встречать вместе. Встречали у художника А. Штейнберга*».

На самом стыке старого и нового годов произошло ещё одно важное событие.

Расставание с чрезвычайностью

1 января 1924 года народный комиссариат финансов, которым руководил Григорий Сокольников, начал проводить денежную реформу. Корней Чуковский записал в дневнике:

«*1 миллиард рублей 1923 года равен 25 копейкам*».

Советский рубль становился твёрдой валютой. Но обстановка в стране Советов от этого лучше не становилась. Партия была расколота на сторонников Ленина и приверженцев Троцкого. Владимир Ильич после третьего инсульта продолжал находиться в Горках и не желал видеть никого из своих ближайших сподвижников. Лев Давидович в ноябре 1923-го тоже внезапно заболел (непонятно от чего и чем). Лечившие Ленина врачи,

осмотрев наркомвоенмора, порекомендовали (по совету всё той же кремлёвской «тройки») отправить его для поправки в Сухум.

В стране явно что-то затевалось. На третью декаду января был назначен Съезд Советов, на котором, как правило, происходили кадровые перестановки во властных структурах. К тому времени Зиновьев, Каменев и Сталин сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы ослабить Красную армию, которая была могучим оплотом Троцкого.

8 января 1924 года ОГПУ составило для кремлёвского руководства очередную сводку о положении в стране. Сохранился экземпляр документа, предназначавшийся Сталину. В сводке говорится, что в СССР…

«…*сильный рост безработицы в последнее время. ‹…› В ноябре отмечалось значительное ухудшение по сравнению с прошлыми месяцами в настроении Красной Армии, главным образом, вследствие недостатка обмундирования и задержки демобилизации. ‹…› В Московском военном округе красноармейцы ряда частей раздеты и разуты. Красноармейцы 51-го полка 17-й дивизии ходят в одном белье*».

Последние слова Сталин аккуратно подчеркнул чёрными чернилами.

Нетрудно себе представить, как в этих условиях возросла роль ОГПУ, и сколько работы прибавилось его сотрудникам.

Глава чрезвычайного ведомства Феликс Дзержинский, являясь сторонником Троцкого, был вынужден выполнять и приказы Кремля, что монолитной сплочённости ОГПУ, конечно же, не способствовало. К тому же среди чекистов было немало тех, кого на их посты назначила кремлёвская «тройка».

В этот-то напряжённый для чекистов момент из ОГПУ был уволен Осип Брик.

Аркадий Ваксберг:

«*31 декабря 1923 года Осип расстался с ГПУ – формально потому, что (так сказано в служебной аннотации) был «медлителен, ленив, малоинициативен». Каждое слово этой триады можно толковать по-всякому. ‹…› Возможно, надобность в его лубянском служении по тем или иным причинам просто отпала – даже, наверное, стала кому-то мешать, – а дружба с лубянскими шишками осталась всё равно неизменной. И у Осипа, и у Лили, и у Маяковского*».

То же самое событие Бенгт Янгфельдт описал немного иначе:

«*1 января 1924 года Осипа уволили из ГПУ как «дезертира». Поводом для столь жёсткой формулировки послужил тот факт, что Брик слишком часто избегал участия в операциях – по состоянию здоровья. Если так, то это, несомненно, делает ему*

честь. Возможно также, что ГПУ теперь меньше нуждалось в услугах «специалиста по буржуазии»».

Янгфельдт перечислил все, по его мнению, возможные причины увольнения Брика. Но почему-то не включил в этот перечень гораздо более существенную провинность Осипа Максимовича – он был причастен к делу Промбанка. Ведь это Осип Брик в качестве юриста составлял устав строительной фирмы Якова Краснощёкова «Американско-российский конструктор».

Видимо, приятельские отношения с Яковом Аграновым и Генрихом Ягодой позволили Брику избежать более сурового наказания (увольнение за «*уклонения*» от чекистских операций всё же лучше тюремного срока, пусть даже самого незначительного).

А у Маяковского в наступившем 1924 году сочинение рекламных стихов продолжилось. В «Хронике» его жизни и деятельности сказано, что в начале января он написал…

«*…рекламный текст о макаронах для Моссельпрома*».

Вот этот текст:

> «*Где покупали-ели*
> *самые вкусные / макароны / и вермишели?*
> *Нигде / кроме*
> *как в Моссельпроме*».

Моссельпромовские макароны, возможно, и были тогда «*самые вкусные*». Но многие житейские трудности страна всё ещё не могла преодолеть. В частности, был жуткий дефицит писчей бумаги. Об этом – Матвей Ройзман:

«*В те годы многие писали на обёрточной бумаге, на картоне, на завалявшихся обоях. А вместо обоев оклеивали комнаты обесцененными коричневыми и зелёными керенками; некоторые даже делали из этих денег обложки для своих сборников стихов*».

Случались перебои и с выдачей советских денежных знаков. Памятное событие, которое долго обсуждала вся литературная Москва, произошло в Госиздате. В платёжный день туда пришёл Есенин, чтобы получить выписанный ему гонорар. Но там, по словам Матвея Ройзмана:

«*Ему сказали, что в кассе денег нет. Он стал объяснять бухгалтеру, что у его родителей в Константинове сгорела изба, и ему пришлось построить новую. Сейчас надо окончательно расплатиться со строителями. Бухгалтер слушал поэта, уписывая за обе щёки картофельные пирожки с мясом, и только пожимал плечами. Есенин снял шубу, шапку, повесил на гвоздь и, выйдя на середину комнаты, сказал, что сейчас прочтёт свои стихи*».

Об этом услышали счетоводы и бросились в кабинет бухгалтера, а один из них выбежал в коридор и крикнул:

– Есенин стихи читает!

Кабинет бухгалтера и смежная с ним комната сразу же набились служащими Госиздата и постетителями. И тут заместитель директора издательства по какому-то делу позвонил в бухгалтерию. Трубку никто не снял. Начальник пошёл узнать, в чём дело, и, увидев толпу, принялся возмущаться. На него зашикали.

Матвей Ройзман:

«*Когда Сергей кончил читать стихотворение, начальство крикнуло бухгалтеру:*

– Почему срываете работу издательства? Кто разрешил?

За бухгалтера ответил Сергей:

– Мне выписали деньги, а в кассе их нет. Вот я, чтобы в ожидании не скучать…

– Немедленно выплатить деньги! – гаркнуло начальство.

– Слушаюсь! – ответил, вытянувшись в струнку, бухгалтер-чиновник».

И Есенин причитавшиеся ему деньги получил.

А Маяковский в начале второй декады января 1924 года выехал в Киев и Харьков читать лекции, издав перед самым отъездом новую поэму.

Песнь о рудокопах

Новая поэма Маяковского, напечатанная в четвёртом номере журнала «Леф», называлась «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского». Пресса встретила эту вещь без всякого восторга. Харьковская газета «Коммунист» написала:

«*Новая поэма Маяковского как будто даже на современную тему, но слишком голоагитационная и к тому же уснащённая рискованной полемикой на литературные темы. Никак Маяковский не может вырваться из узкого круга своего «я» или «литературщины»*».

Да, Маяковский в поэме грозно обрушивался на своих критиков:

«Чьё перо? – / Гусиные обноски!
Только зря / бумагу рвут.
Сто статей / пишет / обо мне / Сосновский,
каждый день / меняя / «Ундервуд»».

Журнал «Октябрь»:

«*Большая поэма Маяковского «Рабочим Курска» особого интереса не представляет*».

В самом деле, какой интерес могло вызвать, например, такое витиеватое описание происхождения железных руд под Курском:

> «*…от времён, / когда / пробабки носорожьи,*
> *ящерьи прапрадеды / и крокодильи,*
> *ни на что воображаемое не похожие,*
> *льдами-броненосцами катили, –*
> *от времён, / которые / слоили папоротник,*
> *углём / каменным / застыв,*
> *о которых / рапорта / не дал / и первый таборник, –*
> *залегли / железные пласты*».

Своё мнение о поэме высказала и выходившая в Берлине газета «Накануне»:

«*«Рабочим Курска» – хороший образец плохой политической поэзии*».

Вот ещё один пример витиеватости:

> «*Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,*
> *раздинамливая / электрический раскат,*
> *маяки / просверливающей зоркости*
> *в девяти морях / слепят / глаза эскадр.*
> *И при каждой топке, / каждом кране,*
> *наступивши / молниям на хвост,*
> *выверенные куряне*
> *направляли / весь / с цепей сорвавшийся хаос*».

На резко негативную критику этих и других, подобных им стихотворных строк, поэт ответил в следующей своей поэме – «Владимир Ильич Ленин»:

> «*Знаю, / лирик / скривится горько,*
> *критик / ринется / хлыстиком выстегать:*
> *– А где ж душа? / Да это ж – / риторика!*
> *Поэзия где ж? / Одна публицистика!!..*
> *Я буду писать / и про то / и про это,*
> *но нынче / не время / любовных ляс.*
> *Я / всю свою / звонкую силу поэта*
> *тебе отдаю, / атакующий класс*».

Такие слова, да ещё артистично произнесённые Маяковским, неизменно встречались оглушительными аплодисментами всех залов, в которых выступал поэт.

В середине января 1924 года из Германии в Москву вернулась Лариса Рейснер. Встретившись с приехавшим из Афганистана Фёдором Раскольниковым, она подарила ему свою книгу «Фронт», о которой тот написал ей в письме:

«*Огромное тебе спасибо за твою книжку – эту прекрасную поэму о нашей любви под выстрелами*».

Украинские гастроли

11 января 1924 года киевская газета «Пролетарская правда» оповестила читателей, что на следующий день в Пролетарском доме искусств выступит Владимир Маяковский. Программа вечера предлагалась такая:

«*1. Доклад о Лефе, белом Париже, сером Берлине, красной Москве. 2. Маяковский смеётся, Маяковский улыбается, Маяковский издевается. 3. Поэмы. 4. Стихи*».

Юная киевлянка Наташа Симоненко, ставшая через полтора десятка лет Натальей Фёдоровной Рябовой, вспоминала о том, как сложился у неё тот день – 12 января:

«*Было морозно и очень солнечно.*

На Крещатике, когда шли брать билеты на лекцию Маяковского, нас обогнал человек в чёрной барашковой кубанке и новых галошах. Эти новые галоши мы сразу заметили, и они привели нас в очень весёлое настроение. И вообще мы были весёлые: мне и моей подруге едва исполнилось 16 лет.

– Смотри – Маяковский! – сказала я подруге…

Назвала я этого человека в новых галошах Маяковским просто для того, чтобы ещё над чем-нибудь посмеяться.

Человека в новых галошах мы увидели опять, когда входили в Пролетарский дом искусств (бывшее Купеческое собрание). Теперь он шёл нам навстречу, смотрел на нас и улыбался.

Выйдя из здания, увидели опять человека в новых галошах, поднимающимся на Владимирскую Горку. Галоши весело поблёскивали на солнце».

В написанном чуть позднее стихотворении «Киев» Маяковский тоже описал своё посещение Владимирской Горки:

«*…я / вчера / приехал в Киев.*
Вот стою / на горке / на Владимирской.
Ширь вовсю – / не вымчать и перу!
Так / когда-то, / рассиявшись в выморозки,

Киевскую / Русь / оглядывал Перун.
А потом – / когда / и кто, / не помню толком,
только знаю, / что сюда вот / по льду,
да и по воде, / в порогах, / волоком –
шли / с дарами / к Диру и Аскольду.
Дальше / било солнце / куполам в литавры.
– На колени, Русь! / Согнись и стой! –
До сегодня / нас / Владимир гонит в лавры.
Плеть креста / сжимает / каменный святой».

Перейдя на сегодняшний день, поэт помянул и вождя страны Советов:

«*А теперь / встают / с Подола / дымы,*
киевская грудь, / гудит, / котлами грета.
Не святой уже – / другой, / земной Владимир
крестит нас / железом и огнём декретов».

Прямо скажем, не очень добрым выглядит «*земной*» Ленин в этом описании.

Вечером состоялась встреча киевлян с приехавшим поэтом. Киевская газета «Бiльшовик», давая отчёт о ней, в частности, сообщила:

«*В субботу, 12 января, в Пролетарском доме искусств состоялось первое выступление представителя Лефа РСФСР тов. Маяковского. Выступление проходило при переполненном зале. Среди слушателей преобладала рабфаковская молодёжь, которая шумно встретила тов. Маяковского*».

Наташа Симоненко-Рябова (которая ещё не поняла, что вышедший на сцену поэт и есть тот самый «*человек в новых галошах*»):

«*Публика в основном – интеллигентская молодёжь, киевские поэты, театральные работники из молодых.*

Маяковский начал с лекции. Сразу овладел аудиторией. Все ловили каждое слово, как зачарованные».

Газета «Бiльшовик» написала и о том, чтi, по мнению Маяковского, представляет собою Леф:

«*«Левый фронт» объединяет в себе революционных мастеров разного профиля – литераторов, художников, режиссёров. Московским государственным издательством издаётся журнал «Леф». Лефовцы расширяют своё влияние на все ответвления культурной работы и производства. Агитационно-пропагандистская деятельность советской власти проводится*

большей частью в плане рабочего процесса Лефа (плакаты, агитлистки и т. д.)…

Театральная работа Мейерхольда и других режиссёров проходит при ближайшем сотрудничестве литераторов Лефа… Лефовцы ставят пьесы, лефовцы производят продукцию массового потребления».

Наташа Симоненко-Рябова:

«*Во втором отделении читал стихи. Начал с того, что снял пиджак. В зале пронёсся шум удивления.*

Стихи принимались восторженным рёвом и бурей аплодисментов. Можно сказать смело, что зал Пролетарского дома искусств никогда не видел такой восхищённой и не сдерживающей своего восторга аудитории. Особенно бурно радовалась, конечно, молодёжь».

Среди стихотворений, прочитанных в тот вечер Маяковским, Наташа Симоненко назвала и «Мы не верим!», в котором говорилось о бюллетенях, время от времени печатавшихся в газетах и сообщавших о состоянии здоровья Владимира Ильича Ленина:

«*Разве жар / такой / термометрами меряется?!*
Разве пульс / такой / секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать / у революции в груди…
Не хотим, / не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних / сгинь, навязчивая тень!»

Почему стихотворение, написанное весной 1923 года, поэт стал читать в январе 1924-го, когда правительственные бюллетени в газетах давно уже не появлялись, сказать трудно. Взял и прочёл. Видимо, посчитал, что так надо.

По окончании вечера Маяковский спустился в начинавший уже пустеть зал. Наташе Симоненко и её подруге захотелось посмотреть на очаровавшего всех поэта с близкого расстояния.

«*– Пройдём мимо ещё раз! – сказала подруга.*

Обнявшись, пошли быстро, стараясь не показать, что идём глядеть на него. Препятствие – стоит, разговаривает с молодым режиссёром Глебом Затворницким. Затворницкого боялись, так как он ходил в наших поклонниках. Шли ещё быстрее, чем раньше. Маяковский сделал большой шаг в сторону и преградил нам путь.

– Шли к нему, а меня испугались?

Я ответила дрожащим шёпотом:

– Нет, его испугались, шли к вам!

– Правильно!.. А надо бы было поздороваться: мы ведь с вами

знакомы!

Я:

– Нет, откуда же?

– А днём, когда за билетами ходили, только тогда у вас чулки были коричневые, а теперь чёрные.

Только теперь я поняла, КОГО мы видели на улице. Ответила глупо:

– А у вас галоши новые, мы видели!

В дальнейшие свои приезды в Киев Владимир Владимирович всегда сообщал мне, что купил новые галоша и как будто даже один раз стоял за ними в очереди. Позднее я узнала, что Маяковский вообще никогда не носил галош. Но в этот приезд по каким-то причинам был в галошах».

Вояж продолжается

13 января Маяковский выступил в Киеве во второй раз – для рабочих корреспондентов. Газета «Пролетарская правда» написала:

«*Задачей сегодняшнего дня т. Маяковский считает – не подражать старым литературным формам, а писать понятными жизненными словами…*

После короткого доклада Маяковский приступил к чтению своих стихов. Его прерывали бурей аплодисментов…

Предложение зачислить Маяковского почётным рабкором «Пролетарской правды» было встречено градом аплодисментов. Видимо, и он тоже остался доволен. Благодарил и обещал писать».

14 января Маяковский был уже в Харькове, где сделал доклад в Оперном театре. Присутствовавший на том выступлении Юрий Корецкий потом рассказал:

«*В первых рядах, кроме контрамарочников, люди преимущественно денежные, расфранчённые и слишком уж «интеллектуальные». На галёрке – гимнастёрки красноармейцев и косоворотки студентов. Маяковский поставил ногу на суфлёрскую будку, стремительным жестом протянул руки в сторону галёрки и крикнул:*

– Товарищи! – потом небрежно опустил руки и вяло бросил в первые ряды партера, – …и граждане! Я сегодня решил совсем не читать. Дело в том, что я походил по фойе и увидел, что сюда забрались самые тарзанщики (был тогда популярный авантюрный романчик «Тарзан»). Но в последнюю минуту мне сказали, что сюда пришли триста курсантов школы красных командиров. И вот для вас, товарищи, – он снова поднял руки к галёрке, – я буду сегодня читать стихи…»

Книга американского писателя Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приёмыш обезьян» впервые была напечатана в России в 1912 году (в журнале), а в 1914-ом вышла отдельным изданием.

Харьковская газета «Коммунист» (17 января):

«*Пожалуй, самое интересное на вечере было заявление Маяковского, что он больше стихов писать не будет, а переходит на прозу, причём хочет затмить «Тарзана»*».

На следующий день Маяковский отправил Лили Брик письмо:

«*…вчера приехал в Харьков, а через полчаса еду в Киев обратно…*

В Ростов, очевидно, съездить не удастся – все помещения заняты съездами Советов. В Харькове было полно, но с лёгкой проредью в ложах, а зато в Киеве стояло такое вавилонское столпотворение, что были даже два раненых».

Маяковский не мог не обратить внимания на то, что в городах проходили съезды Советов – они тогда проводились везде. Но никому, конечно же, и в голову не приходило, что кремлёвская «тройка» энергично готовит страну к смене власти.

Борис Бажанов:

«*14–15 января 1924 года на пленуме ЦК подводятся итоги партийной дискуссии – тройка с удовлетворением констатирует, что оппозиция разбита. Можно сделать следующий шаг в борьбе с Троцким. Но эти шаги делаются постепенно и осторожно. Отдельные члены ЦК делают заявления в ЦК, что в Красной армии неблагополучно. Пленум создаёт «военную комиссию ЦК» «для обследования положения в Красной Армии»*».

А самого Троцкого в этот момент отправляют на «*лечение*» в Сухум.

С этим готовившемся «поворотом» (или «переворотом») было созвучно всё, с чем столкнулся поэт, когда в третий раз выступил в Киеве. Театр, в котором проводилось это мероприятие, носил имя Ленина, а доклад, который делал Маяковский, назывался «Долой искусство, да здравствует жизнь!». Газета «Бiльшовик» выделила такие фразы, произнесённые поэтом:

«*Что касается задач сегодняшних работников над словом (организаторов языка), то нужно пересматривать запасы старого словесного материала и создавать из них новую речь, организующую сегодняшний день…*

Слово, как и общественная структура, как быт, как одежда, как воздух – требует «проветривания», «чистки», «мытья». Искусство должно тесно сомкнуться с жизнью (как интенсивная функция последней). Либо слиться с ней, либо погибнуть».

Складывается впечатление, что Маяковский как будто предчувствовал, что новая власть, пришествие которой было не за

горами, очень скоро начнёт «*проветривать*», «*чистить*» и «*мыть*» как само искусство, так и тех, кто работает в нём над словом.

А Наташе Симоненко запомнилось, что Маяковский совершенно неожиданно обрушился на поэта второй половины XIX века Семёна Надсона:

«*Помню плохо освещённый, невероятно набитый народом Драматический театр. Помню, что в этот вечер Владимир Владимирович был очень зол и нервен. Громил Надсона.*

– Пусть молодёжь лучше в карты играет, чем читать этих поэтов!

Доказывал необходимость агитационного стиха.

– Каждая папиросная коробка имеет шесть сторон, на которых можно и нужно печатать стихи!

Читал свои рекламы для Резинотреста»

Газета «Пролетарская правда»:

«*…к нам, как на биржу труда, потянулись безработные поэты и художники с требованием работы. За это – спасибо Вам, товарищ Маяковский*!»

А в это время в Сорренто, где проживал А. М. Горький, приехала художница Валентина Ходасевич. Она, по словам писательницы Нины Берберовой, принялась писать портрет Горького…

«*…и учит нас танцевать чарльстон, которому научил её недавно Маяковский*».

В самом конце второй декады января Владимир Владимирович вернулся в Москву.

Кафе «Домино»

Поздней ночью 19 января 1924 года в советской столице произошёл инцидент, участниками которого были поэты Сергей Есенин и Алексей Ганин. Видимо, где-то на вечеринке Ганин пересказал Есенину содержание своих тезисов, в которых говорилось о том, что в России все мало-мальски значимые места захватили лица иудейской национальности. И предложил Сергею зайти в кафе поэтов, чтобы наглядно убедиться в том, что там – сплошь иудеи: от швейцара до конферансье.

Один из очевидцев случившегося дал потом в милиции такие показания:

«*Я сидел в клубе поэтов и ужинал. Вдруг влетели туда Сергей Есенин и Ганин. Не говоря ни слова, Есенин и Ганин начали бить швейцара и, продолжая толкать и бить присутствующих, добрались до сцены, где начали бить конферансье. Пришедший милиционер просил всех разойтись, но Есенин начал бить по лицу*

милиционера, последний при помощи дворника усадил его на извозчика и отправил в отделение. В продолжение всей дороги Есенин кричал: «жиды предают Россию» и т. д.»

Дворник тоже оставил показания, написав, что Есенин…

«*…разорвал мне тулуп и бил по лицу, кричал «бей жидов» и всё в этом духе*».

Через два дня газета «Рабочая Москва» опубликовала статью «Новые подвиги поэта Есенина». В ней, в частности, говорилось:

«*Во 2-ом часу ночи, 19 января, в кафе «Домино», на Тверской улице, зашёл прославившийся своими пьяными выходками поэт Есенин. Есенин был сильно пьян.*

Швейцар пытался не пустить пьяного в кафе, Есенин набросился на швейцара и силой ворвался в помещение.

– Бей конферансье! – закричал скандальный поэт.

Завязался скандал. Швейцар вызвал милицию.

Явился постовой милиционер Громов и предложил Есенину:

– Пожалуйте в 46 отделение…

Но справиться одному милиционеру с буйным Есениным было не под силу. Пришлось звать дворника.

По дороге Есенин совсем вошёл в азарт. Дворник и милиционер, не согласившиеся с его лозунгом – «Бей жидов, спасай Россию», были избиты. При этом поэт совершенно не стеснялся в выражениях, обзывая своих спутников «жандармами, старой полицией, сволочью» и т. п. Попутно обругал Демьяна Бедного и Сосновского.

В отделении Есенин продолжал буйствовать, кричать и ругаться.

Пришлось вызвать врача, определившего у Есенина сильную степень опьянения и нервного возбуждения.

Наутро, вытрезвевшись, Есенин был отпущен под подписку. Это уже третья по счёту подписка».

Та «*подписка*» сохранилась. Вот она:

«*Обязуюсь за пределы Москвы не выезжать. С. Есенин*».

В постановлении о предании поэта суду говорилось:

«*…гр-н Есенин, явившись в кафе «Домино», начал придираться без повода к посетителям и кричал: «бей жидов»*»».

Обратим внимание на довольно любопытное обстоятельство: в кафе ворвались два поэта, оба были нетрезвы, оба дебоширили, а к суду привлекли только одного.

В тот же день (19 января) в Москву вернулся Маяковский. Видимо, сразу же он занёс в записную книжку четверостишие о реке Тереке, которое впоследствии было вставлено в стихотворение «Тамара и Демон»:

«*Чего же хорошего? / Полный развал!*
Шумит, / как Есенин в участке.
Как будто бы / Терек / сорганизовал,
проездом в Боржом, / Луначарский».

Вечером 19 января Маяковский посетил театр Мейерхольда, где состоялась премьера спектакля «Лес» по пьесе А. Островского. В этот день Зинаида Райх, бывшая жена Есенина, ставшая супругой Мейерхольда, впервые вышла на сцену в качестве актрисы.

А через несколько дней в стране окончательно утвердилась новая власть, и началась новая эпоха.

Часть вторая. Расправа с бунтарями

Глава первая. Новая власть

Смерть вождя

В те дни страна готовилась отметить очередную годовщину «*кровавого воскресенья*» – 9 января 1905 года (по старому стилю) в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Но 21 января 1924 года (по новому стилю) произошло событие, затмившее все остальные – скончался Владимир Ильич Ленин.

22 января «Известия ЦИК» опубликовали стихотворение Маяковского «9 января», посвящённое девятнадцатилетию трагических событий. Но когда читаешь его в наши дни, складывается ощущение, что поэт писал и о тех битвах, что ожидают страну в недалёком будущем:

«*О боге болтая, / о смирении говоря,*
помни день – / 9-е января…
Рабочие, / помните русский урок!
Затвор осмотрите, / штык / и курок.
В споре с врагом – / одно решенье:
Да здравствуют битвы! / Долой прощения!»

22 января Маяковский присутствовал на заседании Всероссийского съезда Советов, на котором Михаил Иванович Калинин сообщил о смерти вождя. Потом в поэме о Ленине появятся строки:

«*Захлебнулся / колокольчика ненужный щёлк.*
Превозмог себя / и встал Калинин.
Слёзы не сжуёшь / с усов и щёк.
Выдали. / Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались, / голову мнут.
Кровь в виски, / клокочет в вене:
– Вчера / в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!»

Вечером поэт был в театре Зимина, где перед студентами выступал нарком Луначарский. Анатолий Васильевич впоследствии написал:

«*Говорить о Владимире Ильиче было трудно, как всегда в момент слишком больших потрясений. То, что я говорил, кажется,*

невольно вылилось в речь достаточного воодушевления, так что В. В. Маяковский, с которым я встретился сейчас же по окончании моего выступления, крепко пожав мне руку, сказал мне: «Хорошо говорили!»».

Генрих Ягода в очередной сводке для Кремля о январе 1924 года написал:

«*Смерть т. Ленина вызвала резкий сдвиг в настроении рабочих, которые характеризуются как инстинктивное чувство единства*».

Сталин подчеркнул эту фразу чёрными чернилами. Поскольку положение в деревне его не очень интересовало, остались неподчеркнутыми фразы, в которых говорилось про…

«*…ухудшение экономического положения крестьянства, крайне тяжёлое положение бедноты и отчасти середнячества*».

В Колонный зал Дома Союзов (проститься с усопшим вождём) Брики и Маяковский отправились вместе.

Лев Никулин (Олькеницкий):

«*Ничем не приметный дом в Охотном ряду, близ гостиницы «Москва», которой тогда не было в помине. В этом доме была редакция «Рабочей газеты». В лютые морозные ночи, когда Москва прощалась с Лениным, когда к Дому Союзов медленно двигался неисчерпаемый людской поток, и облака пара от дыхания клубились над головами людей, в комнату редакции вошёл застывший от холода Маяковский.*

Он снял перчатки, подул на руки и глядел сквозь замёрзшее оконное стекло; это длилось недолго, несколько минут. Вот он уходит, снова пересекает улицу и опять – в который раз! – идёт в самый конец очереди, где-то за Страстным монастырём, чтобы ещё раз вместе с народом, в тесных рядах, плечом к плечу с рабочим людом Москвы и России пройти через Колонный зал перед гробом Ленина.

Таким запомнился Маяковский в траурные январские ночи 1924 года, его лицо, застывшее от холода, и глаза, скорбно глядящие в темноту ночи».

Других свидетельств о том, что Маяковский многократно выстаивал в очередях, чтобы проститься с вождём, нет. Так как эти воспоминания появились в печати уже тогда, когда Маяковский был признан «*лучшим поэтом советской эпохи*», не трудно предположить, что Лев Никулин просто написал то, что тогда нужно было писать.

Илья Шнейдер – о том, как отреагировал на кончину вождя другой поэт:

«*Мне рассказывали, что видели его в Колонном зале: Есенин простоял долгие часы около гроба Ленина…*»

Где был Есенин 27 января (во время похорон Ленина),

свидетельств не сохранилось. Маяковский тот день провёл на Красной площади.

А Лариса Рейснер опубликовала в «Известиях» очерк под названием «Завтра надо жить, а сегодня – горе».

Донос в ГПУ

А жизнь продолжалась. Вот как Матвей Ройзман описал Москву той поры:

«*Зимой 1924 года я шагал вверх по вздувшейся снежными сугробами Тверской. Бойкие бабёнки в шерстяных платках и дамочки в облезлых меховых куртках и шапках торговали горячими пирожками с урюком, конфетами, сделанными из кофейной гущи и сахарина, вездесущей пшённой сваренной на воде кашей – увы! – с маргарином.*

Работали частные магазинчики – парфюмерные, галантерейные, и юркие представители нэпа – эти калифы на час!

– выглядывали из дверей, не идёт ли с портфелем грозный фининспектор… В окнах магазинов, кафе, на афишных тумбах, как и в газетах, Яков Рацер в самодельных стихах расхваливал свой уголёк, Функ – волшебную пасту для обуви, а Глик – химические снадобья против тараканов, клопов и мышей. Повсюду висел красный картонный круг ГУМа с зазывным объявлением: «Всё для всех!»»

Борис Бажанов рассказал о том, что происходило тогда за кремлёвскими стенами:

«*Новый пленум ЦК 3 февраля обсуждает вопрос о созыве очередного съезда, но, главное, заслушивает доклад «военной комиссии ЦК» и после резкой критики, направленной внешне против военного наркомата, а по существу против Троцкого, постановляет «признать, что в настоящем своём виде Красная Армия небоеспособна», и что необходимо провести военную реформу*».

Корнелий Зелинский высказался тоже, написав статью «Советский Парнас»:

«*В тяжёлые годы у нас не было хлеба, но была поэзия. Останавливались поезда, но поэты ухитрялись печатать свои книжки на серой обёрточной бумаге, в которую заворачивали бутылки*».

5 февраля поэты-конструктивисты собрались на совещание. Их было всего трое: Корнелий Зелинский, Вера Инбер и Илья Сельвинский. Принятое ими решение было записано в духе времени:

«*Слушали: Об издании двухнедельной литературной газеты.*

Постановили: Считать необходимым издавать двухнедельную газету как орган группы конструктивистов».

Одним из первых поэтов, кого конструктивисты пригласили к сотрудничеству, был Илья Эренбург. Ему сообщили об этом, и он 6 февраля ответил:

«*Согласен принять участие в литературной газете в случае, если она не будет являться органом «конструктивистов»… И. Эренбург*».

Своя газета конструктивистам была нужна ещё и потому, что они в ту пору активно заявляли о себе не только стихами, но и газетными статьями. Так, Корнелий Зелинский принял участие в бурной дискуссии о том, где и как похоронить скончавшегося вождя, и опубликовал 9 февраля статью «Ленин и его гробница (ответ Л. Красину)». В ней, в частности, говорилось:

«*Тов. Красин в своей статье «Архитектурное увековечивание Ленина» («Известия»)… предлагает уйти с гробницей с поверхности Красной площади под землю. Там, под землёй, развернуть залы и переходы и соединить их с могилой Свердлова и братскими могилами…*

Я не могу согласиться с предложением Л. Красина».

И Зелинский рассказал, как ему видится гробница вождя:

«*Вышка Ильича. Широкий движущийся тротуар. Дворец труда.*

Естественно, что для этой цели придётся исторический музей и храм Василия Блаженного разобрать и перенести куда-нибудь в сторонку от большой дороги мира.

Вышка Ильича будет маленьким центром мира, радиофокусом вселенной, маяком всех матросов, которые, оставив старые берега, будут выплывать в неизведанное и трудное море».

Многим тогда казалось, что советской державе по силам любое дело, затеянное большевиками. И уж тем более строительство памятника вождю. Тот же Зелинский не раз потом вспоминал:

«*Когда Луначарский был совершенно потрясён тем, что пушки Октября задели купол Василия Блаженного, Ленин сказал:*

– Победив, мы Вам построим десять таких Василиев Блаженных».

А Матвей Ройзман в феврале 1924 года получил повестку из ГПУ, в которой ему предлагалось явиться туда «*через два дня к такому-то часу*». Он показал повестку Есенину, и тот повёл его в дом в Большом Гнездиковском переулке:

«*Там было немало народу. Есенин взял меня за руку, подвёл к очень яркой красивой женщине Анне Абрамовне Берзинь… Она пригласила меня в соседнюю комнату, прочла повестку, потом приоткрыла дверь и назвала кого-то по имени-отчеству. Вошёл*

солидный мужчина в плотно облегавшем его фигуру сером костюме, под которым чувствовалась выправка военного».

Мужчина (явный чекист) порекомендовал пойти в ГПУ обязательно.

Ройзман пошёл. А там следователь…

«*…выдвинул ящик стола, вынул из него папку, а из неё – вчетверо сложенный лист. Развернув его, положил передо мной. Я прочёл первый в жизни донос на меня. Он был подписан Птичкой-Силиным. В нём говорилось о том, что такого-то числа и месяца поздно вечером в «Стойло» зашёл представитель Мосфинотдела, а я угощал его вином и закуской*».

Анатолий Дмитриевич Силин (по прозвищу Птичка) заведовал в кафе имажинистов финансовыми делами. В поступке Ройзмана не было ничего противозаконного, и ему ничего не стоило оправдаться:

«*Я объяснил, что, во-первых, за столиком сидели Есенин, Шершеневич и Грузинов. Мы действительно пили красное вино и закусывали сыром. Мы пригласили представителя Мосфинотдела за столик и угощали его из чувства гостеприимства, нам же абсолютно ничего не нужно от Мосфинотдела: вопрос о снижении налога «Ассоциации» решал не Мосфинотдел, а Моссовет*».

Вернувшись из ГПУ в кафе «Стойло Пегаса», Ройзман застал там Сергея Есенина с Вадимом Шершеневичем и рассказал им о доносе Силина-Птички.

«*Глаза Сергея заполыхали синим огнём.*

– Ты ничего не говори Птичке. Мы сами с ним потолкуем!

О том, как Есенин разыграл Силина, я узнал от Вадима. Сергей привёл полностью содержание доноса на меня. Когда побледневший Силин спросил, откуда всё это известно Есенину, он ответил, что это большой секрет. Сев на своего конька, Сергей настолько застращал Силина, что тот стал просить Есенина заступиться за него передо мной».

История эта необыкновенная. И возникает вопрос: почему Ройзман, сам служивший в ГПУ, получив повестку, обратился за помощью к Есенину? Это могло произойти только в том случае, если Матвей считал есенинские связи намного солиднее своих собственных.

В самом деле, знакомства у Есенина были внушительные. Например, именно тогда он познакомился с Петром Ивановичем Болдовкиным, носвшим псевдоним Чагин. Об этом – Илья Шнейдер:

«*П. И. Чагин познакомился с Есениным в феврале 1924 года в квартире народного артиста В. И. Качалова. В то время он был вторым секретарём ЦК Азербайджана и редактором газеты*

«Бакинский рабочий», на страницах которой впервые были опубликованы многие стихи Есенина».

Напомним, что пост первого секретаря ЦК Азербайджана занимал тогда Сергей Миронович Киров (Костриков). А Василий Иванович Качалов (Шверубович) был в ту пору просто артистом Московского Художественного театра (звание заслуженного артиста Республики ему присвоили 16 сентября 1924 года).

А теперь пришло время рассказать о том, что у секретаря политбюро Бориса Бажанова не сложились отношения с Генрихом Ягодой, занимавшим видную должность в ОГПУ. Ягода написал и послал лично Сталину некий документ, в котором заявлял, что Бажанов – «*скрытый контрреволюционер*». Генсек с этим доносом ознакомился и показал его Бажанову, а тот написал в воспоминаниях:

«– Что вы по этому поводу думаете? – спросил Сталин.

– Товарищ Сталин, – ответил я с лёгким оттенком укоризны, – вы ведь знаете Ягоду – ведь это же сволочь.

– А всё-таки, – сказал Сталин, – почему же он это пишет?

– Я думаю, по двум причинам: с одной стороны, хочет заронить какие-то подозрения насчёт меня; с другой стороны, …хочет заранее скомпрометировать всё, что я о нём могу сказать вам или членам Политбюро.

Сталин нашёл это объяснение вполне правдоподобным…

На этой базе и установились мои взаимоотношения с ГПУ; время от времени Ягода извещал Сталина об их уверенности на мой счёт, а Сталин равнодушно передавал эти цидульки мне».

Борьба с «*гиммельфарбами*»

В начале весны 1924 года Лев Троцкий всё ещё находился на лечении в Сухуме. В борьбе с ним «тройка» (Зиновьев, Каменев, Сталин) сделала ещё один шаг.

Борис Бажанов:

«*…в начале марта новый пленум наносит новый удар по Троцкому: заместитель Троцкого Склянский (которого Сталин ненавидит) снят; утверждён новый состав Реввоенсовета; Троцкий ещё оставлен председателем, но его заместителем назначен Фрунзе…*»

Лефовцы тоже решили атаковать своих недругов – 13 февраля в Большом зале Московской консерватории состоялся вечер «Леф вызывает своих критиков». Своими главными недоброжелателями соратники Маяковского считали литературоведов Бориса Вениаминовича Гиммельфарба и Петра Семёновича Когана, а также писателя и журналиста Николая Григорьевича Шебуева.

Первый ещё в декабре 1923 года опубликовал в «Известиях» статью «Литература и революция», в которой подверг Леф и лефовцев жесточайшей критике. Коган и Шебуев тоже высказывались о Левом фронте искусств весьма неодобрительно.

Обиженные лефовцы решили достойно ответить.

Готовясь к этому вечеру, Маяковский написал черновые тезисы, в которых говорилось, что критики не желают признавать Леф, в то время как в пяти московских театрах идут пьесы лефовцев (в театрах Москвы в 1923–1924 годах, в самом деле, шли пьесы Маяковского, Третьякова, Каменского, Хлебникова и других лефовцев). Леф признала «*даже заграница*», печатавшая произведения Кручёных и Маяковского. И поэт делал вывод:

«*Но Лефу этого мало. Леф в отчаянии. Нас не принял Гиммельфарб.*

Кто он?

Мелочь, но из-за Гиммельфарба глядят тысячи Гиммельфарбиков».

Желая ударить по своим критикам побольнее, Маяковский назвал свой доклад «Анализ бесконечно малых».

Наступило 13 февраля. На следующий день «Вечерняя Москва» написала:

«*Началось с осады Большого зала Консерватории. Публика – больше всё молодёжь – с решительным видом, с зычными криками рвались в будку администратора, на лестницы, и, казалось, что вся эта масса повела правильную осаду на лефов, но оказалось, что публика пришла с самыми мирными и дружелюбными намерениями, пришла послушать и – в случае нужды – горой постоять за своих поэтов*».

Газета «Известия»:

«*Вл. Маяковский в своём «Анализе бесконечно малых», имея в виду критиков Лефа, указал, что критики эти, по его мнению, просмотрели в Лефе главное и возвращаются к приёмам критики 1912–1913 годов, когда о футуристах писали как о скандалистах и т. п.*».

«Вечерняя Москва»:

«*– Лефов печатают, с лефами считаются. Но вот Гиммельфарб нас не признаёт, – заявляет Маяковский. – Гиммельфарб не персонально, а Гиммельфарб как имя собирательное. Это – критик типа Шебуева, Когана и других.*

Вызванные на дискуссию «старики», как и следовало ожидать, – не явились. Не явились ни Брюсов, ни Коган, ни Эренбург. Зато явилась молодёжь! Поэт-биокосмист Ярославский, поэт Гербстман и рабочий завода «Динамо» Гаврилов яростно нападали на Леф и на лефов… Ответы критикам были не менее горячими. В общем,

прения были чрезвычайно пламенными и шумными».

Был ли на том мероприятии в консерватории Сергей Есенин, неизвестно. Но из хроники его жизни известно, что вечером 13 февраля, когда он возвращался домой, ветер сорвал с него шляпу. Поэт остановил извозчика и отправился искать свой головной убор, но поскользнулся, упал и сильно порезал руку осколками валявшегося на мостовой стекла (сохранились и другие описания этого инцидента). Карета «Скорой помощи» доставила Есенина в Шереметьевскую больницу (ныне больница имени Склифосовского).

«Чёрный человек»

Весной 1924 года все советские издательства (явно по указанию ОГПУ) по-прежнему признавать Есенина не желали.

Эдуард Хлысталов:

«*…его и не печатали. А жить на что-то было нужно. Ему приходилось идти на самые разные ухищрения, чтобы выпустить книжку стихов. К примеру, по просьбе Есенина, рабочие типографии ставили другой город издания. Это не позволяло властям проверить, где книга напечатана, и «принять меры» к тем издателям, что избегают цензуры*».

ОГПУ продолжало давить на поэта – 20 февраля в Шереметьевской больнице появился милиционер с судебным предписанием, в котором говорилось, что, так как Есенин систематически «*уклоняется от суда и продолжает в дальнейшем хулиганить*», его необходимо взять под стражу.

Узнавшая об этом Галина Бениславская тут же позвонила Анне Берзинь и попросила помочь. Та в тот же день приехала в больницу. Вместе с Матвеем Ройзманом, который потом написал:

«*Сергей стал подробно расспрашивать нас об интересующих его делах. В то время он мучился, не имея отдельной комнаты, и вопрос о жилище был для него самым насущным. Берзина сказала, что у него будет комната. Это успокоило его, и он стал говорить о работе над «Страной негодяев»…*

Есенин попросил позвать к себе беспризорного мальчика, который повредил себе ногу и передвигался на костылях. Он оказался приятелем Сергея, о чём можно было судить по их доверительному отношению друг к другу. По просьбе Есенина мальчик пел одну песню за другой…

Берзина спросила Сергея, работал ли он над стихами. Он ответил утвердительно, подвинулся повыше на подушки и стал читать небольшое стихотворение «Попирословки»».

Этот стих начинается так:

«Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

Грязных улиц странники
В забавах злой игры.
Все они – карманники,
Весёлые воры».

Матвей Ройзман:

«Беспризорный мальчик был потрясён. Ведь это песня о его несчастной доле. Чем больше он слушал, тем сильней всхлипывал.

– Ну, чего ты, Мишка? – спросил Есенин ласково, закончив чтение. – Три к носу, всё пройдёт.

– Сергей Александрович, – попросила Берзина, – прочтите ещё что-нибудь!

Есенин подумал и объявил, что прочтёт «Чёрного человека»…

Сергей сел на кровати, положил правую забинтованную по локоть руку поверх одеяла, во время чтения «Чёрного человека» поднял её левой, обхватил…

Последние строчки Сергей прочитал почти шёпотом.

Всё – поза Есенина, его покачивание, баюканье забинтованной руки, проступающее на повязке в одном месте пятнышко крови, какое-то нечеловеческое чтение поэмы произвело душераздирающее впечатление. Беспризорный мальчик по-детски плакал, плакала, прижимая платок к глазам, Берзина. Я не мог унять слёз, они текли по щекам. Сергей, просветлённый, казалось, выросший на наших глазах, господствующий над нами, смотрел поголубевшими глазами».

«Чёрный человек» начинается так:

«Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит / Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь, / Осыпает мозги алкоголь».

9 марта пребывание Есенина в Шереметьевской больнице завершилось. Чтобы выписавшегося поэта не арестовала милиция, его друзья организовали перевод Сергея в Кремлёвскую клинику. Туда он и прибыл 10 марта.

Матвей Ройзман:

«Он вышел оттуда нескоро, позвонил мне по телефону и

попросил зайти в дом № 29 по Тверской улице. Я думал, что Сергей получил новую комнату и хочет показать её мне. Я вошёл в ворота дома № 29, …поднялся на третий этаж, позвонил в указанный мне номер квартиры. Большая комната с высоким потолком, обжитая: хороший письменный стол, кресла, картины, ковёр. В то время шли аресты спекулянтов, валютчиков, взяточников, распустивших крылья с начала нэпа…

К моему сожалению, я в тот день не успел спросить, получил ли Есенин эту комнату по ордеру, или она принадлежит какому-нибудь знакомому, который временно отдал её Сергею».

Ройзман навестил Есенина в доме на Тверской 21 марта. Сейчас уже известно, что после Кремлёвской больницы Есенина временно поселили на квартире литературного критика и публициста Иллариона Виссарионовича Вардина (Мгеладзе). Своей жилплощади поэт так и не получил. Зато известный московский психиатр Пётр Ганнушкин снабдил Есенина справкой о его болезненном состоянии, дававшей ему право не являться на заседания суда.

Но ОГПУ продолжало следить за поэтом. И 6 апреля 1924 года его вновь «накрыли», когда вместе с писателем Всеволодом Ивановым он заглянул в Малый театр. Там шёл спектакль «Недоросль». Гости направились в артистическую комнату актрисы Ольги Сергеевны Щербиновской, попросили у уборщицы стаканы и принялись пить принесённое с собой вино. Тут же была вызвана милиция, и нарушителей доставили в 26 отделение милиции. Там Есенин написал:

«*Виновным в появлении в нетрезвом виде в общественном месте себя признаю, в скандале нет*».

С этого момента поэт как пишут некоторые его биографы, «*перешёл на нелегальное положение*» и стал прятаться от гепеушников, уезжая в другие города.

А друг Есенина, Алексей Ганин, по-прежнему не принадлежавший ни к какому литературному объединению и продолжавший называть себя «*романтиком XX века*», выпустил сборник избранных стихов и поэм «Былинное поле» (деньги на издание дала Айседора Дункан). В сборнике были такие строки:

«*Гонимый совестью незримой*
За чью-то скорбь и тайный грех,
К тебе пришёл я, край родимый,
Чтоб полюбить, прощая всех».

Очередные вояжи

На следующий день после выступления на диспуте «Леф вызывает своих критиков» Владимир Маяковский поехал в новую лекционную поездку. На этот раз ему предстояло посетить Гомель, Винницу, Одессу и Киев.

Лили Брик тоже покинула Москву, но она отправилась за рубеж.

Зачем?

Аркадий Ваксберг пишет:

«*Очередная поездка за границу была задумана сразу же по возвращении из Германии*».

Необходимость этой поездки Бенгт Янгфельдт обосновал так (возможно, он слышал это объяснение из уст самой Лили Юрьевны):

«*Она поехала туда без особых дел, для того чтобы развлечься. Однако она взяла с собой платья советского модельера Надежды Лимановой, которые они с Эльзой демонстрировали на двух суаре, устроенных парижской газетой*».

И вновь возникают всё те же самые вопросы. Как же так? Советских граждан (даже самую что ни на есть трудовую интеллигенцию) большевики за границу не выпускали. А нигде не работавшая Лили Брик ездила туда, как в Малаховку. Порою по нескольку раз в году! Почему? Для чего?

Объяснять кому бы то ни было (включая и Бенгта Янгфельдта) истинную причину своих вояжей за рубеж в планы Лили Брик, надо полагать, никогда не входило. А ездила она туда потому, что её отправляло ОГПУ. Разумеется, не для того, чтобы «*развлечься*», а чтобы выполнить целый ряд «*особых дел*». Кроме того, эта поездка вполне могла быть связана и с судьбой коварного «*прожигателя жизни*» Александра Краснощёкова, которого Лили Юрьевна своевременно разоблачила.

Демонстрация платьев модельера Лимановой была хорошим прикрытием для её «*дел*» в Париже. Письма, которые она посылала в Москву Владимиру Владимировичу и Осипу Максимовичу, а они – ей, тоже должны были что-то «*прикрывать*».

Вот, к примеру, какое письмо отправил ей Маяковский в середине февраля:

«*Дорогой-дорогой, любимый-любимый, милый-милый Лисятик!*

Пишу тебе на тычке, т. к. сию минуту еду в Одессу и Киев читать и сию же минуту получил твоё письмецо…

Спасибо…

Мы живём по-старому. Был пока что на «Лизистрате», но сбежал с первого акта.

Дочего дрянь!
Рад ехать в Одессу. Тут ужасные ветра и холод.
Пиши, детик, из Парижа и скорей!
Целую тебя крепко-крепко.
Весь твой <рисунок Щенка>».

«Лисистрата» – это спектакль по комедии Аристофана, поставленный в Музыкальной студии МХАТ Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко.

Сюжет комедии был весьма злободневным, её автор – великий древнегреческий комедиограф, автор сорока четырёх пьес, его называли «*отцом комедии*». Да и Немирович-Данченко тоже был не самым последним режиссёром той поры. А Маяковский пишет: «*дрянь*». Почему? Сам спектакль был не очень удачным? Или поэт, прославлявший и воспевавший революционные войны, всех «*разрушителей войн*» вообще встречал в штыки? А может быть, сюжет Аристофана напомнил ему эпизод из его собственной биографии, когда Лили Брик, борясь за торжество нового быта, разорвала их отношения на целых два месяца?

Отослав во Францию письмо, Владимир Владимирович отправился на Украину. Отвыступав в Гомеле и Виннице, добрался до Одессы, где 20 февраля состоялось его первое выступление (в Северном театре).

21 февраля одесская газета «Вечерние известия» сообщила читателям:

«*Маяковский готовит к печати книгу стихов «Памятник рабочим Курска», собирается написать ряд произведений для театра и в скором времени отправляется в кругосветное путешествие, имея приглашение читать стихи и лекции в Америке*».

О том, как встретили поэта любимые им одесситы, рассказала другая местная газета – «Известия» (22 февраля). Её статья, написанная столь по-одесски прямо, столь мудро и столь остроумно, вполне заслуживает того, чтобы привести из неё достаточно большой отрывок:

«*Лекция Маяковского – которая явилась не столько лекцией, сколько лёгкой литературной митинговщиной – была от начала до конца проникнута одной основной, правда, давно уже не новой в устах футуристов мыслью: нет искусства, кроме футуризма и Маяковского, пророка его.*

Самореклама идеологическая, самореклама революционная. Всё остальное, что не подходит под масштаб Лефа, сбрасывается широким, чисто русским жестом со счетов литературы. Всё

остальное – ничтожное племя, пайконосы, розоворубашечники. Серапионовы братья? Помилуйте, да это какие-то недоноски. Пролетарские писатели – да где же они? Наши критики? Луначарский пишет, Сосновский пишет, даже Чичерин пишет, но что ж поделать, когда у ответственных совработников ещё не выработался вкус к искусству.

Революционные пай-мальчики, футуристы, выставляют на вид свои революционные качества. Мы, мол, за пайками не гонялись, мы в эмиграцию не удрали. Мы самые нужные, потому что Клюев дурак, потому что Ал. Толстой барин…

Но полемику в сторону! Выступление большого современного поэта – правда, выступление, обставленное антрепренёрским барышничеством и далеко не с пролетарской непоредственностью и скромностью – не могло не взбудоражить нашу общественность. На лекцию пришла пролетарская молодёжь, кое-кто из академической, седовласой интеллигенции, явившейся поглазеть на диво дивное, на всамделишнего, не одесского, лефовца.

Как бы там ни было, Маяковский всё-таки свой поэт, хоть и претенциозный и не отрешившийся ещё от чудачества жёлтокофтного протестанизма. Некоторые из прочитанных стихотворений, на которых лежало подлинное лицо творчества Маяковского, произвели сильнейшее впечатление. Другие, ничем не отличались от лубка, хотя автор и пытался выяснить их агитационное качество, снискавшее, по словам автора, внимание чуть ли не т. Ленина. Выступление т. Маяковского – значительное событие на фоне нашей одесской литературной мертвечины».

После ещё нескольких встреч с одесситами 23 февраля состоялось прощание – в центральном партийном клубе.

И вновь о ней высказались местные «Известия», отметившие, что Маяковский исключил некоторые «*заскоки*», которые вызвали неудовольствие публики на его прошлых выступлениях:

«*Желая завоевать аудиторию, он не пытался изобразить нам Леф всесторонне как литературное течение, …а показывал только его революционно-целевую сторону.*

Вот почему Маяковский так много распространялся об агитках, распинался за необходимость для поэтов оттачивать стихи-рекламы для Моссельпрома, стихи-надписи для крестьянской карамели, о метрической системе мер, осторожно обходя хлебниковскую заумь и всю сущность футуризма, этого действительного родоначальника Лефа. И стихи он читал не только те, в которых Маяковский действительно и почти бесспорно вырос как настоящий колосс, говорящий языком революции, языком площадей, языком миллионов, но и те наислабейшие, что «под Демьяна»».

Автор статьи одесских «Известий» всё же пытался найти в деятельности лефовцев какое-то положительное начало:

«*Если со своих футуристски-лефовских высот формальной словотворческой зауми они спускаются к пролетписателям, ищут общения с рабкорами, готовы действительно работать над «крестьянской карамелью», сливая эту работу в одно стройное целое с общей системой своих творческих исканий, то это, безусловно, ставит их ещё ближе к нам и открывает новую страницу в истории литературных исканий нашего времени.*

Леф, разбивающий «кобылу быта», старого быта в литературе и искусстве, весь в исканиях, неясных, часто противоречивых и внутренне даже чужых друг другу стремлениях, всё же близок нам потому, что пути прокладывает он новые, и что улицы и площади революции здесь не только отзвуки, но и настоящая громовая дробь и гулкие пушечные раскаты.

Вот почему у театров, где читал Маяковский, были «хвосты» рабфаковцев и комсомольцев, которые, разочаровавшись маленьким нахальством его лекций в Северном, бурно и радостно аплодировали его стихам и назавтра пришли в ещё большем количестве в драматический и в центральный партийный клуб. Вот почему «неудачные» выступления Маяковского на эстрадах одесских театров выросли в «настоящее событие». Всколыхнулось застойное болото гнющих отбросов старой культуры, которыми в этих же театрах нас из сезона в сезон пичкают, и зловоние которых душит живую жизнь».

А Лили Юрьевна Брик 23 февраля отправила в Москву очередное письмо:

«*В Ниццу не поеду: там съезд русской эмигрантщины. Если получу визу – в Испанию, если нет – куда-нибудь на юг Франции, пожариться недельку на солнце*».

У тех, кто по долгу службы читал это письмо, должно было сложиться впечатление, что гражданка страны, в которой была установлена диктатура пролетариата, просто отдыхает в стране «*загнивавшего*» капитализма.

25 и 26 февраля 1924 года Маяковский выступил в Киеве и в самом конце зимы вернулся в Москву.

Московские события

В Москве тем временем вышел в свет очередной (четвёртый по счёту) номер сатирического еженедельника «Заноза». Он начал издаваться с января 1924 года, и в нём появились первые отклики на ещё не начавшийся судебный процесс по делу Краснощёкова. В номере от 29 февраля на второй странице был помещён рисунок

художника Николая Куприянова, на котором изображался дачный домик, а возле него – пара лошадей, впряжённых в сани. Вместо подписи под рисунком размещалось стихотворение, название которого поясняло, чья это дача и чьи лошади:

«*Председатель банка (сказка для детей воровского возраста)*»

В стихотворении рассказывалось, как по московской улице Лубянке шёл матёрый вор (закоренелый ворюга). Поравнявшись со зданием ОГПУ, он услышал голоса толпившихся там граждан:

«– Арестовали!.. Да-с… Тюрьма-то крепче танка!..
– Кто арестован-то?
– Да председатель банка!
И тихо молвил вор: «Хоть разного мы стажа,
Да, видимо, тюрьма для нас одна и та же!..»»

А Лили Брик в это время продолжала весело проводить время за рубежом. В письмах писала:

«*Здесь совсем искутились. Эльзочка завела записную книжечку, в кот<орую>. записывает все наши свидания, на десять дней вперёд*».

4 марта в Москве (в Большой аудитории Политехнического музея) Леф отчитывался в результатах своей деятельности. Афиша гласила:

«*I.* ***Доклад: отчёт за 1923-24 гг.*** *1) Стихи на затычку. 2) Белебристика. 3) Белые сосиски Лизистраты. 4) Молодящиеся старички – Маковец. 5) Стариковствующие молодые – АХРР. 6. А всё-таки Эренбург вертится. 7) Лес дыбом и т. д.*

II. ***Новые стихи****: 1) Мандрила. 2) Киев. 3) По дороге до Конотопа. 4) Приморские швейцарцы и др.*»

Прочитав этот перечень, москвичи (особенно молодые) мчались за билетами. Ведь слова на афишах, не очень понятные в наши дни, в 20-х годах расшифровывались сходу.

«*АХРР*» – это «Ассоциация художников революционной России».

«*Маковец*» – ещё одно объединение московских художников, в которое входили друзья молодости Владимира Маяковского, оформлявшие первую его книгу «Я»: Лев Фёдорович Жегин и (до своей трагической кончины) Василий Николаевич Чекрыгин.

«*Лес дыбом*» – намёк не театр Мейерхольда, где после спектакля «Лес» была поставлена пьеса французского писателя Марселя Мартине «Ночь», переделанная лефовцем Сергеем Третьяковым в «Землю дыбом».

«*А всё-таки Эренбург вертится*» – слегка перефразированное

название книги Ильи Эренбурга «А всё-таки она вертится».

«*Белые сосиски Лизистраты*» – явный кивок в сторону спектакля, поставленного Немировичем-Данченко – в нём сцену украшали тонкие белые колонны.

Слово «*белебристика*» газета «Вечерние известия» объясняла так:

«*На углу Петровки и Кузнецкого висела вывеска… давно это было…: «Журнал для женщин»… «даю советы, принимаю стихи и… белебристику». Туда явились в цилиндрах Бурлюк и Маяковский. От лица оскорблённой литературы умоляли исправить вывеску. Редакторша брыкалась. «Пусть, – говорила она, – кто её читает?»*

– Вот такова современная белебристика».

Слово «Мандрила» растолковал конструктивист Корнелий Зелинский, который был на отчётном вечере лефовцев и записал в дневнике:

«*Маяковский читал стихотворения – «Перелёт Москва-Кёнигсберг», «Ух, как весело!», «Левый марш» – на бис и начал чтение своей поэмы о нэпе «Мандрила». Это стихотворение имело особый успех. В этом стихотворении изображалась нэповская мещаночка, которая своей подруге «Мандрила шнурки к ботинкам подарила». В стихотворении давалась замечательно яркая и резкая сатира на мещан, жадность, стяжательство, пошлость. В уста непманши Мандрилы Маяковский вложил такой романс, который начинался словами: «Чёрная биржа да белый медведь». Эти слова Маяковский читал, слегка подпевая на мотив романса «Чёрные очи да белая грудь»: «Эх, чёрная биржа да белый медведь…» Какой-то юноша подал в тон Маяковскому реплику, когда тот немного приостановился: «Хочется плакать, да надо реветь». Маяковский это подхватил:*

– Вот именно, товарищ, Чёрная биржа да белый медведь, вам хочется плакать, а надо реветь.

Долго не расходилась взволнованная, растревоженная аудитория».

Добавим и строки из «Вечерних известий»:

«*Маяковский пишет блестящую поэму о нэпе – «Мандрила»*».

Это произведение, к сожалению, до сих пор не разыскано.

В одном из писем, которые прислала в тот момент из Франции Лили Брик, есть коротенькая фраза, завершавшаяся вопросительным знаком:

«*Что с А. М.?*»

Пожалуй, никто из посторонних (перлюстраторов) ни за что бы не догадался, о ком идёт речь. А речь шла об Александре Михайловиче Краснощёкове, который продолжал пребывать в Лефортовском изоляторе.

Ответил ли что-нибудь на этот вопрос Маяковский, неизвестно – в его письмах о Краснощёкове ничего не говорится. А между тем суд над проштрафившимся директором Промбанка был не за горами.

Приговор «*краснощёковщине*»

В марте 1924 года в стране Советов завершилась денежная реформа, организованная наркомом финансов Григорием Сокольниковым и осуществлённая под присмотром Леонида Юровского. Все прежние денежные знаки подлежали обмену на твёрдую валюту (десять рублей – «*червонец*» – приравнивались к десятирублёвой золотой монете царской чеканки). Также выпускались казначейские билеты и разменная монета, серебряная и медная.

Откликнувшись на призыв Наркомфина, Маяковский написал тексты для рекламных плакатов:

«*Новые деньги, стоящие твёрдо,*
укрепляют хозяйство деревни и города»,

«*Буржуй, прощайся с приятными деньками –*
добьём окончательно твёрдыми деньгами»,

«*Твёрдые деньги – твёрдая почва*
для смычки крестьянина и рабочего».

Работа над текстом агитплакатов была завершена в тот самый момент, когда начался судебный процесс по делу Краснощёкова.

Председателем суда был Арон Сольц. На скамье подсудимых сидели обвиняемые: братья Александр и Яков Краснощёковы, а также сотрудники Промбанка Баркович и Виленский. Кстати, крупные деньги, которые Александр Михайлович выдал своему брату Якову (инженеру-строителю) пошли на дело – в самом центре Москвы по проекту архитектора Ивана Ивановича Рерберга возводилось здание Центрального телеграфа.

Бенгт Янгфельдт:

«*Юрист Краснощёков произнёс в свою защиту блестящую речь, объясняя, что как директор банка он имел право определять процент ссуды в зависимости от конкретной сделки, и что для достижения лучшего результата необходимо быть гибким. По поводу обвинений в аморальном поведении он утверждал, что его*

работа требовала определённых представительских расходов, и что «роскошная дача» в пригороде Кунцево представляет собой брошенный дом, который к тому же был его единственным жильём. В остальном Краснощёков ссылался на то, что его «частная» жизнь находится вне юрисдикции суда».

Но Краснощёков не учёл того, что суд этот был «*формальным*», и что судьба подсудимых давно предрешена. Что бы ни говорили обвиняемые, какие доводы в защиту своей невиновности они ни приводили, приговор был уже сформулирован кремлёвскими вождями – оставалось только его огласить. И его огласили на последнем заседании суда.

Самой пикантной деталью этого судебного процесса было, пожалуй, то, что имя Лили Брик на нём вообще не упоминалось. Словно никакого романа с Краснощёковым у неё не было. И это лишний раз косвенно подтверждает наше предположение о том, что обвораживать директора Промбанка Лили Юрьевну отправило ГПУ. Имя лубянского агента на суде звучать было не должно. И оно не звучало. Но…

В самый разгар судебных заседаний в журнале «Заноза» (в номере, вышедшем 17 марта) последнюю страницу обложки украсил рисунок художника Юлия Абрамовича Ганфа, предварённый пояснением:

«*Бывшим Председателем Промбанка Краснощёковым за счёт банка оплачивались цыгане, шампанское и т. д. (Из газет)*».

На рисунке были изображены две дамочки вызывающе распущенного вида. Одна из них (темноволосая) обращалась к другой (светловолосой) с такими словами:

«*– Слышь, Лелька!.. Ежели за такое большевики судить начали, быть нам без хороших гостей!.. Из «цыган» в секретарши придётся пойтить*».

В этих фразах «*дама сердца*» проштрафившегося большевика Краснощёкова называлась (вопреки гепеушным установкам) своим настоящим именем и изображалась светловолосой (Лили Брик красила волосы, и они у неё были золотисто-рыжего цвета). Кроме того, здесь недвусмысленно намекалось на то, что среди «*цыган*», веселивших загулявших братьев, были информаторы ОГПУ. Этот намёк адресовался другим любителям весёлых загулов (с партбилетами в кармане), чтобы они знали, что Лубянка не дремлет.

Кстати, и отсутствие Лили Брик в Москве во время суда над Краснощёковым говорит о том, что гепеушники (Ягода и Агранов) и на этот раз позаботились о том, чтобы их агентесса на том судилище не присутствовала.

То, как в ту пору решались судьбы людей, наглядно

демонстрирует листок из исторического архива. Он донёс до наших дней короткие фразы, которыми обменивались между собой во время заседаний члены политбюро. На этот раз вожди обсуждали судьбу родственника видного большевика (секретаря Московского комитета РКП(б), члена ЦК и кандидата в члены Оргбюро ЦК) Исаака Абрамовича Зеленского – оказалось, что родной его брат сотрудничал с охранкой. Члены политбюро решали, жить или не жить тому, кто выдавал товарищей по партии. И писали на листке свои соображения:

«– Чёрт побери, гнусное какое дело!

– Став провокатором в сентябре 1916 г., был им 5 месяцев.

– Брат члена ЦК. Не следует ли частным образом спросить брата, нет ли у него каких-либо смягчающих обстоятельств (замена расстрела).

– Колеблюсь, не лучше ли Сталину поговорить с Зеленским до расстрела?

– Хорошо бы, чтобы Сталин (или Куйбышев) поговорили с Зеленским. ГЗ

– Придётся расстрелять без суда (чтобы не было шума). Ст».

Последние буквы – *«ГЗ»* и *«Ст»* – это инициалы Григория Зиновьева и начальные буквы фамилии Сталина.

Прочитав фразу, написанную Сталиным, Зиновьев посылает ему новый вопрос:

«*– Ну, как, по-твоему, можно расстреливать, ни словечка не сказав Зеленскому? Знает ли он о том, что дело идёт к расстрелу*?»

Ответа Сталина на этот вопрос на листке нет. Но брат Исаака Зеленского был расстрелян, а его самого в ноябре 1924 года с поста секретаря Московского комитета РКП(б) сняли (якобы за то, что он «*прохлопал*» оппозицию 1923 года) и отправили в Ташкент секретарём Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б).

На том же листке есть и другие фразы, относящиеся к делу Краснощёкова. Зиновьев написал Сталину:

«*– Краснощёкова обязательно надо было бы расстрелять. Кого же тогда расстреливать*?»

Сталин ответил:

«*– Ты прав, краснощёковщина – ячейка новой буржуазии (но всё-таки расстреливать не за что*)».

Сталинская точка зрения, видимо, тогда возобладала. Александр Краснощёков получил 6 лет тюремного заключения и был лишён гражданских прав сроком на 3 года. Якову Краснощёкову дали 3 года. Баркович и Виленский получили более короткие сроки.

«*Краснощёковщину*» покарали довольно мягко, скорее всего,

ещё и потому, что Промбанк работал чрезвычайно хорошо. Янгфельдт пишет:

«*Краснощёков был весьма успешным директором банка: в период с января 1923 года и до ареста в сентябре ему удалось увеличить капитал Промбанка в десять раз, в том числе благодаря гибкой политике кредитования, следствием которой стал значительный приток американских инвестиций в Россию*».

Советские вожди, конечно же, были заинтересованы в хорошей работе банка. Но при этом они жаждали как можно скорее избавиться от слишком удачливого конкурента в политической борьбе. Поэтому Краснощёкова и упрятали за решётку.

А у Маяковского в тот момент появилась ещё одна важная работа. 14 апреля газета «Последние новости» сообщала читателям:

«*Влад. Маяковский занят композицией рисунков обёрточных «бумажек» для карамели дешёвых сортов, покупаемых деревней. Помимо рисунков обёртки-агитки будут содержать двустишие*».

Примерно в эти же дни Корнелий Зелинский получил письмо от Ильи Сельвинского, находившегося в командировке от Центросоюза в киргизских степях. Письмо было написано 31 марта 1924 года, и в нём глава конструктивистов высказывался об отношении к футуристической группе Маяковского (называя их «*футами*») и сообщал новости о себе:

«*…будущее принадлежит нам, а не «футам», которые доживают своё время…*

Можешь меня поздравить, в свою очередь: я стал гением. Понимаешь? Как у Андерсена – был гадкий утёнок, а вырос в лебедя…

Дело в том, что я начал писать стихотворный роман «Улялаевщина»…

Я сейчас вспоминаю есенинского «Пугачёва», который мне когда-то нравился – вот уж наивность; он прямо цуцик какой-то перед убедительностью каждого штриха моего романа: 1000 против одного! Если вычеркнешь без ущерба хоть одно четверостишие».

Главным героем поэмы Сельвинского «Улялаевщина» был атаман-анархист Улялаев. Поэт-конструктивист, конечно же, не знал, что Есенин уже написал поэму, прототипом главного героя которой тоже был анархистский батька Нестор Махно.

Стихи Есенина

14 апреля 1924 года Нестора Ивановича Махно (после

неудачной попытки самоубийства) перевели под надзор польской полиции в город Данциг. Там с помощью анархистов-эмигрантов ему удалось получить разрешение на въезд в Германию.

Лили Брик в тот же день (14 апреля) отправила из Франции письмо Маяковскому. В нём явно чувствуется расчёт на то, что любой посторонний, прочтя эти строки, решит: их писала скучающая, не знающая, куда себя деть, барыня:

«*Париж надоел до бесчувствия! В Лондон зверски не хочется! Соскучилась по тебе*!»

А Сергей Есенин в это время всё пытался напечатать свои стихи, объединённые в книгу под названием «Москва кабацкая». В Москве с изданием ничего не получилось. Ещё бы, ведь в первом номере журнала «Красная новь» появилась статья её главного редактора Александра Константиновича Воронского, разносившая в пух и прах есенинские стихи:

«*В истории российской поэзии впервые появляются стихи, в которых с отменной изобразительностью, реализмом, художественной правдивостью и искренностью кабацкий угар возводится* «*в перл создания*», *в апофеоз. И что хуже всего: в эти висельные, конченные, безнадёжные стихи поэт вдохнул подлинный лиризм, сообщил им крепость, нашёл себе для выражения кабацкого чада неподдельный пафос. Это хуже всего потому, что в* «*Москве кабацкой*» *отразился* «*дух времени*», *и уж, разумеется, нет никакой случайности в том, что один из лучших по одарённости современных поэтов опустился до страшных, пропащих стихов*».

В Ленинграде издать книгу тоже не захотели. Госиздат (явно под давлением ОГПУ) напрочь отказывался печатать стихи неугодного властям поэта. Но его друзья сумели найти выход из этого казавшегося безвыходным положения – договорившись, чтобы книга вышла частным порядком. Но для этого требовались деньги. Их должен был принести вечер Сергея Есенина, о котором городу на Неве возвестила афиша:

«*Сергей Есенин прочтёт стихи Москва кабацкая, Любовь хулигана и скажет слово о мерзости и прочем в литературе. Вызов не попутчикам*».

Оказавшиеся в Ленинграде члены «*ордена вольнодумцев*» тоже захотели принять участие в этом мероприятии и добились того, чтобы и им дали возможность прочесть стихи.

Зал бывшей городской думы набился до отказа. Вольнодумцы принялись читать свои стихи, но публика ждала Есенина. А его не было. И отыскать поэта никак не могли. Поэт явно обиделся на то, что вечер – Есенина, а коллеги-имажинисты пытаются оттереть его в сторонку. И в самом деле, вскоре от него пришла записка:

«*Я ждал. Ходил 2 раза. Вас и не бывало. Право, если я не очень нужен на вечере, то я на Николаевской, кабачок слева внизу*».

За Есениным побежали и привели. Сильно выпившего, взлохмаченного, в помятом костюме. Он вышел на сцену и начал крыть всех тех, кто не даёт сочинять стихи и печатать их. Особенно досталось «*жидам*». В зале раздались протестующие возгласы, публика зашумела. Организаторы вечера схватились за головы.

Один из них из-за кулис шёпотом закричал поэту:

«*– Сергей Александрович! Довольно! Читайте стихи!*

Есенин улыбнулся, трезвея на глазах, и совсем иначе, уже доброжелательно произнёс:

– Да что ж это я?! Ведь это, право, не моя специальность! Я лучше прочту вам стихи.

Начал читать, и произошло обыкновенное чудо. Взбудораженный, раздражённый, частью обозлённый зал был покорён полностью».

Поэт-символист Владимир Алексеевич Пяст (Пестовский) был на том вечере и оставил такие воспоминания:

«*Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили, все оскорблённые и заворожённые им, кругом это широкое возвышение в глубине этого длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами смотрели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст, – толпа схватила его на руки и понесла, с шумными восклицаниями хвалы, – вон из зала, по лестнице вниз, до улицы…*»

Как потом вспоминали очевидцы, восторженные поклонницы поэта даже стали снимать с него ботинки и галстук – на сувениры.

Есенин написал потом в Москву Бениславской:

«*Вечер прошёл изумительно. Меня чуть не разорвали…*»

Но книгу «Москва кабацкая» можно было печатать.

Квартирная проблема

Весной 1924 года увольнение Осипа Брика с Лубянки отразилось на жилищном положении «*семьи*». В Москве квартир и комнат по-прежнему катастрофически не хватало, и городские власти для начала отобрали комнату, в которой проживал Маяковский: у него, мол, и так есть, где жить – в Лубянском проезде.

Может возникнуть вопрос: а как же ОГПУ, с которым (по нашим предположениям) Владимир Владимирович был тесно связан? Неужели это всесильное ведомство не могло заступиться за своего сотрудника?

Могло, конечно. Но, по каким-то, видимо, причинам, не считало нужным это делать – Маяковскому, которого и так за рубежом считали махровым чекистом, необходим был другой облик. Над этим на Лубянке работали. И посоветовали поэту, как следует ему поступить: разыграть из себя жертву советских властей, которые лишали его пристанища. Мог ли подобный бедолага быть сотрудником ОГПУ? Конечно же, нет!

Бенгт Янгфельдт:

«*Маяковский обратился в суд, но, несмотря на это, от комнаты в Водопьяном переулке ему пришлось отказаться. (…) Осип сделал домработницу Аннушку своим секретарём и записал её в Союз писателей, что позволило им оставить за собой одну из комнат квартиры в Водопьяном*».

Впрочем, подобные «*интеллигентские*» ухищрения на Моссовет не подействовали – ведь за спиной жильцов уже не стояло грозное и всесильное ведомство. И Осипу Брику вскоре сообщили, что жилплощадь он вообще занимает незаконно.

Эта квартирная тяжба, надо полагать, должна была продемонстрировать отношение большевиков к тем, кто являлся пособником уголовных преступников. Братья Краснощёковы попали за решётку, а Осип Брик, оказывавший их преступным деяниям юридическую поддержку, лишался жилплощади, в своё время щедро пожалованной ему рабоче-крестьянской властью. Всё логично, всё законно.

Как бы там ни было, но жить Брикам стало негде.

Аркадий Ваксберг:

«*Предстояло найти другое жильё, которое бы жильём вообще не считалось и, значит, могло быть занято без разрешения городских властей. Таковым тогда ещё оставались подмосковные дачи*».

Продолжал бедствовать от бездомности и отсутствия работы Алексей Ганин. Через полгода он напишет:

«*И вот в тот самый момент, когда я сделался мастером, когда мне надо было начинать свою новую творческую работу, я очутился в том положении, о котором уже говорил. У меня не было комнаты, не было стола, где я мог работать*».

А Маяковский, имевший и комнату, и стол, писал в это время поэму «Владимир Ильич Ленин». Художник Самуил Адливанкин вспоминал:

«*Как-то придя в рабочий кабинет Владимира Владимировича в*

Лубянском проезде, где он писал «Ленина», я застал его за уборкой комнаты. Он очень тщательно подметал пол.

– Не выношу никакого сора в комнате, когда пишу. Особенно теперь. Вы знаете, что я пишу сейчас?

– Да, знаю».

В те же дни Маяковский встретился со своим сослуживцем по РОСТА – журналистом Николаем Константиновичем Вержбицким. Встреча произошла в редакции журнала «Крокодил». Вержбицкий собирался ехать в Грузию, где ему предстояла работа в газете «Заря Востока» (его явно направляло туда ОГПУ). Маяковский сказал:

«*– Тифлис, да и вообще вся Грузия вам понравится. Встретимся*!»

Сам Владимир Владимирович в тот момент рвался за границу. Янгфельдт пишет:

«*Маяковский, любивший Лили с прежней силой, был сокрушён тем, что она его отстранила. Уже в конце мая, проведя в Москве всего несколько недель, он просил у Луначарского рекомендательное письмо в советские заграничные представительства: чтобы отвлечься от своего горя, он снова собирался за границу*».

К сожалению, Янгфельдт не привёл никаких доказательств (кроме ссылок на высказывания Лили Юрьевны), которые подтверждали бы его слова о том, что Маяковский продолжал любить Лили Брик «*с прежней силой*», и что за рубеж он собрался исключительно для того, «*чтобы отвлечься от своего горя*». Роман Владимира Владимировича завершился, а за границу его посылало ОГПУ, по рекомендации которого поэт и обратился к Луначарскому. Письмо, которое требовалось Маяковскому, Анатолий Васильевич написал. Вот оно:

«*Настоящим Народный Комиссариат по просвещению РСФСР свидетельствует, что предъявитель сего В. Маяковский является одним из крупнейших и талантливейших поэтов современной России. За границу он едет исключительно с литературными и художественными целями*».

Подписанная наркомом официальная бумага напоминает справку, которую предъявлял волк, чтобы с её помощью заверить всех и каждого, что он является убеждённым вегетарианцем, и что самые любимые его кушанья – морковь, репа и капуста.

Подобную «*справку*» мог предъявить тогда практически любой (печатавшийся) советский писатель. Критик Иннокентий Оксёнов 28 апреля 1924 года записал в дневнике:

«*Страшное, могильное впечатление от Союза писателей. Какие-то выходцы с того света. Никто даже не знает друг друга в лицо*».

А журнал «Красный флот» высказался о книге Ларисы Рейснер «Фронт», вышедшей в издательстве «Красная новь»:

«*Ещё никто так одухотворённо не описывал гражданской войны, так тонко не подмечал её многообразной сущности, не развёртывал столько граней этой эпопеи…*»

В такое-то время Маяковский и собирался совершить очередной зарубежный вояж.

Запретительный циркуляр

О том, какое «*дело*» было на этот раз у собравшегося за границу Маяковского, никаких открытых документальных свидетельств не существует. Все биографы поэта пишут о том, что он намеревался поехать в Америку. Но это было всего лишь его желанием, так как въездной визой поэт не располагал.

Впрочем, даже при наличии такой визы у него всё равно могли возникнуть проблемы, как появились они у Лили Брик.

Бенгт Янгфельдт:

«*В Париже она провела месяц, а 26 марта села на корабль до Англии с целью навестить Елену Юльевну, которая хворала*».

Для шведа Янгфельдта, родившегося и выросшего в демократической стране, желание дочери навестить прихворнувшую мать вполне естественно. Но для советской женщины, которая (повторяем это в который уже раз) нигде не работала, подобное путешествие было просто немыслимым. Мало того, что Лили Брик целый месяц (!) провела в Париже, где неизвестно чем занималась, ей захотелось ещё и в Англию заглянуть! Да кто бы ей такое позволил на седьмом году существования советской власти?

Но продолжим цитировать Янгфельдта:

«*Однако Лили была вынуждена вернуться в Кале в тот же вечер, поскольку в Дувре её остановил пограничный контроль – несмотря на то, что у неё была английская виза, выданная в Москве в июне 1923 года. Она не могла знать, что после первого посещения Англии в октябре 1922 года её объявили персоной нон грата, о чём 13 февраля 1923 года секретным циркуляром было объявлено во все британские пункты паспортного контроля «для Европы и Нью-Йорка»*».

И Янгфельдт приводит в своей книге некий секретный документ. Но так как «*циркуляром*» британского Foreign Office (министерства иностранных дел) от 13 февраля 1923 года Янгфельдт не располагал, он опубликовал вместо него бумагу другого министерства (Home Office), назвав его:

«*Циркуляр В 795 британского департамента внутренних дел,*

запрещающий Маяковскому въезд на британскую территорию».

К фотокопии этого документа Янгфельдт приложил фразу:

«*Циркуляр был направлен во все британские порты, пункты консульского, паспортного и военного контроля, а также в шотландский и индийский отделы МИДа*».

Присмотримся к этой бумаге повнимательнее.

Она начинается со слова (в левом верхнем углу), понятного и тому, кто английского языка не знает: «*SECRET*», то есть «*секретно*». В правом верхнем углу обозначен номер документа: «*B. 795 H. O.*», что означает «*Branch 795 Home Office*» («*Отдел 795 Министерства внутренних дел*»).

Дальше следует дата: «*9th February, 1923*», то есть «*9 февраля, 1923*».

Затем (как название документа) – два слова: «*Vladimir M AYA KOVSKY*».

После этого приводится краткая биография поэта, являющаяся весьма подробным пересказом его автобиографических заметок «Я сам». С неверно указанным годом и месяцем рождения – «*7/6/1894*». С перечислением фамилий эсдеков, ставших членами МК РСДРП вместе с Маяковским – «*Lomoff, Smidovich, etc*» («*Ломов, Смидович, итд*»). С названием тюрьмы, в которой сидел Маяковский – «*in Bytirki*» («*в Бутырке*»). С указанием срока заключения – «*11 months*» («*11 месяцев*»). И так далее. Вплоть до упоминания о работе в РОСТА и в «Известиях».

Этот довольно длинный перечнь завершает фраза: «*He should not be given a visa…*», которую Янгфельдт перевёл как «*он не должен получить визу*».

И следует подпись:

«*W. HALDANE PORTER,*
H.M. Chief Inspector, Aliens Branch, Home Office», что можно перевести как:

«*В. ХЭЛДЕЙН ПОРТЕР,*
королевский главный инспектор иностранного отдела Министерства внутренних дел».

После подписи даются адреса, куда рекомендуется разослать этот циркулярный документ. И, наконец, вкратце сообщаются основные данные о лице, о котором составлена бумага: фамилия, имя, возраст, пол, гражданство, политическая ориентация, партия, к которой принадлежит, отметка о том, что данный документ доставляется бесплатно и номер отдела:

«*MAYAKOVSKY Vladimir / 28 / MAN / Ru / Communist / Bol / RD / B. 795*»

Внимательно ознакомившись с представленным документом, невольно приходишь к выводу, что это, скорее всего, не категорический запрет на въезд в Великобританию российского поэта коммунистической ориентации, а всего лишь точка зрения инспектора иностранного отдела Британского министерства внутренних дел, с которой предлагается ознакомиться всем остальным отделам этого ведомства. Ведь инспекторы (пусть даже самые распранаиглавные) ни в одной стране ничего не запрещают и не разрешают. Они лишь дают рекомендации. А окончательное решение по любому вопросу принимает тот, кто возглавляет учреждение.

Вполне возможно, что эта рекомендательно-разъяснительная бумага сопровождала главный циркуляр, подписанный, надо полагать, министром, и содержавший категорический запрет поэту Маяковскому въезжать в Великобританию. Что-то вроде:

«*Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии считает гражданина Советской России Маяковского Владимира персоной нон грата, посему въезд ему на территорию Королевства запрещается категорически*».

И всё.

Работникам пограничных служб нет никакой надобности знать, сколько месяцев та или иная «*персона нон грата*» сидела в тюрьме, и как та тюрьма называлась.

Но такого документа в распоряжении Янгфельдта не было. И он выдал за него разъяснительную бумагу мистера Портера.

К тому же свой рассказ о «*секретном циркуляре*», якобы разосланном «*во все британские… пункты консульского, паспортного и военного контроля*», Бенгт Янгфельдт завершает с недоумением:

«*Однако там, где о существовании этого документа действительно должны были знать, – в дипломатической миссии его величества в Москве – о нём, очевидно, ничего не знали…*»

Впрочем, даже если допустить, что прав всё-таки Янгфельдт, а заблуждаемся мы, и представленный нам документ, в самом деле, запрещал Маяковскому въезд в Великобританию, всё равно возникает вопрос: как могла эта бумага воспрепятствовать появлению в Соединённом королевстве Лили Брик? Ведь она в этом документе не упомянута ни в одной строке! Даже намёком!

Странность запрета

Итак, Лили Юрьевну у самого британского берега развернули и отправили восвояси.

Из-за чего?

В письме Маяковскому она объяснила:

«*У меня всяческие предположения на этот счёт. Как ни странно, но мне кажется, что меня не впустили из-за тебя*».

Янгфельдт эти строки прокомментировал следующим образом:

«*Предположение оказалось правильным: документ из британского министерства иностранных дел подтверждает, что именно отношения с Маяковским, писавшим «клеветнические весьма статьи» в «Известиях» сослужили ей дурную службу*».

Но, во-первых, документ, который имеет в виду Бенгт Янгфельдт, вовсе не «*из британского министерства иностранных дел*», а из министерства по делам внутренним. А во-вторых, в нём слов «*клеветнические весьма статьи*» нет. Там сказано:

«…*write for Moscow Iszvestia, chiefly unsigned propaganda articles*».

А это означает:

«…*писал для московских «Известий» главным образом анонимные пропагандистские статьи*».

В «Известиях» Маяковский печатался? Да. В «Я сам» сказано:

«*Стал писать в «Известиях»*».

Но анонимно ли выходили эти его статьи? Нет. Анонимно, как мы помним, поэт собирался издать совсем другое своё произведение. И об этом тоже говорится в «Я сам»:

«*Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии*».

Получается, что здесь явно кто-то перепутал – либо агент, приславший в Хоум Офис перевод автобиографии Маяковского, либо главный королевский инспектор Портер, который слова, относившиеся к поэме «150 000 000», перенёс на газетные статьи. Возможно также, что, не разобравшись в ситуации, всё неадекватно растолковал и Бенгт Янгфельдт.

К тому же и Лили Брик в Англию всё-таки въехала! Несмотря на строжайший запретительный циркуляр, о чём Янгфельдт (опять же с большим недоумением) пишет:

«*Как ни странно, но вопреки этому запрету, Лили смогла приехать в Лондон три недели спустя*».

О том, чем занималась в Великобритании Лили Юрьевна, точной информации не сохранилось. Янгфельдт об этом тоже ничего не сообщает.

А к странному запрету въезда в Англию Лили Брик надо, наверное, отнестись проще, не пытаясь отыскивать «*клеветнические*» публикации в советской прессе, которые могли бы подорвать престиж Великобритании. Дело в том, что одного

только факта работы в «Аркосе» Елены Юльевны Каган, матери Лили Брик, вполне хватало для того, чтобы вызвать самые серьёзные подозрения. Ведь в этом «*торговом*» учреждении кишмя кишели сотрудники ОГПУ и агенты Коминтерна, готовившие британскую социалистическую революцию. Об этом разведка Соединённого Королевства, конечно же, превосходно знала. И всех, кто наведывался в это «*гнёздышко*» советских спецслужб, автоматически рассматривали как гепеушников. И относились к ним соответственно. Поэтому и Лили Брик впустили в Англию не сразу.

А чем в это время занимался Маяковский?

Он продолжал готовиться к зарубежному турне. А в середине апреля сел в поезд и через Ригу отправился в столицу Германии.

Четвёртая «*ездка*»

На этот раз поэт решительно замахнулся на пересечение Атлантического океана – об этом он сам говорил, давая интервью газетчикам. Поэтому, когда 19 апреля 1924 года он прибыл в Берлин, выходившая там газета «Накануне» сообщила:

«*Проездом в Америку прибыл вчера в Берлин Владимир Маяковский*».

Владимир Владимирович намеревался, съездив в Америку, вернуться на родину уже через Тихий океан. Но это были лишь планы. Чтобы им осуществиться, требовалось разрешение на въезд в Соединённые Штаты.

Бенгт Янгфельдт:

«*Запросить американскую визу в Москве было невозможно ввиду отсутствия дипломатических отношений между государствами*».

Поэтому ещё 25 марта Маяковский подал запрос в британскую миссию в Москве с просьбой предоставить ему въездную визу в Великобританию. Получить этот документ он надеялся уже в Берлине, чтобы оттуда отправиться в Англию, где его поджидала Лили Брик.

Но этим планам осуществиться не удалось – поэта большевистской ориентации Соединённое Королевство видеть на своей территории не пожелало.

Об этой «*ездке*» Маяковский рассказал потом в стихотворении «Два Берлина»:

> «*Авто / Курфюрстендам-ом катая,*
> *удивляясь, / раззеваю глаза –*
> *Германия / совсем не такая,*

как была / год назад.
На первый взгляд
общий вид:
в Германии не скулят.
Немец – / сыт.
Раньше / доллар – / лучище яркий,
теперь / «принимаем только марки»».

Иными словами, страна, проигравшая мировую войну, страна, ещё год назад чуть ли не нищенствовавшая, теперь оказалась сытой и богатой. Как так? Почему? Маяковский этими вопросами не задавался.

В Берлине у него было несколько выступлений. Первое состоялось 26 апреля на «*субботнике*», на который собирались писатели, художники и артисты (появившееся при большевиках слово «*субботник*» становилось популярным и за границей). Газета «Накануне» написала:

«*Вл. Маяковский прочёл одно из своих лучших стихотворений «Необычайное приключение…»*».

Следующее выступление – 29 апреля в Большом зале Палаты господ. Вечер был устроен Германским отделением Всероссийского союза работников печати. Программа была такая:

«*I. Расцвет Лефа. II. Последние стихи.*

Начало ровно в 8 1/2 ч. (по Лиге времени, то есть минута в минуту)».

«Лигу времени» Маяковский упомянул, рекламируя «*временна́й*» проект Платона Керженцева, который боролся за «*научную организацию труда*» и за «*эффективное использование времени*».

Об этом вечере – газета «Накануне»:

«*Леф, по словам докладчика, отмежевался от самодовлеющего искусства. Вместо сладких звуков и молитв он хочет идти об руку с мозолистыми руками рабочего, хочет укреплять в нём бодрость, веру в правоту Октября и сам старается слиться с созидающей работой, к которой зовёт сегодня новый день Россию…*

Леф хочет быть громким эхом новых звуков, несущихся по русским просторам…

Стихи Маяковского скованы из стали в горниле русской революции. Бодро и призывно звучат они, поднимают радостными криками упавший дух, улыбаются дружески солнцу, гимнами встречают крепнущую пролетарскую силу и сливаются в песнях со сплочёнными рядами новых русских людей. Маяковский – большой талант, и его эволюцию от сданного им в архив

жёлтокофточного футуризма к поэзии «Леф» никоим образом не поставишь ему в упрёк».

О другом выступлении поэта – та же газета («Накануне»):

«*В Майстер-зале берлинской студенческой организацией «О» был устроен вечер, посвящённый 1 Мая…*

После доклада писатель Илья Эренбург прочёл отрывок из ненапечатанного романа «Жанна де Ней», а поэт В. Маяковский – несколько своих стихов».

Эренбург, как и Маяковский, находился в Берлине, надо полагать, не случайно. У обоих явно были дела, которые им поручила выполнить Лубянка.

А Лили Брик приехала в Берлин из Лондона. Она привезла с собой маленького щенка, скотчтерьера, купленного ею в Англии. Собачку назвали Скотиком. Вместе с Маяковским Лили Юрьевна провела в Германии последнюю декаду апреля и начало мая. Вполне возможно, что именно в это время между ними произошёл важный разговор.

Бенгт Янгфельдт:

«*Её чувства к Краснощёкову были настолько сильны, что она решила порвать с Маяковским. Поскольку Лили было трудно сообщить о своём решении устно, он получил его в письменной форме*».

Вот что она написала:

«*Ты обещал мне: когда скажу, спорить не будешь. Я тебя больше не люблю. Мне кажется, что и ты любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь*».

Бенгт Янгфельдт:

«*Поскольку потом Маяковский скажет, что последнее, сделанное им и Лилей вместе, была собака Скотик, то момент разрыва можно отнести к их пребыванию в Берлине в начале мая*».

В это время в Германии произошли драматичные события, связанные с судьбой другого российского поэта – Нестора Махно. В Данциге, где он находился под надзором польской полиции, его захватили сотрудники ГПУ (известны даже их фамилии – Еланский и Ян Сосновский), которые привезли его в Берлин. Посадив похищенного в автомобиль, гепеушники отправились сдавать его в советское постпредство. Но по пути Нестору Ивановичу удалось выброситься из машины и сдаться немецкой полиции. Судьба в очередной раз улыбнулась анархистскому атаману.

А Маяковский, так и не дождавшись визы на въезд в Америку, вместе с Лили Брик вернулся на родину.

Написанное вскоре стихотворение «Два Берлина» завершалось надеждой на то, что в Германии социалистическая

революция всё же произойдёт – ведь не случайно в мае 1924 года на выборах в парламент (рейхстаг) за коммунистов проголосовало 3 712 000 человек:

«*Пробьётся, / какие рогатки не выставь,*
прорвётся / сквозь штык, / сквозь тюремный засов.
Первая весть: / за коммунистов
подано / три миллиона голосов».

Казалось бы, поездка Маяковского провалилась – ведь ничего из запланированного сделать не удалось. Но это – с точки зрения тех, кому истинные цели этой «*ездки*» неизвестны. О том, какое гепеушное дело Лили Юрьевна и Владимир Владимирович выполняли в Германии на этот раз, гадать не берёмся – когда-нибудь об этом расскажут (будем надеяться) лубянские архивы.

Вернувшись домой

Бенгт Янгфельдт:

«*Приехав в Москву, Маяковский узнал, что 1 мая Лондон выдал британской миссии в Москве инструкцию, согласно которой в получении визы ему следует отказать*».

Поскольку отказ был категорическим, стало ясно, что проникнуть за океан через Великобританию Маяковский не сможет. Но оставалась Франция.

Вернувшаяся из-за границы Лили Брик вновь принялась регулярно посещать находившегося в Лефортовском изоляторе Александра Краснощёкова, снабжая его продуктами питания и книгами. Янгфельдт пишет:

«*Забота о нём распространилась и на его четырнадцатилетнюю дочь, которая переехала на дачу в Пушкине*».

Сама Луэлла Краснощёкова потом свидетельствовала:

«*Лили Юрьевна Брик взяла меня к себе, когда отец находился в тюрьме. Она не хотела, чтобы я жила в интернате…*

Лили Брик иногда говорила Маяковскому:

– Володя, сходил бы ты к Луше в школу, выступил!

И Маяковский покупал горн или барабан и отправлялся на пионерский сбор».

Янгфельдт к этому добавляет:

«*В один из первых дней Луэллы в Пушкине Лили сказала ей: «Тебе будут говорить, что я целуюсь со всеми под любым забором, ничему не верь, а сама меня узнай»*».

Когда в 1924 году книгу очерков о гражданской войне под названием «Фронт» издали в Германии и Австрии, её автор, Лариса Рейснер, написала:

«*Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать*?»

Вторая книга Рейснер была посвящена недавней немецкой революции и называлась «Гамбург на баррикадах». Прочитав её, советник юстиции доктор Йоганнес Вертхауэр отметил:

«*Книга показывает автора, как поэта правды. Книга захватывает разум и сердце читателя вне зависимости от его отношения к напоминаемым событиям*».

Через два года по этой книге Одесская киностудия сняла фильм «Гамбург».

14 мая 1924 года Рейснер отправилась в очередную командировку на Урал.

А поэт Алексей Ганин по-прежнему не имел работы, поэтому заработной платы не получал. И крыши над головой у него тоже не было. Сам он потом писал:

«*И так продолжалось с 1923 года, с сентября месяца… А ночевал – где застанет ночь*».

15 мая 1924 года в возрасте 37 лет неожиданно скончался (как говорили, от менингита) поэт Александр Ширяевец (Александр Васильевич Абрамов), давний друг Есенина, посвятившего ему стихотворение «Памяти Ширяевца»:

«Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые берёзовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски…

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил…»

Ширяевца похоронили на Ваганьковском кладбище. Есенин

сказал друзьям:

«*Если я умру, похороните меня рядом с Шуркой милым*».

17 мая Маяковский поехал в Ленинград, где было запланировано четыре его выступления. 20 мая он отправил в Москву письмо Лили Брик:

> «*Дорогой мой Лисёныш.*
>
> *Никто мне не рад, потому что все ждали тебя… Вчера читал, сегодня, завтра, и ещё не то в четверг, не то в пятницу. Так что буду субботу-воскресенье. Дел никаких, потому что все руководители выехали в Москву…*
>
> *Целую тебя сильно-сильно, ужасно-ужасно.*
>
> *Твой Щен.*
>
> *Поцелуй Скоча и Оську, если у них нет глистов*».

В Ленинграде в тот момент не было партийного руководства, потому что все выехали в Москву на XIII съезд РКП(б), открывавшийся 23 мая.

20 мая Маяковский выступил в Ленинградской филармонии с докладом «О сегодняшней поэзии». На следующий день «Красная газета» написала:

«*Вчера ленинградским литературным кружкам сильно досталось от выступавшего в зале Филармонии Маяковского…*

Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие – поэтому да здравствует страстная беспощадная борьба за новое пролетарское искусство. «Долой метафизику» и «Буниновщину», – закончил докладчик, – и «Да здравствуют передовые рабочие круги!»

Во втором отделении Маяковский прочёл ряд наиболее популярных своих стихотворений».

В это время в редакции «Красной газеты» работала комиссия РКП(б), которая проводила идеологическую проверку журналистов. Сохранился протокол этой комиссии за № 100-б. В нём речь идёт о поэте Василии Князеве (после введения нэпа он перестал писать сатирические стихи и выпустил несколько сборников частушек):

«*Недисциплинирован. Член партии с уклоном к рвачеству. В партии является балластом*».

А беспартийный Маяковский, вернувшись в Москву, 26 мая выступил в Малом театре на диспуте о задачах литературы и драматургии.

Литературный диспут

Доклад на этом мероприятии сделал Анатолий Луначарский. В прениях приняли участие театральный режиссёр Александр Таиров, писатель Борис Пильняк, поэт Александр Безыменский и другие. Маяковский поначалу выступать не собирался, но, когда ему предоставили слово, начал своё выступление так:

«*Товарищи, когда я в кулуарах услышал, о чём здесь говорят, я удивился, что ничего не изменилось и не подвинулось с 1917 года. Я считаю малопроизводительной такую форму искусства, гораздо более целесообразной считаю писание, но товарищ Зельдович ухватил меня за фалды, и потому я должен говорить*».

Двадцатитрёхлетний Владимир Давидович Зельдович, заведовавший секретариатом наркома Луначарского, впоследствии вспоминал, что, когда пришла пора просмотреть стенограмму выступления, Маяковский сказал ему:

«*Я такое на диспуте наговорил, что Брик меня повесит*».

И поэт подверг стенограмму значительной правке.

Вот некоторые фразы, произнесённые (и выправленные) Маяковским:

«*Искусство должно являться оружием – таким оружием, которое художник, писатель, актёр дают классу… Поэтому критика должна интересоваться тем, как должно быть сделано это самое оружие, при основном условии, что это оружие – оружие пролетариата…*

Я утверждаю, что литературного подъёма в смысле работы сейчас нет, а есть подъём литдрак…

Не было в театре ни одной вещи, которая осталась бы у вас и на другой день…

Для меня глубоко отвратительна постановка «Леса» Мейерхольда…

И вот сейчас, если вы всмотритесь в поэтический материал, который проходит перед вашими глазами во всех журналах, я категорически утверждаю, вы не встретите ни одной вещи, из которой можно было бы запомнить пять-десять строчек, прочитав раз, и вообще нет ни одного поэтического произведения, которое хотелось бы, начав, дочитать до конца».

Отметим в этом выступлении одно место, которое должно было понравиться Брику (и понравилось Луначарскому):

«*Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, а месяц тому назад, во время работы, Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, и я не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:*

Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я…

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, учиться этим максимально добросовестным творческим приёмам, которые дают верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Этого ни в одном произведении в кругу современных авторов нет. Конечно, это никак не похоже на лозунг «Назад к Пушкину». Моё отношение к этому вопросу в стихе моём «Юбилейное»».

Первую пушкинскую строку Маяковский прочёл не совсем точно (у Пушкина она звучит так: «*Я знаю: век уж мой измерен*»). Почему это произошло, объяснила Л. Ю. Брик:

«*Ему не нравилось читать «век уж мой измерен», звучавший как «векуш мой», и он переделал строку по-своему*».

Журнал «Красная Нива» в отчёте об этом литературном диспуте написал:

«*Через несколько дней после диспута А. Луначарский в статье о Пушкине вспомнил, с каким «благоговением» Маяковский упоминал имя Пушкина, что он «внезапно впал в элегический тон, даже не пощадил своих собственных произведений, заявив, что всё выпускаемое в свет нынешними поэтами скучно и не запоминается*».

– Это, – сказал Маяковский, – относится и к моим произведениям, хотя и в меньшей степени, чем к другим.

Зато Маяковский рассказал, с каким наслаждением слушал он Брика, который читал «Евгения Онегина».

– Я даже выключил телефон, – сказал Маяковский, – чтобы никто не машал мне!

Он тут же стал цитировать отрывки, которые рекомендовал вниманию публики как образец меткости и мастерства».

Встретившись на этом диспуте с наркомом, Маяковский, видимо, попросил его помочь в организации своей новой зарубежной поездки. И 27 мая Луначарский написал два письма, содержание которых повторяло то, что было в предыдущих документах. Первое письмо:

«*Настоящим Народный Комиссариат по просвещению РСФСР свидетельствует, что предъявитель сего В. Маяковский является крупнейшим и талантливейшим поэтом современной России. За границу он едет исключительно с литературными и художественными целями. Народный Комиссариат по просвещению убедительно просит все учреждения и лица, к которым обратится В. Маяковский оказывать ему любезное содействие*».

Второе письмо:

«*Ко всем Полпредам СССР.*

Дорогие товарищи.

Очень прошу Вас оказывать всяческое содействие поэту Маяковскому, человеку вполне своему для нас, который едет за границу в качестве корреспондента и для литературной работы и вполне заслуживает всяческой поддержки со стороны представителей СССР.

Нарком просвещения А. Луначарский».

А из Киргизии в Москву в это время вернулся Илья Сельвинский, работавший в Центросоюзе специалистом по пушнине. Он привёз с собой первые главы поэмы «Улялаевщина», которой обворожил всех своих слушателей. Корнелий Зелинский вспоминал:

«*Я очень хорошо помню своё впечатление от чтения Сельвинским первых глав «Улялаевщины» в 1924 году (привезённых из Киргизских степей и прочитанных в литературном кружке Антоновской – «Цех поэтов»)*».

После прочтения этих строк невольно вспоминается дневниковая запись, сделанная Корнеем Чуковским двумя годами ранее (27 марта 1922 года):

«*У нас, если человек пустое место, он идёт в пушкинисты или вступает в «Цех поэтов»*».

Для тех, кто был, по выражению Чуковского, «*пустым местом*», в ту пору существовал ещё и третий путь – встать в ряды тех, кому всё позволялось, кто носил кожаное пальто, не имел никаких проблем с жилплощадью и гордо именовал себя чекистом.

Пушкинский юбилей

6 июня 1924 года страна Советов отмечала 125-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Илья Шнейдер:

«*На торжественном митинге у памятника Пушкину венок к подножию возложил от имени советских писателей поэт Сергей Есенин…*

Есенин поднялся на ступеньки с цветами и начал громко читать своё новое стихотворение «*Пушкину*»:

«Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,

Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган»».

Завершалось стихотворение убеждённостью в том, что, несмотря на всевозможные преследования, поэт Есенин будет идти своей дорогой:

«*Но, обречённый на гоненье,*
Ещё я долго буду петь…
Чтоб и моё степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть».

Для чего «*пел*» Сергей Есенин, он сам сказал писателю Всеволоду Вячеславовичу Иванову:

«*Я пишу для того, чтобы людям веселей жилось*».

Слышал ли Маяковский выступление Есенина у памятника Пушкину, сведений нет. Известно лишь, что в начале июня Владимир Владимирович пришёл в Московский университет, где проходило заседание Общества любителей российской словесности. В этом мероприятии принимал участие и поэт Вячеслав Иванович Иванов, приехавший в Москву из Баку на торжества, посвящённые пушкинскому юбилею. Один из студентов, выйдя на трибуну, стал приветствовать гостя в таком высокопарном тоне, что Маяковский мгновенно вмешался, крикнув:

– Прекратите словоблудие! Ни Вячеславу Иванову, ни нам эта патока не нужна. Давайте лучше поговорим о деле, почитаем хорошие стихи! Не вчерашнего дня поэзию, а сегодняшнюю!

Иванов поддержал Маяковского, сказав, что с удовольствием послушает его стихи.

И Маяковский прочёл своё новое стихотворение – «Юбилейное». Оно большое – 354 «*маяковских*» строк (лесенкой). И начало у него довольно неожиданное:

«***Александр Сергеевич, / разрешите представиться, / Маяковский.***
Дайте руку! / Вот грудная клетка. / Слушайте, / уже не стук, а стон:

тревожусь я о нём, / в щенка смирённом львёнке.
Я никогда не знал, / что столько / тысяч тонн в моей / позорно легкомыслой головёнке»..

Поэт, ещё совсем недавно жаловавшийся на отсутствие настоящей любви, теперь заявлял о том, что сердце его «*смирили*», превратив из мужественного «*львёнка*» в покорно повизгивающего «*щенка*». И он принялся рассказывать Пушкину о ситуации в своей жизни, о своих личных переживаниях:

«*Я / теперь / свободен / от любви / и от плакатов.*
Шкурой / ревности медведь / лежит когтист…
Айда, Маяковский! / Маячь на юг!
Сердце / рифмами вымучь –
вот / и любви пришёл каюк,
дорогой Владим Владимыч».

Напомнил и о Дантесе, намекнув на Александра Краснощёкова:

«*Их / и по сегодня / много ходит –*
всяческих / охотников / до наших жён».

Перечисляя своих современников-стихотворцев, легонько подковырнул имажинистов и крестьянских поэтов:

«*Ну, Есенин, / мужиковствующих свора.*
Смех! / Коровою / в перчатках лаечных.
Раз послушаешь… / но это ведь из хора!
Балалаечник!»

Посетовал Маяковский и на то, что Пушкина уже нет:

«*Были б живы – / стали бы / по Лефу соредактор.*
Я бы / и агитки / вам доверить мог».

И поэт пригласил поэта пожаловать в Советский Союз:

«*Хорошо у нас / в стране Советов.*
Можно жить, / работать можно дружно.
Только вот / поэтов, / к сожаленью, нету –

впрочем, может, / это и не нужно».

Если гонимый властями Сергей Есенин заявлял о своём намерении ещё «*долго петь*», то Маяковский тоже не стремился покидать этот свет. Его стихотворение заканчивалось чётко сформулированным взглядом на жизнь:

«*Мне бы / памятник при жизни / полагается по чину.*
Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь!
Ненавижу / всяческую мертвечину!
Обожаю / всяческую жизнь!»

Поэзия и политика

Вскоре обожавшему «*всяческую жизнь*» Маяковскому был вручён очередной документ, который, видимо, должен был помочь уберечь поэта от многих неприятностей:

«С. С. С. Р.

Объединённое

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

при
Совете Народных Комиссаров
Июня 12 дня 1924 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 8252/к

Выдано гр. ***Маяковскому****, проживающему по* ***Лубянс пр.*** *в доме №* ***3****, на право ношения и хранения револьвера* ***Браунинг*** *№ – …*

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Действительно на всей территории С.С.С.Р.
2. При перемене адреса сообщить в ОГПУ».

Разве этот документ не говорит о том, что к Главному

Политическому Управлению страны Советов Владимир Маяковский имел отношение самое непосредственное?

А резидент ОГПУ в Палестине Яков Блюмкин зачем-то очень понадобился своему начальству – в июне 1924 года его отозвали с Ближнего Востока, и он покинул Яффу. Резидентом стал Яков Серебрянский, которому предстояло создать (Блюмкин только начал это дело) глубоко законспирированную агентурную сеть. Началась работа, очень тонкая и весьма деликатная. В результате удалось завербовать довольно большую группу агентов, состоявшую не только из сионистских переселенцев из России, но и из бывших белогвардейцев, которых судьба занесла в Палестину.

Когда Блюмкин вернулся в Москву, глава ИНО ОГПУ Меер Трилиссер вызвал на Лубянку жену Серебрянского Полину Натановну (она в 1921 году вступила в РКП(б) и работала в Краснопресненском райкоме партии). Историк российской разведки Эдуард Прокопьевич Шарапов описал эту встречу так:

«*Вам нужно ехать к мужу, – сказал Трилиссер. – Ему трудно. Вы должны быть рядом.*

– Не поеду. Боюсь.

Несколько затянувшаяся беседа Серебрянской и начальника внешней разведки закончилась очень просто. Трилиссер после уговоров и объяснений положил свою ладонь на руку Серебрянской и мягко, но твёрдо сказал:

– Ну, вот что, Полина Натановна. Или вы поедете за границу к мужу, или вам придётся положить на стол партийный билет».

И Серебрянская поехала. И стала вместе с мужем создавать глубоко законспирированную агентурную сеть советских агентов в Палестине.

Один из тех, кому торжества по случаю 125-летия со дня рождения Пушкина не принесли никакой радости, был поэт Алексей Ганин. Он вскоре написал:

«*…я оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег…*

Дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжёлую дизентерию. А жена всё ещё тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии…

Я окончательно остался на мели, во власти всяких случайностей. Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу поэту Есенину, в дом «Правды» по Брюсовскому переулку».

А в Секретном отделе ОГПУ (СО ОГПУ) пушкинский юбилей решили отметить по-особому: внимательно (по-чекистски) присмотревшись к московским поэтам. Ведь согласно

опубликованным гепеушным документам той поры, именно в середине лета 1924 года в этот отдел начали поступать сведения о том, что группа столичных стихотворцев «*в целях борьбы с совластью приступает к образованию террористической организации*». Наиболее активными назывались поэты Алексей Ганин, братья Пётр и Николай Чекрыгины, Виктор Дворяшин и Владимир Галанов.

Но если внимательно присмотреться к этим «*организаторам*» террористического подполья, то окажется, что все они были всего лишь стихотворцами, привыкшими работать со словом, и никакого опыта подпольной работы не имевшими. У большинства же остальных членов этой «*террористической организации*» знакомство с её вожаками («*организаторами*») было вообще шапочное. Вот что через какое-то время рассказал обо всём этом Алексей Ганин:

«*С Петром и Николаем Чекрыгиными я познакомился весной… Через некоторое время, по-моему, в мае, встречает меня Пётр Чекрыгин на Тверской и предлагает вступить в Орден русских фашистов, говоря при этом несколько комплиментов о моём уме. Я говорил, что я – поэт, занимаюсь исключительно литературой, но… я сказал: хорошо, подумаю*».

Всё это свидетельствует о том, что, скорее всего, «*террористов-подпольщиков*» выдумали в ОГПУ. По совету Владимира Джунковского и по аналогии с придуманным им «Монархическим объединением Центральной России» (МОЦРом) – для того, чтобы облегчить борьбу с антибольшевистским подпольем. А «Орден русских фашистов» понадобился для того, чтобы, раскрыв его, показать всесокрушающее гепеушное могущество.

Как бы там ни было, но летом за выявленными «*подпольщиками*» началась усиленная слежка.

Поэзия и реклама

18 июля 1924 года в театре Мейерхольда состоялся диспут по только что поставленному спектаклю «Д. Е.» (пьеса была написана Михаилом Подгаецким по роману Ильи Эренбурга «Трест Д. Е.» и роману Бернгарда Келлермана «Тунель»). В обсуждении принял участие и Маяковский. О его выступлении журнал «Новый зритель» написал:

«*Несколько лет тому назад, – начал Маяковский, – считалось признаком хорошего тона крыть Мейерхольда. В настоящее же время, наоборот, принято говорить о нём всякую высокопарную чепуху. Как представитель «Лефа», я, конечно, принимаю и на себя*

те нападки, которые из известного лагеря сыплются на Мейерхольда. Однако на сей раз я и сам считаю нужным влить ложку дёгтя в ту бочку похвал, которую тут наполняют. Но это вовсе не значит, что я выступаю против Мейерхольда».

Журнал «Советский театр» продолжил пересказ выступления поэта:

«*«Д. Е.» произвело на меня удручающее впечатление. Мейерхольд – гениальный режиссёр по сравнению с прочей театральной ерундой. Пьеса же «Д. Е.» – абсолютный нуль. Слово в ней, её сценический материал – убожество. Переделывать беллетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае – Эренбурга и Келлермана. Без этого условия спектакля как орудия классовой борьбы нет и быть не может…*

Затхлый «Лес» Островского на революционных подмостках был шагом назад. Выхолощенное «Д. Е.» – второй шаг назад. Мейерхольд это лучше всех понимает. Но всё же любой лозунг «Д. Е.» – лучше галиматьи старых театров».

Когда Мейерхольду предоставили заключительное слово, он ответил и Маяковскому, о чём журнал «Новый зритель» сообщил так:

«*Мне приятно, – говорил Мейерхольд, – что Маяковский, наконец, высказался. Ведь, в сущности, после «Мистерии-буфф», он сел под стеклянный колпак, откуда ему, по-видимому, очень удобно наблюдать, как я один борюсь на левом фронте.*

Пока вы не вылезете из-под стеклянного колпака, товарищ Маяковский, нам с вами не по пути. Вы бросаете театру обвинение в том, что он пренебрегает словесным материалом. Почему же вы за последние годы ни одного драматического произведения не написали?»

Маяковский на этот вопрос не ответил, так как времени на написание пьесы у него не было. Все его творческие силы в тот момент отдавались сочинению рекламы папирос: «Таис», «Посольские», «Басма» и «Селям». Закончив эту работу, он выехал на юг по маршруту: Севастополь – Ялта – Новороссийск – Владивкавказ – Тифлис.

Известно стихотворение Сергея Есенина «На Кавказе», написанное в сентябре 1924 года. В нём есть такое четверостишие:

«*Мне мил стихов российских жар –*
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он их главный штабс-маляр,
Поёт о пробках в Моссельпроме».

Уехал из страны Советов и Юрий Анненков, впоследствии написавший:

«*Я покинул Советский Союз летом 1924 года, семь месяцев спустя после смерти Ленина…*»

Хотя в Советском Союзе художник Анненков не бедствовал, являясь чуть ли не официальным портретистом большевистских вождей, в своих мемуарах он утверждал, что покинул страну Советов по политическим мотивам. В это не очень верится, так как напрашивается совсем другая версия: ОГПУ нуждалось в своих людях на Западе (таких, как Илья Эренбург, Лев Никулин, Александр Кусиков и многие, многие другие). И Юрий Анненков, надо полагать, согласился стать одним из таких гепеушных агентов. Эту версию подтверждают и некоторые загадочные его поступки в последующие годы, с которыми мы ещё встретимся.

А пока вернёмся к тогдашнему увлечению Владимира Маяковского. Даже далёкий от всех поэтических групп секретарь политбюро Борис Бажанов и тот написал о поэте:

«*Был он бесспорно талантлив. Был хамоват и циничен. Во время НЭПа сочинял для советских торговых органов за мзду рекламные лозунги*».

Юрий Анненков:

«*К несчастью, политическая страстность захватила его поэзию, заслонив поэта и заставив Маяковского, изобретательного техника, отдать своё версификационное мастерство на службу пропагандным идеям и даже «прикладному» искусству. Отсюда – прямой путь к Дяде Михею… Вы помните Дядю Михея? Дядя Михей (может быть, вы его не знали) был в своё время забавнейший стихотворец реклам, которые мы, подростки, весело запоминали наизусть:*

Как вкусна, дешева и мила
Абрикосовая пастила!
А впрочем, и прочее,
Убедитесь воочию!

Бедный Маяковский не избежал и этой участи. Вот примеры его рекламных лозунгов:

Нигде кроме,
Как в Моссельпроме!

Или:

В особенности хороши
Резинки и карандаши!

Или ещё:

Прежде чем идти к невесте,
Побывай в Резинотресте!

И так далее…»

Десять лет спустя про этого рекламного «*дядю*» вспомнил и Илья Сельвинский, написавший:

«*Дядя Михей, штатный борзописец табачного фабриканта Асмолова, писал свои рекламы не хуже Маяковского. Но буржуазия не делала из него икону, а он не смотрел на себя как на Колумба и не противопоставлял себя вследствие этого дворянам типа Пушкина*».

22 июля 1924 года в Москву из Ленинграда был привезён весь тираж отпечатанной там книги Есенина «Москва кабацкая». 24-го её сдали в магазин политкаторжан на Петровке, и она разошлась в течение месяца. В этой книге есть стихотворные строки, которые мы уже приводили:

«*Не злодей я и не грабил лесом.*
Не расстреливал несчастных по темницам».

Есенин не уточнил, в каких именно «*темницах*» шли тогда «*расстрелы*» узников «*несчастных*». Но ведомство, в темницах которого продолжали расстреливать, ещё более ожесточилось против автора этих строк.

А Корнелий Зелинский 1 августа 1924 года опубликовал статью «Поэт эпохи», посвящённую лидеру конструктивистов:

«*Илья Сельвинский… в лучших своих вещах, как например, «Улялаевщина», поднимается до подлинного эпоса эпохи…*

…это один из тех, кто родит нам современность, наше легендарное время ранней весны коммунизма».

В том же августе вышла (тиражом в 3000 экземпляров) очередная книга конструктивистов «Госплан литературы», в которой Корнелий Зелинский разъяснял:

«*«Госплан литературы» – это не «государственное планирование литературы». Госплан – это метафора особеннейшей*

черты советского строительства, это коммунистический позвоночник всей новой культуры».

Илья Сельвинский добавлял:

«*Конструктивизм – это пафос цели… Каждое стихотворение требует формы, ему одному свойственной – это основное правило моей поэзии… Конструктивизм – этап к искусству социализма. Конструктивизм – это повышенное внимание к технике*».

В книге «Госплан литературы» также писалось, что её авторы хотят «*сделать поэзию, как и высшую математику, доступной массам*». Далее сообщалось, что, поскольку «*на смену эпохе военного футуризма приходит время хозяйственно-литературного строительства*», привычная всем проза уже не годится в качестве оружия для литератора, поэтому «*стих должен бить прозу на её территории*».

Именно в тот момент Илья Сельвинский обратился к своим соратникам со словами:

«*Предлагаю всем конструктивистам общую форму: белый свитер с красной буквой «К»*».

Всё это было мощной атакой на Леф.

Маяковский отнёсся к агрессивному напору «*констров*» очень неодобрительно, сказав кратко, но образно:

«*Голое преклонение перед техникой есть закурчавливание волосиков на облысевшей голове старой поэзии*».

И ещё в самом начале августа он сочинил стихотворение, посящённое десятилетию со дня начала Первой мировой войны. Его можно было назвать небольшой поэмой, так как в нём было 276 строк (лесенкой), и оно было разбито по-сюжетно на пять частей. Поэт сетовал о колоссальных людских потерях:

«*30 / миллионов / взяли на мушку,*
в сотнях / миллионов / стенанье и вой.
Но и этот / ад / покажется погремушкой
рядом / с грядущей / готовящейся войной».

Но после этих сетований шли призывы к новой войне, которая готовилась:

«Нациям / нет / врагов наций.
Нацию / выдумал / мира враг.
Выходи / не с нацией драться,
рабочий мира, / мира батрак!

Иди, / пролетарской армией топая,
штыки / последние / атакой выставь!

«Фразы / о мире – / пустая утопия,
пока / не экспроприирован / класс капиталстов»».

Но после этих сетований шли призывы к новой войне, которая готовилась:

Маяковский вновь призывал советских людей отобрать у богатеев всё, что у них было. Иными словами, звал россиян на войну, по сравнению с которой Первая мировая должна была показаться «*погремушкой*».

В это же время в СССР нелегально объявился известный эсер-террорист Борис Викторович Савинков. Его заманили в страну гепеушники, осуществляя операцию «Синдикат-2». 16 августа Савинков и сопровождавшие его лица прибыли в Минск и были гостеприимно доставлены на «*конспиративную квартиру*», хозяина которой изображал Иосиф Казимирович Опанский, занимавший видный пост в ОГПУ Белоруссии. Все «гости» были тотчас же арестованы.

Запомним Иосифа Опанского, «*хозяина*» конспиративной квартиры, он нам встретится ещё дважды.

А Савинкова доставили в Москву и, долго не раздумывая, отдали под суд. 29 августа 1924 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. Но Президиум ЦИК СССР смягчил приговор, заменив высшую меру на 10 лет тюрьмы.

Глава вторая. Прославление большевизма

Антибольшевистский путч

Заканчивалось лето 1924 года. Брики жили на даче в Сокольниках.

Лев Никулин:

«*Там, в роще, против забора, огораживающего завод «Богатырь», стояла теперь уже не существующая дачка. Как помнится, с террасы дверь вела прямо в комнату, большую половину которой занимал бильярд*».

Аркадий Ваксберг:

«*…выбор пал на Сокольники – этот район по-прежнему считался дачной местностью. Выбор был не случайным: поблизости находилась Лефортовская тюрьма, где всё ещё томился Краснощёков. Чтобы носить ему передачи, Лиле и Луэлле не требовалось теперь преодолевать большие расстояния при помощи плохо работавшего городского транспорта*».

Положение в стране было по-прежнему очень нестабильным. В отчёте, представленном Генрихом Ягодой в Кремль, о ситуации за период с 15 мая по 15 августа говорилось:

«*Случаи недовольства рабочих… находят своё выражение в быстром росте забастовочного движения. Серьёзным фактором, ухудшающим положение рабочих, в начале августа являлся недостаток продуктов первой необходимости в кооперативах и огромные очереди за хлебом у хлебопекарен*».

Лариса Рейснер, чтобы на месте познакомиться с тем, как живут пролетарии страны Советов, отправилась в Донбасс, в шахты Горловки.

А в Грузии всеобщее людское недовольство поддержали местные меньшевики, что стало известно ГПУ. Оно отреагировало незамедлительно.

Ничего не знавший об этом Маяковский 28 августа прибыл в Тифлис. Газета «Заря Востока» заранее сообщила читателям:

«*В Тифлис из Новороссийска приехал поэт Владимир Маяковский. Следует ожидать его выступлений с новыми стихами*».

Однако никаких поэтических вечеров не состоялось. Журналист Николай Вержбицкий (тот, которого Маяковский напутствовал добрым словом на работу в Тифлисе) стал уже сотрудником газеты «Заря Востока». Отмену выступлений поэта он объяснил так:

«29 августа 1924 года в «Заре Востока» было напечатано правительственное сообщение, в котором говорилось, что «авантюристы из подпольного ЦК меньшевиков… несмотря на неоднократные заявления о том, что они отказываются от вооружённой борьбы с Советской властью, делают отчаянные попытки вооружённой рукой свергнуть рабочее-крестьянскую власть в Грузии»…

Накануне было объявлено военное положение. В ночь на 29 августа, когда я дежурил в типографии, меня вызвали к телефону, и чей-то недовольный голос сообщил:

– Нами на улице задержан без пропуска человек, который назвал себя Владимиром Маяковским. Он настаивает, чтобы о нём сообщили в редакцию товарищу Вержбицкому.

Я, не медля ни минуты, отправился в штаб.

Владимир Владимирович сидел мрачный и злой, вытянув ноги на середину комнаты, и густо дымил папиросой. На полу, возле кресла, стоял жёлтый чемодан с иностранными наклейками. Недавно Маяковский побывал в Берлине.

Что случилось?

Оказывается, поэт ночью приехал на автомобиле из Владикавказа и, увидев, что Тифлис «пуст» – на улицах нет ни одного человека и ни одного извозчика – взял чемодан на плечо и пошёл к центру города.

Его остановил патруль:

– Ваш пропуск?

– Какой такой пропуск? Я – из Москвы. Моя фамилия – Маяковский. Приехал читать стихи.

– Сейчас, гражданин, время не для стихов.

И обескураженного поэта доставили в штаб.

Документы оказались в порядке, но подозрения вызвали заграничные наклейки на чемодане. Вооружённая авантюра меньшевиков вдохновлялась Западом; кто знает, может, этот человек не кто иной, как тайный агент какого-нибудь буржуазного правительства, укравший чужой паспорт на имя жителя Москвы Владимира Маяковского?

После того, как я поговрил с дежурным по штабу и сказал, что лично знаю поэта, его отпустили со мной.

Мы вышли на тёмную улицу и направились в гостиницу «Палас», находившуюся в здании бывшей семинарии».

В гостинице, в которой предстояло поселиться поэту Маяковскому, четверть века назад учился семинарист, писавший неплохие стихи. Звали его Иосиф Джугашвили.

Тифлисские будни

Антибольшевистский мятеж в Грузии был жестоко подавлен, погибли сотни людей. За подавление этого восстания Соломон Григорьевич Могилевский, совсем недавно назначенный председателем Закавказского ГПУ, был награждён орденом Красного Знамени. Отличился в этом деле и Яков Блюмкин, о котором в книге Бориса Бажанова сказано, что он…

«*…прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания*».

Маяковский на эти события не отреагировал никак – у него были другие заботы. О них – Николай Вержбицкий:

«*Утром я застал Маяковского в больших хлопотах. Он – с бритой головой, в одних трусах – весело налаживал купленный им за границей походный душ, состоявший из резиновой лохани, резинового ведра и резиновой же кишки с кругом, надеваемым на плечи.*

– Чудесная штука! – восклицал Владимир Владимирович, пристраивая ведро где-то у самого потолка. – Верх портативности и предел удобства! Баня в кармане!

Возясь с душем, он передавал мне разные московские новости и, между прочим, сообщил, что видел в Москве только что вышедшую в свет мою книгу по истории письменности, книжного и газетного дела.

– Нужная книжка! – сказал он. – Ведь мы, пишущие люди, ни черта не знаем о полиграфии!.. Для нас изготовление книги или газеты такая же тайна, как булки для кисейных барышень, уверенных, что хлебобулочные изделия растут на деревьях.

И снова принялся что-то мастерить, на все лады расхваливая своё «чудо портативности».

Однако утреннее омовение у него не состоялось: оторвался резиновый круг, и его нечем было прикрепить.

– Возмутительно! – гремел Маяковский, крупно шагая по номеру и на каком-то грузинском диалекте отчитывая коридорного, а вместе с ним и всю гостиничную администрацию, у которой не оказалось ни проволоки, ни клещей, ни даже молотка. – Безоружны! Беззаботны! Баре! А зайдите в любую рабочую семью, там всё под рукой: и клей, и гвозди, и плоскогубцы, и напильник… Уж там не побегут к соседям выклянчивать верёвочку!»

В воспоминаниях Вержбицкого рассказывается и о том, что он встретил в Тифлисе Есенина, который выехал из Москвы 3 сентября, а 7-го был в Баку. Там он остановился в гостинице «Новая Европа», где встретил своего друга Якова Блюмкина, который, по словам того же Николая Вержбицкого…

«*…стал бешено ревновать поэта к своей жене. Дошло до того, что он стал угрожать револьвером*».

Блюмкин, правда, не стрелял, но…

«*…поднял на Есенина оружие, что и послужило поводом для скорого отъезда поэта в Тифлис в начале сентября 1924 года*».

Вот тогда-то с ним и встретился Николай Вержбицкий и свёл Сергея Александровича с Владимиром Владимировичем.

«*…они начали говорить о заграница, где оба побывали совсем недавно. Почему-то, не помню, разговор зашёл об иностранной рекламе, и Маяковский с досадой признался, что купленный им в Берлине и так здорово разрекламированный комнатный душ совершенно отказался действовать.*

Есенин слушал, сочувственно кивая головой, а потом сказал:

– Послушайте, Владимир Владимирович, да стоит ли волноваться? Вам хочется приятных омовений? Но ведь мы же находимся в городе, который, как я слыхал, на весь мир знаменит своими серными ваннами! Плюньте на патентованные души и – айда в баню!

Это заявление буквально ошеломило Маяковского. Он, будто сражённый, упал в кресло и в шутливом отчаянии заявил, что «убит, уничтожен, опозорен на всю жизнь!»

– Ну, как же это я – грузин, и вдруг забыл такую самоочевидную вещь? – кричал он. – Конечно, сейчас же, сейчас же на фаэтон и – к Орбелиани! (Лучшая серная баня того времени)…

Выйдя из бани, мы отправились на Пушкинскую в подвальчик «Симпатия»».

Матвей Ройзман, какое-то время работавший в федерации советских писателей, высказал большое сомнение относительно встречи двух поэтов в Тифлисе в 1924 году:

«*Как-то Владимир Владимирович зашёл в федерацию, чтобы утвердить фамилии выступающих поэтов. Я завёл с ним разговор о Есенине и спросил, не приходилось ли Маяковскому слышать о «Вольнодумце». Оказывается, Сергей не говорил ему об этом.*

– Может быть, у вас с ним был разговор в Тифлисе?

– Мы встретились там один раз мимоходом, Матвей, – ответил он. – О «Вольнодумце» не говорили».

И Ройзман сделал из этого вывод:

«*Между прочим, этот ответ Владимира Владимировича рисует в странном свете утверждение Н. Вержбицкого о том, что он с Есениным и Маяковским ходили в тифлисские серные бани, в подвальчик «Симпатия», на гору Давида (Мтацминда), что Маяковский с Есениным разговаривали о заграница, спорили о поэзии, и за одну остроту Сергея Владимир Владимирович его расцеловал*».

Сергей Есенин в Тифлисе, 1924 г.

Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Маяковский уехал из Тифлиса 6 сентября, а Есенин приехал в Тифлис 9-го. Так что, действительно, они вряд ли могли там встретиться и посещать серные бани. Встрече, о которой Владимир Владимирович говорил Ройзману («*один раз мимоходом*»), подтверждений тоже обнаружить не удалось.

Скорее всего, Вержбицкий нафантазировал всё это, опираясь на стихотворение Маяковского «Владикавказ – Тифлис», опубликованное 3 сентября в газете «Заря Востока»:

> «*Только / нога / ступила в Кавказ,*
> *я вспомнил, / что я – / грузин…*
> *Да, / я грузин, / но не старенькой нации,*
> *забитой в ущелье это.*
> *Я – / равный товарищ / одной Федерации*
> *грядущего мира Советов*».

Советскому литературоведу Виктору Андронниковичу Мануйлову в 1924-ом был 21 год, он учился в Бакинском университете и встречался с Есениным, который ему говорил:

«*Про Маяковского что скажешь? Писать он умеет – это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядку нет, вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у Маяковского всё как после землетрясения…*»

4 сентября Маяковский вёл в Тифлисе переговоры с Котэ Александровичем Марджанишвили, главным режиссёром тетара имени Руставели, о постановке «Мистерии-буфф» на горе Давида (Мтацминда).

Примерно в это же время Владимир Владимирович мог узнать новость об имажинистах – ещё 31 августа в газете «Правда» было напечатано письмо, подписанное Сергеем Есениным и Иваном Грузиновым:

«*Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа «имажинисты» в доселе известном составе объявляется нами распущенной*».

Московские будни

Вернувшись в Москву и развернув 35-й номер журнала «Новый зритель», Владимир Маяковский увидел ответное письмо имажинистов Есенину, объявившему вместе с Грузиновым о роспуске их группы:

«*Есенин в нашем представлении безнадёжно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков…*

Таким образом, «роспуск» имажинизма является лишь лишним доказательством распущенности Есенина».

Под письмом стояли подписи Рюрика Ивнева, Анатолия Мариенгофа, Матвея Ройзмана, Вадима Шершеневича и Николая Эрдмана.

Как потом выяснилось, ни Ивнев, ни Ройзман, ни Шершеневич, ни Эрдман этого письма не подписывали – его написал и подписал один Мариенгоф.

Прочтя письмо своих бывших коллег, Есенин, по словам Матвея Ройзмана, очень огорчился:

«*– Мариенгоф хотел осрамить меня, как мальчишку! – сказал он тихо, и в его голосе появилась хрипота*».

А конструктивисты в это время при любом удобном случае любили повторять «*афоризм*» своего лидера Ильи Сельвинского:

«*Если поэта слушает масса – он вождь, но если она слушает его как вождя, он не поэт*».

14 сентября 1924 года украинская газета «Вісти ВУЦВК і

ХГВК» опубликовала заметку Корнелия Зелинского, которая называлась «Литературная Москва». В ней говорилось:

«*«Леф» (межгрупповое объединение футуристов, конструктивистов и иных организаций) собирает вокруг себя самую радикальную революционную интеллигенцию… «Леф» – это Маяковский, И. Сельвинский, Н. Асеев, И. Бабин и другие. В хвосте «Лефа» тянется группа «заумников» – А. Кручёных, В. Каменский. Эта группа, в соответствии с программой «Лефа», подвизается у них на ролях лаборантов и подмастерьев*».

Как видим, конструктивисты тогда ещё дружили с лефовцами, вместе работали.

Другой не менее интересный факт: дачу в Сокольниках Маяковский посещал крайне редко, хотя целая комната там была отведена ему. Почему? Аркадий Ваксберг дал этому такое объяснение:

«*…лефортовское соседство всё время напоминало о том человеке, с которым ему выпал печальный жребий делить место в Лилином сердце*».

Любопытно отреагировал Александр Михайлов на комментарии Бенгта Янгфельдта о тогдашних взаимоотношениях Маяковского, Лили Брик и Осипа Брика:

«*И совсем умиляет такой пассаж из размышлений Янгфельдта: «Л. Ю. рассказывала нам, что все трое старались устраивать свою жизнь так, чтобы они всегда могли ночевать дома, независимо от других отношений; утро и вечер принадлежали им, что бы ни происходило днём».*

Мы, конечно, не будем гадать, что могло происходить днём, возможно, Л. Ю. не посвятила в эти подробности своего собеседника, не будем также перенапрягать воображение догадками, почему всеми тремя был избран такой необычный распорядок дня… Эксперимент так эксперимент. Во всём! Вернёмся к простому, но сокрытому от внешних наблюдений быту».

Маяковский тем временем готовился к очередному зарубежному вояжу.

Пётр Незнамов писал:

«*Жизнь из него била ключом, он везде успевал в эти годы и, несмотря на то, что много ездил, по верному замечанию Льва Никулина «был неотделим от московского пейзажа». Он выступал в Политехническом, в Доме печати, в Большом зале Консерватории, в крупнейших клубах*».

И добавим: писал одну поэму за другой.

Поэмы о комиссарах

20 сентября Есенин вернулся из Тифлиса в Баку. Там его начал опекать второй секретарь ЦК компартии Азербайджана Пётр Иванович Чагин (второй в республике человек после Сергея Мироновича Кирова), бывший по совместительству ещё и редактором газеты «Бакинский рабочий». Вот его воспоминания о той поре:

«*…я пожурил Есенина за то, что он так поздно приехал, ведь 20 сентября – священный для бакинцев день памяти 26 комиссаров. И если бы приехал дня на два раньше, он мог бы дать в юбилейный номер стихи. Есенин ещё в Москве признавался мне, что тема гибели 26 комиссаров волнует его.*

Быстро договорились поправить дело и поместить есенинские стихи по горячему следу в ближайшем номере газеты. Но их ещё нет в природе. Как же быть?

Я вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах. Недостатка в них в Баку не было… Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моём редакторском кабинете.

Под утро приезжаю в редакцию и вижу: стихи «Баллада о двадцати шести» на столе… В ближайшем номере от 22 сентября «Баллада о двадцати шести» была напечатана в «Бакинском рабочем»».

В этой поэме запоминались слова, славившие коммунизм и коммисаров:

«*Коммунизм – / Знамя всех свобод.*
Ураганом / Вскипел народ.
На империю встали / В ряд
И крестьянин / И пролетариат.
Там, в России, / Дворянский бич.
Был наш строгий отец / Ильич.
А на Востоке, / Здесь
26 их было, / 26».

Есенин в тот момент продолжал рваться в Персию, о которой ему столько раз и очень красочно рассказывал Яков Блюмкин. О том, как отнеслись к этому желанию поэта бакинские власти – Илья Шнейдер:

«*Баку действительно всё сделал, чтобы поездка эта осуществилась, но С. М. Киров, возглавлявший тогда ЦК Азербайджана, отсоветовал Есенину ехать. Говорили, что Сергей Миронович сказал Есенину: «В Европе возле вас был близкий человек, а тут вы будете один…» – и упомянул о трагическом конце Грибоедова в Персии*».

И в Персию Сергей Есенин не поехал.

А через месяц (20 октября) тифлисская газета «Заря Востока» опубликовала стихотворение Маяковского о тех же двадцати шести. Начиналось оно так:

«Гулом восстаний, / на эхо помноженным,
об этом дадут / настоящий стих,
а я / лишь то, / что сегодня можно,
скажу / о деле 26-ти».

Стихотворение состояло из семи небольших главок, в которых рассказывалась история расстрела двадцати шести Бакинских комиссаров. Завершался рассказ предсказанием, сколько в грядущем будет на Кавказе комиссаров:

«*Вчера – / 20. / Сегодня – 100.*
Завтра / миллионом станем!
Вставай! / Подымись, трудовой Восток,
единым / красным станом!»

Поэт-лефовец Николай Асеев в 1924 году тоже откликнулся на это событие, написав поэму «Двадцать шесть», которую искусствоведы до сих пор считают «*типичным примером агитационной лирики в стиле Маяковского*».

В октябре на обложке двадцать первого номера журнала «Красный перец» был помещён рекламный фотомонтаж художника Николая Куприянова, сопровождавшийся текстом Владимира Маяковского:

«*Товарищи! / Нет ничего проще,*
чем достать жилую площадь.
Чтобы каждый зажил в жилище своём –
покупай / жилищно-строительный заём!»

Обратим внимание, что писал эти строки человек, чья «*семья*» продолжала очень сильно нуждаться в жилплощади.

Той же осенью Владимир Маяковский закончил сочинять поэму, которая казалась ему тогда очень важной и наиболее значимой для страны Советов. 3 октября он заключил на неё договор с Госиздатом.

А Корнелий Зелинский опубликовал статью «Конструктивисты-поэты», в которой вновь написал об их дружбе с лефовцами:

«Группа вступила в соглашение с «Лефом». Руководители группы Корнелий Зелинский и Илья Сельвинский примут участие в редакционной работе «Лефа»».

Поэма о вожде

Ещё летом 1924 года Сергей Есенин напечатал небольшое стихотворение «Ленин» (отрывок из так и не появившейся поэмы «Гуляй-поле»), где были бравшие за душу слова:

«Ещё закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой ямами копыт
Изрыты пастбища и долы…

Всё спуталось… Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнём и саблями сверкая
Междоусобный рвёт раздор».

Так точно, так образно и так пронзительно, пожалуй, больше никому не удавалось описать то, что произошло с Россией после октября 1917 года. К этому описанию Есенин добавил и облик «*сурового гения*» – Ленина, «*с лысиною, как поднос*». Стих завершался словами:

«Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь: / «Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
Ещё суровей и угрюмей

Они творят его дела».

Даже в наши дни, читая эти строки, удивляешься, как ***такое*** могла пропустить большевистская цензура? Впрочем, одно четверостишие из этого стихотворения к печати всё-таки не допустили:

«*Учёный бунтовщик, он в кепи,*
Вскормлённый духом чуждых стран,
С лицом киргиз-кайсыцкой степи
Глядит, как русский хулиган».

А вот что написал об умершем вожде Борис Бажанов:

«*Когда я начал знакомиться с настоящими материалами о настоящем Ленине, меня поразила его общая черта со Сталиным: у обоих была маниакальная жажда власти. Всю деятельность Ленина пронизывает красной нитью лейтмотив: «во что бы то ни стало прийти к власти, во что бы то ни стало у власти удержаться»…*

Я пытался установить для себя, каков моральный облик Ленина, не того «исторического», «великого» Ленина, каким изображает его всякая марксистская пропаганда, а того, каким он был на самом деле. По самым подлинным и аутентичным материалам я должен был констатировать, что моральный уровень его был очень невысок. До революции лидер небольшой крайне революционной секты, в постоянных интригах, грызне и ругани с другими такими же сектами, в не очень красивой беспрерывной борьбе за кассу, подачки братских социалистических партий и буржуазных благодетелей, овладение маленьким журнальчиком, изгнание и задушение соперников, не брезговавший никакими средствами, он вызывал отвращение Троцкого, кстати, морально более чистого и порядочного…

Но величие Ленина? Тут я был осторожен. Известно, что когда один человек убьёт и ограбит свою жертву, он – преступник. Но когда одному человеку удастся ограбить всю страну и убить десять миллионов человек, он – великая и легендарная историческая фигура».

О таком большевистском вожде (великом и легендарном) и написал свою поэму Маяковский. В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» о ней сказано:

«*До окончания поэмы никаких отрывков из неё и даже сведений, что Маяковский над ней работает, в печати не появлялось».*

12 сентября 1924 года газета «Заря Востока» напечатала

статью Николая Асеева, в которой сравнивались оба созданных произведения о вожде большевиков:

«*Из стихов очень интересна поэма В. Маяковского. Тот же сюжет, взятый С. Есениным, наряду с сильнейшей и вместе с тем ясной трактовкой его Маяковским, выглядит пёстро раскрашенной кустарщиной рядом со стальной выверенной моделью*».

Здесь чувствуется, что Асеев тоже подключился к тем, кто «*давил*» на Есенина, разнося в пух и прах всё им написанное.

Что же касается той таинственности, что окружала процесс создания поэмы Маяковским, то он (в автобиографических заметках «Я сам») дал такое объяснение:

«*Я очень боялся этой поэмы, так как легко было скатиться до простого политического пересказа*».

Первая читка состоялась 11 октября в редакции газеты «Рабочая Москва». На следующий день читателей оповестили:

«*Вчера… в кругу сотрудников тов. Маяковский читал свою новую поэму «Владимир Ильич Ленин». Поэма посвящается Российской Коммунистической партии. Слушается она с исключительным интересом, производит сильное впечатление. Отдельные отрывки поэмы будут помещены в нашей газете*».

Начиналась поэма так:

> «*Время – / начинаю / про Ленина рассказ.*
> *Но не потому, / что горя / нету более,*
> *время / потому, / что резкая тоска*
> *стала ясною / осознанною болью.*
>
> *Время, / снова / ленинские лозунги развихрь.*
> *Нам ли / растекаться / слёзной лужею, –*
> *Ленин / и теперь / живее всех живых.*
> *Наше знанье – / сила / и оружие*».

13 октября «Вечерняя Москва» тоже высказалась о новой поэме:

«*В ней с большой силой даны изображения капитализма, постепенно нарастающей борьбы пролетариата, революции Февральская и Октябрьская, работа и роль великого Ильича. Последняя часть поэмы посвящена смерти Ленина. Отдельные отрывки поэмы будут помещены в нашей газете*».

Вот строки из поэмы, наиболее часто цитировавшиеся в советские времена:

> «*Слова / у нас / до важного самого*
> *в привычку входят, / ветшают, как платье.*

Хочу / сиять заставить заново
величественнейшее слово / «ПАРТИЯ».

Газета «Известия»:

«*Поэма разделена на несколько частей: отношение автора к теме, пролог, рождение Ленина, его жизнь и смерть… Путь Ленина служит как бы великим фоном, где иногда близко, до боли, проступают черты живого Ленина, простого и родного, товарища и вождя*».

Вот строки, которые в советские времена полагалось заучивать наизусть:

«*Партия и Ленин – / близнецы-братья –*
кто более / матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин, / подразумеваем – / партия,
мы говорим / партия, / подразумеваем – / Ленин».

Журнал «Жизнь искусства»:

«*Маяковский закончил большую поэму о Ленине. Эта поэма по грандиозности замысла и по силе охвата темы превосходит всё раньше им написанное. Поэма будет печататься в «Лефе»*».

Вот строки, которые в советское время знали все:

«*Если бы / выставить в музее*
плачущего большевика,
весь день бы / в музее / торчали ротозеи.
Ещё бы – / такое / не увидишь и в века!»

А поэт Алексей Ганин в октябре 1924 года был занят составлением тезисов о том, какой стала жизнь в его родной стране:

«*При существующей государственной системе в России Россия, это могущественное государство, обладающее неизбывными естественными богатствами и творческими силами народа, вот уже несколько лет находится в состоянии смертельной агонии.*

Ясный дух народа предательски ослеплён. Святыни его растоптаны, богатства его разграблены. Всякий, кто не потерял ещё голову и сохранил человеческую совесть, с ужасом ведёт счёт великим бедствиям и страданиям народа в целом…

Вполне отвечая за свои слова перед судом всех честно мыслящих людей и перед судом истории, мы категорически

утверждаем, что в лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинственную секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таятся смерть и разрушения, разрушения и смерть…»

«*Читки*» поэмы

Маяковский читал своего «Ленина» в Кремле – на квартирах проживавших там Валериана Владимировича Куйбышева и Анатолия Васильевича Луначарского. О том, как проходила вторая читка, рассказала Наталья Розенель, жена наркома. Обратим внимание, кого привёл с собой поэт! С ним был и идеолог махновщины Иуда Рощин-Гроссман, и финансовый директор РОСТА Лев Гринкруг, и Борис Малкин, собиравший от имени первого советского правительства петроградских интеллигентов в Смольном в ноябре 1917-го (Наталья Розенель перечислила не всех):

«*Встреча была назначена на одиннадцать часов вечера…*

С ним пришла довольно большая компания: Сергей Третьяков, Гроссман-Рощин, Л.Ю. и О. М. Брики, Малкин, Штеренберг и ещё несколько человек…

Все уселись тесным кружком.

Ленин… Его ранюю смерть Луначарский пережил так недавно, всего весемь месяцев назад. Я следила за лицом Анатолия Васильевича, и во время чтения строк о плачущих большевиках я увидела, как вдруг запотели стёкла пенсне Анатолия Васильевича.

Когда чтение Маяковского кончилось, наступило минутное молчание, которое для автора бывает более ценным, чем любые овации…

И вдруг сверху, с галереи, раздались бурные аплодисменты и возгласы: «Спасибо! Спасибо, Владимир Владимирович!» Оказалось, что у моей младшей сестры, в её комнате на антресолях собралась театральная молодёжь. Они тихонько пробрались на галерею и, затаив дыхание, слушали, а затем, увлёкшись, выдали своё присутствие аплодисментами.

Это вторжение незваных слушателей, такое непосредственное и искреннее, произвело на всех, особенно на Маяковского, самое хорошее впечатление. Он поднялся по лесенке на галерею и за руки притащил «зайцев» вниз».

О читке в более массовой аудитории – в Коммунистическом

университете имени Свердлова – в воспоминаниях Луэллы Краснощёковой:

«*На первое чтение «Ленина» в институте имени Свердлова Володя взял меня. Я помню небольшой зал-амфитеатр, напряжённую внимательность аудитории и совершенно необычную для выступления Маяковского «учебную» тишину. Успех был необычайный. После тишины, при которой он читал, был взрыв аплодисментов и восторженный шум*».

18 октября поэма читалась в московском Доме печати. Корнелий Зелинский:

«*В эти дни в Доме печати происходила какая-то конференция редакторов и секретарей губернских и уездных газет…*

На помосте стоял один небольшой стол со стаканом воды, рядом – стул…

Маяковский вышел с трубкой своей рукописи в руках, сел на стул. Разложил машинописную рукопись на столе, строго, без улыбки, посмотрел в глаза собравшимся, ожидая, когда всё стихнет.

Большинство сидевших в зале были коммунисты, к тому же люди, приехавшие с будничной партийной работы из далёких уголков России. Большинство впервые видело Маяковского, хотя, конечно, все слышали о нём.

Маяковский без какого-либо предисловия, как только утихомирился зал, раздельно и спокойно прочёл название: «Владимир Ильич Ленин». И потом, после маленькой паузы, сильно и смело:

– Российской Коммунистической партии посвящаю».

Тогда совсем ещё молодой журналист Анатолий Гудимов, тоже оказавшийся слушателем поэта, написал:

«*Стояла необыкновенно мягкая для второй половины октября 1924 г. погода, окна концертного зала Дома Печати были распахнуты настежь, и в зал то и дело врывался грохот проходившего по бульвару трамвая. Он на мгновение приглушал гудящий, как набат, голос Маяковского, в первый раз читавшего свою поэму «В. И. Ленин»*».

Корнелий Зелинский:

«*Начальные строки поэмы Маяковский произнёс в тоне эпически-летописного сказания: «Время – начинаю про Ленина рассказ». Но потом эпическая интонация сменилась интонацией личной, лирической, выдающей глубоко запрятанное переживание. Это был рассказ поэта о том, как он, поэт, относится к Ленину, как он его понимает, и что Ленин значил в жизни Маяковского.*

И я увидел, как вот это личное признание, почти страница из дневника, сразу приковало внимание аудитории».

Анатолий Гудимов:

«*Зал был полон. На стульях и в креслах сидели по двое, по трое, стояли в проходах, у стен. И всё же, когда по рядам чуть слышно прошелестело: «Рейснер!» – и в зал вошла молодая красивая женщина, люди расступились, образовав узенький коридорчик. Она прошла по нему и остановилась около меня, быстро окинула взглядом зал, ища свободное место или знакомых, затем оглянулась, присела на подлокотник моего деревянного кресла. Я хотел встать и уступить ей место, но она прижала меня рукой, не давая подняться, и спросила:*

– Давно?

– Только начал, – застенчиво буркнул я.

Сердце моё разрывалось от счастья, я слышал поэта, и рядом со мной сидела женщина, журналистка, вся жизнь которой для меня, рабкора, имевшего на своём счету три заметки в «Правде», была предметом затаённой зависти».

Корнелий Зелинский:

«*Вся средняя часть поэмы, в которой Маяковский рисует Ленина на фоне истории рабочего движения, слушалось более затруднённо. Некоторые просили Маяковского читать помедленнее…*

Горячими, искренними аплодисментами покрыли слушатели заключительные строки поэмы.

Маяковский отошёл к столику и тут же чуть дрожащими руками стал разбирать обычную груду записок. Против своего обыкновения он не отвечал на них. Но выудил одну, по-видимому, наиболее его задевшую и пробасил:

– Вот тут один товарищ спрашивает, почему я написал в стихах политграмоту. Отвечаю: для науки тем, кто политграмоте до сих пор не выучился.

В зале раздались возмущённые голоса:

– Что это за хамство так спрашивать и т. п.?

Но Маяковский остановил своих эмоциональных защитников, сказав, что вопрос вполне законный. Он сам, когда писал, всё время думал о том, чтобы не впасть в голую публицистику. Поэзия есть поэзия:

– Я эту поэму писал, оставаясь поэтом. Очень было трудно, товарищи, – сказал Маяковский редакторам тоном человека, словно объясняющего своё теперешнее состояние».

21 октября происходила читка партийному активу Москвы в Красном зале МК РКП(б). Газета «Рабочая Москва» на следующий день написала:

«*Поэма была встречена дружными аплодисментами всего зала. В открывшихся прениях ряд товарищей указывал на*

недостаточную популярность поэмы для широких народных масс, указывалось на излишнюю публицистичность поэмы, на слабость отдельных глав, в частности, пролога. Ряд товарищей говорил, что это сильнейшее из того, что написано о Ленине. Огромное большинство выступавших сошлось на одном, что поэма вполне наша, что своей поэмой Маяковский сделал большое пролетарское дело.

После прений Маяковский метко отвечал оппонентам. В частности, Маяковский указывает, что он своей поэмой хотел дать сильную фигуру Ленина на фоне всей истории революции, – а не размазывать, не давать интеллигентские эстетские образы, как требовал ряд оппонентов».

Конструктивисты откликнулись на поэму Маяковского ехидной усмешкой. Илья Сельвинский написал, что в ней «*обнаружены нелегально проживающие конструктивистские приёмы*» (имелись в виду «*локальный метод*» и «*тактовый стих*»). Кроме того, Сельвинский с иронией добавил, что в поэме найден ещё один плагиат:

«*Полагают, будто после примирения Маяковского с Пушкиным первый приносит свои извинения Лермонтовым – ибо как иначе объяснить риторические вопросительные знаки:*

«Что он сделал, кто он и откуда –
этот самый человечный человек?»

Или:

«И Колонный зал дрожит, насквозь прохожен.
Почему? Зачем и отчего?»

Вскоре при встрече Маяковского и Сельвинского между ними состоялся разговор, о котором поэт-конструктивист потом написал:

«*Маяковский. – Сегодня самое высокое произведение искусства – агитка.*

– Для вас самое высокое, потому что эпос и трагедия вам не даются.

Маяковский. – Моя поэма «Ленин» – это самый настоящий эпос!

– Ваша поэма – это «Я и Ленин», а я хочу Ленина без вашего «я».

Маяковский. – Вы и поэзию хотите без моего «я»?

– Маяковского я очень люблю.

Маяковский. – Когда любят, ведут себя иначе».

Маяковский на все критические замечания о его поэме внимания не обращал, написав в автобиографических записках:

«*Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях… Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы*».

Осенью 1924 года в одном из российских сёл был убит сельский корреспондент Г. Малиновский. Газеты сообщали читателям о суде над кулаками, якобы застрелившими молодого человека. Маяковский откликнулся на эти события стихотворением «Селькор», которое завершали строки, обращённые к сельским корреспондентам:

«*Враг богат, / изворотлив / и ловок,*
но не носить нам / его оков.
Ваш карандаш / вернее винтовок,
бьёт / и пронзает / лучше штыков».

Вскоре были написаны два стихотворения, названные одинаково – «Рабкор». В них поэт обращался к рабочим корреспондентам с тем же призывом:

«*Вперёд, рабкоры! / Лозунг рабкорин:*
– Пишите в упор! / – Смотрите в корень!»

Иными словами, пишущий люд приравнивался к гепеушникам, которые якобы смотрели в корень и в упор расстреливали всех, кто был приговорён (ими же) к смертной казни.

Между тем стремительно приближалось время очередного зарубежного вояжа.

Пятая «*ездка*»

22 октября 1924 года газета «Вечерняя Москва» оповестила читателей:

«*В. В. Маяковский в ближайшее время уезжает в кругосветное путешествие*».

23 октября нарком Луначарский направил официальную бумагу (прошение) в административно-хозяйственный отдел ВСНХ:

«*Поэт Маяковский отправляется за границу в качестве корреспондента и для научной работы. Наркомпрос просит на*

время его отъезда оставить за ним его комнату (Лубянский пр., 3, кв. 12), где находятся его работы и рукописи».

Какой именно «*научной работой*» собирался заняться за рубежом поэт-лефовец, Луначарский, к сожалению, не уточнил. Скорее всего, это было зашифрованное обозначение тех особых поручений, которые «*командированному корреспонденту*» дали на Лубянке. Кроме того, у Маяковского на руках были два других сопроводительных письма, подписанных Луначарским ещё 27 мая.

24 октября поэт приехал на Виндавский вокзал и сел в международный вагон. Соседнее с Владимиром Владимировичем купе занимали советские дипкурьеры, ехавшие в Ригу и Берлин. Одного из дипкурьеров звали Теодор Иванович Нетте.

На этот раз Маяковский ехал один (без Лили Юрьевны и без Осипа Максимовича).

Какое дело позвало его в дорогу на этот раз?

В «Я сам» (в главке «*24-й ГОД*») сказано:

«*Много езжу за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с ещё непролазной бывшей Россией – всегдашняя идея футуриста-лефовца*».

О том же самом Бенгт Янгфельдт написал немного по-другому:

«*Он явно стремился прочь из Москвы, от отношений, которые хоть и не были прерваны, но в корне переменились*».

Аркадий Ваксберг:

«*Он сам не знал, зачем поехал, метался, ему хотелось и не хотелось назад. Даже при находившемся в тюрьме Краснощёкове он чувствовал себя «третьим лишним»*».

И снова Янгфельдт:

«*Он бежал из Москвы от Лили и Краснощёкова, рассчитывая на долгое отсутствие*».

Лили Брик тоже оставила воспоминания о той поре:

«*Мы собирались поехать из Сокольников вместе, но я только что встала после перитонита и даже не могла проводить его на вокзал*».

Как видим, не очень просто установить, что было на самом деле. Ясно одно – Маяковский уезжал, пребывая не в лучшем настроении.

Конечно, проще простого свалить всё на расстроенные чувства человека, которого предпочли другому. Метущийся стихотворец, не знающий, как и чем загасить свою обиду, подобен Чацкому, который, как известно, отправился «*искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок*». Но то, что мог позволить себе в царской России дворянин Чацкий, было недоступно

гражданам Советского Союза, включая и дворянина Маяковского. Ведь просто так обитателям страны Советов колесить «*по свету*» не дозволялось. Для того чтобы совершить подобную поездку, надо было иметь весьма веские основания. Поэтому вопрос, зачем Маяковский поехал за границу, будет возникать снова и снова. Не случайно же биографы поэта назвали его вояж за границу осенью 1924 года странным и загадочным.

Аркадий Ваксберг:

«*История крайне таинственная*».

Бенгт Янгфельдт, также обративший внимание на эту «*таинственность*», написал, что в день, когда поэт покидал Москву…

«*Луначарский, вечный ангел-хранитель Маяковского, написал письмо в административно-хозяйственный отдел Совнаркома, в котором просит оставить за Маяковским комнату в Лубянском проезде во время его пребывания за границей. Угроза выселения висела над ним постоянно*».

Поэт-лефовец, которого обычные загранпоездки (с пребыванием только в одной стране) уже не удовлетворяли, и который рвался совершить кругосветный вояж, вряд ли нуждался в «*охранной*» грамоте на своё жильё. Скорее всего, это была очередная гепеушная «утка», запущенная для того, чтобы ещё надёжнее прикрыть сотрудничество поэта с чрезвычайным ведомством. Не случайно же он вёз в Париж и другое письмо Луначарского – то самое, в котором утверждалось о необыкновенной талантливости его подателя. Что же касается комнаты Маяковского, которую нарком просил ему сохранить, то дом, где она находилась, принадлежал Высшему Совету Народного Хозяйства, а этот Совет с февраля 1924 года возглавлял Феликс Эдмундович Дзержинский, глава ОГПУ. Круг, таким образом, замкнулся!

А какими «*делами*» занималось тогда Объединённое Главное Политическое Управление?

«Орден фашистов»

Осенью 1924 года (явно по совету Владимира Джунковского или по предложению каких-то других инициативных чекистов) ОГПУ начало устраивать пирушки среди писателей, поэтов, художников и артистов. Вино лилось рекой, и сексоты-гепеушники распрашивали захмелевших интеллигентов, что могут они сказать о «*плохих*» большевиках, совершающих неверные «*загибы*» и «*перегибы*». Ответы тут же фиксировались.

Те, кто раскручивал на Лубянке «*дело четырёх поэтов*»,

связанное с пивным инцидентом, заказали (как мы предположили) журналисту Михаилу Кольцову фельетон, который 30 декабря 1923 года на первой своей странице опубликовала газета «Правда». Кольцов напомнил читателям:

«*В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство; в московской пивной организовано национальное объединение «Россияне». Давайте, будем грубы и нечутки, заявим, что это одно и то же*».

И автор фельетона призвал:

«*Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу*».

Претворить этот призыв в жизнь вполне можно было, разгромив «Орден русских фашистов», который и организовали сотрудники Лубянки – для заманивания в него московских интеллигентов. В слове «*фашизм*» тогда ещё не было ничего особо негативного – «*фашисты*» воспринимались как члены какой-то очередной поэтической группы (по аналогии с «*футуризмом*» и «*футуристами*», «*имажинизмом*» и «*имажинистами*», «*конструктивизмом*» и «*конструктивистами*»). В этот «Орден» стали привлекать молодых московских поэтов, а среди них – младших братьев Василия Чекрыгина (соученика Маяковского по Училищу живописи, ваяния и зодчества), поэтов: 23-летнего Петра и 22-летнего Николая и 31-летнего Алексея Ганина.

Гепеушникам (от друзей-собутыльников Ганина) давно уже было известно о его взглядах, и поэту поступило предложение (якобы от жившего в Париже князя Вяземского): написать статью для публикации её в одном их журналов, издававшихся во Франции. Ничего не подозревавший Ганин статью написал и отдал её для отправки за границу.

В первых числах сентября 1924 года на одном из гульбищ, устроенных сотрудниками Лубянки, у Ганина (после рюмки-другой) спросили, не может ли он назвать состав правительства, которое управляло бы страной лучше большевистского Совнаркома. Алексей не только назвал, но и написал фамилии членов такого правительства. Пост наркома по просвещению в его списке занимал Сергей Есенин, который (он тоже участвовал в той пирушке) тут же потребовал вычеркнуть его. Ганин вычеркнул и поставил вместо него молодого поэта Ивана Приблудного (Якова Петровича Овчаренко).

Благоволившие к Есенину гепеушники тотчас подсказали ему, чем этот инцидент может завершиться, и посоветовали поскорее Москву покинуть. И 3 сентября поэт сел в первый же поезд, отправлявшийся в Баку.

А попавшийся на гепеушный крючок Алексей Ганин неожиданно получил работу – его взяли (чекисты дали «*добро*»)

на небольшую должность в акционерное общество «Хлебопродукт», и он стал, наконец, получать зарплату.

О другом поэте, ленинградце Василии Князеве – в книге Виктора Кузнецова:

«*Прослеживается связь Князева с чекистами-сексотами и даже непосредственно с ведомством ГПУ. 1 ноября 1924 года на заседании бюро коллектива 3-го Ленинградского полка войск ГПУ рассматривалось его заявление о восстановлении в партии (очевидно, как лицо «свободной профессии» он стоял на учёте в этом полку). В тот день парторг Василий Егоров просьбу Князева отклонил – «в виду его неразвитости» и потери связи с организацией с 1922 года. Удивляться такой резкой оценке «горлана-главаря» не следует, он самоучка, умел лишь бойко слагать звонкие рифмы, книг же читать не любил. Прижимистый в деньгах, подолгу не платил партвзносов. Из протоколов собраний сотрудников «Красной газеты», где он печатался, известно, что в феврале-августе 1924 года (полгода) сей зиновьевский певчий не заплатил в партийную кассу ни копейки, хотя только в феврале того же года его заработок составил 259 рублей 68 копеек, а это месячный оклад советского чина губернского масштаба*».

1 ноября 1924 года ОГПУ начало аресты в Москве. Ордера на задержание подписал Генрих Ягода. Гепеушный отчёт о первых задержаниях, составленный уполномоченным 7 отдела СО ОГПУ Георгием Врачёвым и его начальником Абрамом Словатинским опубликован. Вот выдержки из него:

«*1 ноября 1924 года ответственные сотрудники ОГПУ товарищи Беленький, Агранов, Словатинский, Якубенко и другие, законно явившись на квартиру Чекрыгиных, застали там пьяную компанию поэтов, литераторов, проституток. Был предъявлен ордер на право ареста Чекрыгиных и у присутствующих спросили документы. В ответ на предложение сотрудников некоторые из пьяной компании бросились в драку, нанеся трём сотрудникам побои*».

Поэта Алексея Ганина арестовали на следующий день. Он потом написал в показаниях:

«*В день ареста (накануне я получил семьдесят рублей в Хлебопродукте жалования) я ходил покупать пальто на Смоленский рынок. Пальто не купил… и пошёл просто обедать, где подешевле, то есть в «Рабочую газету»*».

Пообедавшего Ганина арестовали на выходе. Во время задержания листки с его тезисами («Мир и свободный труд народам») были подсунуты ему в карман, а затем торжественно извлечены при обыске в ГПУ.

Аресты продолжились.

Матвей Ройзман, зафиксировавший эту ситуацию в своих воспоминаниях, писал о ней как-то вскользь, без особых комментариев:

«*Каково же было моё удивление, когда… я узнал, что… вся компания, одно время сидевшая с Сергеем за столиком, арестована в связи с раскрытием заговора «Белого центра» и выслана в Соловки*».

От ареста до высылок в концлагерь в ту пору проходило, как правило, несколько месяцев. А об аресте «*всей компании*» Ройзман узнал, надо полагать, сразу же, то есть в ноябре 1924 года. А были арестованы тогда поэты Пётр и Николай Чекрыгины, Алексей Ганин, Виктор Дворяшин, Владимир Галанов, Григорий Никитин, актёр и литератор Борис Глубоковский и ещё семь человек.

На арест своих друзей Сергей Есенин откликнулся стихотворением «Русь уходящая», написанным 2 ноября 1924 года. Оно начиналось так:

«*Друзья! Друзья! / Какой раскол в стране,*
Какая грусть в кипении весёлом!
Знать оттого так хочется и мне,
Задрав штаны, / Бежать за комсомолом».

Всех арестованных рассадили по камерам, где находились агенты ОГПУ, тотчас начавшие «*обрабатывать*» новеньких, советуя им сознаться во всём.

Изучавший много лет спустя это гепеушное «*дело № 28980*» журналист Валентин Скорятин, написал, кто допрашивал Алексея Ганина:

«*14 ноября 1924 года Агранов вместе со следователем Словутинским допрашивал поэта, арестованного по делу так называемого «Центра». После этого он распорядился снять копию с тезисов («Мир и свободный труд народам»), которые, несомненно, и предопределили приговор А. Ганину. Суховатое название тезисов мало что говорит об этом удивительном документе, более полувека пролежавшем в архивах ОГПУ*».

Фразы, в которых Ганин раскрывал суть советской власти, надо полагать, сразу бросились в глаза Якову Агранову и Абраму Словутинскому (так назван он у Скорятина):

«*Завладев Россией, она вместо свободы несёт неслыханный деспотизм и рабство под так называемым «государственным капитализмом». Вместо законности – дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни*

страны; вместо справедливости – неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда – труд (государственных) бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств Египта и Вавилона…»

Ганин сразу же объяснил допрашивавшим его сотрудникам ОГПУ:

«*Читал выдержки из тезисов, которые обнаружили у меня при аресте. Эти тезисы я подготовлял для своего романа*».

А конструктивисты в этот момент объявили о том, что их литературная группа отныне будет «*Центром*», так как её решили назвать ЛЦК (Литературный центр конструктивистов). Евгений Габрилович, один из входивших в этот «*Центр*» литераторов (будущий известный киносценарист), впоследствии написал:

«*Новое дело, новая литература, новая социалистическая культура, новая жизнь создают новый стиль, свои новые методы. Это и есть метод конструктивизма*!»

То есть, с точки зрения членов ЛЦК, все остальные литераторы (включая и лефовцев) использовали старые приёмы и методы, и только конструктивисты прокладывали путь в «*новую социалистическую культуру*». Но каким же «*старым*» и многократно использованным было это утверждение!

А теперь вернёмся в осенний Париж, куда 2 ноября 1924 года прибыл Владимир Маяковский.

Столица Франции

На вокзале Маяковского никто не встретил – телеграмма, посланная Эльзе Триоле, запоздала. И ему, не знавшего французского языка, пришлось добираться до улицы Кампань-премьер, 29 (в отель «Истрия») самостоятельно.

Одним из первых, кто навестил поэта, был молодой русский писатель-эмигрант Владимир Соломонович Познер, пришедший взять для парижского журнала интервью у советской знаменитости. Познер написал:

«*Владимир Маяковский – самый крупный русский поэт современности. Он такой крупный, что даже когда сидит, хочется попросить его сесть*».

Даже туфли поэта (46-го размера) не умещались в маленьком номере отеля:

«*Они стояли за дверью, и для того, чтобы я смог войти, Маяковскому пришлось лечь на кровать*».

Отвечая на задававшиеся ему вопросы, Маяковский всё время курил, и Познер отметил:

«*Я никогда не видел, чтобы он брал папиросу или прикуривал, они появлялись у него в углу рта сами по себе*».

В памяти посетившего его писателя беспрестанно куривший поэт запечатлелся «*потонувшим в тумане, как олимпийский бог*».

И вновь возникает вопрос: зачем этот «*олимпиец*» приехал во Францию?

Валентин Скорятин отвечал на подобные вопросы уклончиво:

«*Не праздное любопытство туриста, пресытившегося жизнью, приводило поэта в Париж*».

Сделав такое заявление, Скорятин перечислил имена тех, с кем Маяковский «*поддерживал творческие отношения*» в Париже. И всё.

Между прочим, в том же 1924 году из Берлина в Париж перебрался другой российский поэт, «*путешествовавший*» по свету, Александр Кусиков. Он создал во Франции «Общество друзей России». Так что найти себе «*друзей*» Маяковскому особого труда не представляло.

Лев Никулин, часто наезжавший в Париж (по другим гепеушным делам), тоже оставил воспоминания о приехавшем во Францию Маяковском:

«*Он рассказал мне о своей встрече с Северяниным в Берлине. Разговор шёл о выпущенной в Берлине в 1923 году книге Северянина «Соловей».*

– Поговорил с ним, с Северяниным, захотелось взять его в охапку, проветрить мозги и привезти к нам. Уверяю вас, он мог бы писать хорошие, полезные вещи».

Как видим, один гепеушник другому старался говорить то, что от гепеушника требовалось. Но никто из вспоминавших о поэте-лефовце не назвал причину, заставившую его осенью 1924 года покинуть родину и приехать в чужую страну. Тем более что визы для проживания во Франции у Маяковского на этот раз вообще не было, была только транзитная – для «*проезда*» через эту страну в другую. Поэтому первым делом пришлось добиваться замены имевшегося у него разрешения на «*пересечение*» страны визой с правом временного проживания во Франции.

Подобными делами обычно занимались сотрудники советского дипломатического представительства.

28 октября 1924 года Франция официально признала Советское правительство, и 4 ноября в Париж прибыл первый полномочный представитель страны большевиков Леонид Борисович Красин. На Северном вокзале его встретили пением «Интернационала».

Владимир Маяковский и Юрий Анненков тоже встречали полпреда, были представлены ему, а потом добирались на такси

до советского посредства.

Парижская газета «Последние новости» на следующий день сообщила:

«*Перед зданием посольства – толпа фотографов и репортёров… Во двор впущены лишь сотрудники «Юманите». Перед носом проталкивающегося сквозь строй журналистов Маяковского раздражённый консьерж захлопывает вымазанные свежей охрой ворота. Маяковский неистово стучит кулаком и, наконец, впускается во двор*».

Встретившись через какое-то время с полпредом, Маяковский наверняка показал ему рекомендательные письма за подписью Луначарского.

Леонида Красина эти документы, надо полагать, здорово развеселили. Ведь в том, что Маяковский послан за рубеж Лубянкой, сомнений у него не возникало. Подобные «*посланцы*» прибывали в Париж сотнями. И все становились «*на учёт*» в советском полпредстве, которое обязано было всячески помогать каждому из них «*провернуть*» его чекистское «*дельце*».

Поэт же Маяковский, согласно тому, что было написано в его бумаге (заверенной наркомом), претендовал на какую-то независимость.

Сам ли посол отказался хлопотать по делу о продлении визы Маяковскому, или поэт, претендовавший на независимое положение, не стал ни о чём просить советских дипломатов, о том сведений нет. Известно лишь, что вопрос о пребывании в Париже Владимир Владимирович решал самостоятельно.

Пропажа трости

В Париж приехала тогда и советская художница, о которой Эльза Триоле написала:

«*…выплывает из тумана памяти Валентина Михайловна Ходасевич, с которой я когда-то познакомилась в Саарове у Горького. Алексей Максимович звал её «купчихой», а Маяковский – Вуалетой Милаховой*».

Сааров – это городок в Германии (неподалёку от Берлина), в котором какое-то время проживал Горький.

О том, что поездка Маяковского была связана с ГПУ, Валентина Ходасевич тоже, видимо, догадывалась, написав:

«*На этот раз он ехал, конечно, не для туристических развлечений. Из Парижа он собирался в Мексику и Нью-Йорк.*

Второго ноября Маяковский приехал и был удивлён, увидев меня у Эльзы.

Маяковский и Эльза мрачные. Мрак из-за того, что сразу по

приезде Маяковский получил из главной префектуры (полиции) предложение покинуть Францию в двадцать четыре часа, насмотря на то, что у него была виза на месяц».

Эльза Триоле:

«В 24-ом он был особенно мрачен. Пробыл в Париже около двух месяцев, ни на шаг не отпускал меня от себя, будто без меня ему грозят неведомые опасности. ‹…› Тосковал…

Маяковский дожидался в Париже американской визы, собираясь в кругосветное путешествие. Виза не шла, а тем временем из парижской полицейской префектуры пришла повестка, предлагающая господину Маяковскому немедленно покинуть Париж. Тоскующий Володя мог бы воспользоваться случаем и тут же вернуться в Москву – но это не было бы на него похоже: всё трудное, недоступное, невозможное всегда становилось для Маяковского необходимым и желанным. Раз его из Парижа выгоняют, то следует из Парижа не уезжать…»

И Маяковский отправился в префектуру. Вместе с Эльзой Триоле, разумеется. В воспоминаниях, вышедших впоследствии на французском языке, Эльза написала (перевод её собственный):

«Блуждаем по длинным замусоленным коридорам, нас посылают из канцелярии в канцелярию, я – впереди, Маяковский – за мной, сопровождаемый громким стуком металлических набоек на каблуках и металлического конца трости, которую он везёт за собой по полу, но цепляется ею за стены, двери, стулья. Наконец мы причалили к дверям какого-то важного чиновника. Это был чрезвычайно раздражённый господин, который для большей внушительности даже встал из-за письменного стола и громким, яростным голосом заявил, что господин Маяковский должен в 24 часа покинуть Париж. Я начала что-то плести ему в ответ, но Маяковский сбивал меня с толку, всё время прерывая меня: «Что ты ему сказала?..», «Что он тебе сказал?»»

О том, что говорил важный чиновник парижской префектуры, известно и из воспоминаний Валентины Ходасевич, которой Эльза рассказала о посещении префектуры:

«– Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа и всё это опубликовывают у себя на родине.

Эльза переводит сказанное Маяковскому – он утверждает, что это недоразумение.

– Значит, вы не писали?

– Нет.

Чиновник нажимает кнопку на столе, и в комнате возникает молодой человек, которому он что-то тихо говорит. Молодой человек удаляется и вскоре возвращается – в руках у него газета

«Известия».

– Вы, вероятно, узнаёте это? – спрашивает чиновник.

Не узнать напечатанного в «Известиях» стихотворения «Телеграмма мусье Пуанкаре и Мильерану» было невозможно».

Стихотворение было напечатано в «Известиях» 25 февраля 1923 года. Раймон Пуанкаре и Александр Мильеран – президенты Франции (первый – в 1913–1920 годы, второй – в следующее четырёхлетие). В этом стихотворении Маяковский (тоном как всегда резким и категоричным) пытался разобраться, почему Франция воюет там, где следует заключить мир, и заключает мир там, где следовало бы воевать. Стихотворение заканчивалось так:

«Чтобы выяснить это,
шлю телеграмму / с оплаченным ответом:
«Париж (точка, две тиры).
Пуанкаре – Мильерану. / Обоим
(точка). / Сообщите – / если это называется миры,
то что / у вас / называется мордобоем?»»

Вряд ли Эльза помнила, о чём это стихотворение, но она начала что-то говорить чиновнику.

– Что ты ему сказала? – спросил Маяковский.

Эльза Триоле:

«*– Я ему сказала, что ты человек неопасный, что ты не умеешь говорить по-французски.*

Лицо Маяковского вдруг просветлело, он доверчиво посмотрел на раздражённого господина и сказал густым, невинным голосом…

– Жамбон…

Чиновник перестал кричать, взглянул на Маяковского, улыбнулся и спросил:

– На какой срок вы хотите визу?»

«*Жамбон*» («*Jambon*») – это «*ветчина*» по-французски.

Так совершенно неожиданно инцидент завершился, и срок пребывания во Франции поэту продлили. Оставалось формально оформить полученное разрешение. И тут неожиданно произошла встреча, о которой Эльза написала:

«*Наконец в большом зале Маяковский передал в одно из окошек свой паспорт, чтобы на него поставили необходимые печати. Чиновник проверил паспорт и сказал по-русски: «Вы из села Багдады Кутаисской губернии? Я там жил много лет, я был виноделом…» Оба были чрезвычайно довольны этой встречей: подумать только, до чего мал мир, люди положительно наступают друг другу на ноги!..*

Словом, в этот день было столько переживаний, что

Маяковский не заметил, как в самом центре парижской префектуры у него утащили трость!»

Парижские тяготы

9 ноября 1924 года в Москву полетело первое письмо Лили Юрьевне:

«*Дорогой-дорогой, милый-милый, любимый-любимый Лилёк.*

Я уже неделю в Париже, но не писал потому, что ничего о себе не знаю – в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разрешили обосноваться две недели (хлопочу о дальнейшем), а ехать ли мне в Мексику – не знаю, так как это, кажется, бесполезно. Пробую опять снестись с Америкой для поездки в Нью-Йорк.

Как я живу это время – я сам не знаю. Основное моё чувство – тревога, тревога до слёз и полное отсутствие интереса ко всему здешнему (Усталость?).

Ужасно хочется в Москву. Если б не было стыдно перед тобой и перед редакциями, сегодня же б выехал…

Боюсь прослыть провинциалом, но до чего же мне не хочется ездить, а тянет обратно, читать свои ферзы!

Скушно, скушно, скушно, скушно без тебя…

…нет никакой весёлой жизнерадостной самоуверенности».

Хорош путешественник, нечего сказать! Всего неделю с небольшим провёл в Париже, и началась упадническая нудьга: никакого интереса «*ко всему здешнему*», одно лишь стремление: «*в Москву*» – «*читать свои ферзы*». Впрочем, стремление поэта вполне понятно, ведь его «*ферзы*» были посвящены Ленину, и поэтому перед чтецом их все двери были открыты.

К тому же сразу же вспоминаются слова из письма Лили Брик, тоже посланного из-за границы:

«*Париж надоел до бесчувствия! В Лондон зверски не хочется*!»

Вновь складывается впечатление, что оба писали, пользуясь одним и тем же трафаретом, явно кем-то заготовленным для них заранее. И снова тянет поискать ключ к этим явно зашифрованным текстам, чтобы узнать, что же на самом деле хотели сказать друг другу писавшие.

И ещё обращает на себя внимание многозначительный словесный оборот «*меня не едут*», который наталкивает на мысль, что в Париже Маяковский оказался вовсе не из-за осложнений в его отношениях с Лили Юрьевной.

На то, что содержание этого письма прямо наводит на какие-

то гепеушные дела, которые и привели поэта в Париж, обратил внимание и Аркадий Ваксберг. У него возникло множество вопросов:

«*Что означает, к примеру, загадочная фраза из письма Маяковского Лиле из Парижа от 9 ноября 1924 года?..*

*Допустим, пробыть в Париже лишь две недели ему разрешили французские, а не советские власти, поскольку он приехал с транзитной визой. Допустим, «тревога до слёз» у него из-за романа Лили с Краснощёковым, хотя тот находился в это время в тюрьме. Допустим… Но почему он приехал во Францию с транзитной визой, не имея визы в страну, куда будто бы собирался? И действительно ли он собирался – **он**, а не те, кому это было нужно, – в Канаду? Ни малейших признаков того, что такие намерения у него были, обнаружить не удалось.*

Что означает: «в Канаду я не еду и МЕНЯ НЕ ЕДУТ», то есть в переводе с хорошо понятного жаргона на нормальный язык, – не отправляют. Кто этим занимался – в Париже?! И – особенно обратим на это внимание – почему же поэт «ничего о себе не знает»? Стало быть, «знает» кто-то другой, чьё имя и фамилии называть в письме он не решился?»

Чем ещё занимался во Франции Маяковский?

Ваксберг пишет:

«*В Париже Маяковский, ожидая то ли визы в Америку (в Канаду? в Мексику?), то ли каких-то дальнейших инструкций, проводил почти всё время в «Ротонде» или в «Доме», потягивая американский грог. ‹…› Но общался почти исключительно с эмигрантами: незнание языка делало его немым и лишало возможности иного общения*».

А теперь заглянем в Лефортовский изолятор, где в это время находился Краснощёков.

Бенгт Янгфельдт:

«*Для человека, страдавшего лёгочным заболеванием, Лефортовская тюрьма, известная, согласно докладной записке ЧК, грязью, влажностью, вонью и дурным воздухом, была не самым лучшим местом. Его прошение о переводе в другую тюрьму отклонили, но ему удалось получить разрешение работать в камере. Он переводил на русский Уолта Уитмена и писал книгу «Современный американский банк»*».

Как видим, разница между теми условиями, в которых находились поэт Маяковский и заключённый Краснощёков, огромная.

6 декабря в новом послании Лили Брик Маяковский написал:

«*Дорогой Лилёнок.*

Я ужасно грущу по тебе…

О себе писать почти нечего. Всё время ничего не делаю, теперь опять начинаю. К сожалению, опять тянет на стихи – лирик! Сижу в Париже, так как мне обещали в две недели дать ответ об американской визе. Хоть бы не дали – тогда в ту же секунду выеду в Москву, погашу авансы и года три не буду никуда рыпаться…

Здесь мне очень надоело – не могу без дела».

Откровение просто замечательное!

Столько времени и сил потрачено на подготовку к поездке, а поэту никуда ехать не хочется! На весь свет протрубили о предстоящем кругосветном путешествии, и вдруг такое отношение к ожидавшейся визе: «*хоть бы не дали*»!

А слова «*не могу без дела*» и вовсе ставят в тупик. Как же так? Неужели лукавил Владимир Владимирович, когда неоднократно (притом публично) заявлял, что за границей занимается тем же, что и дома: пишет стихи, выступает на собраниях, прославляя свою социалистическую державу?

Или всё-таки посылать письма именно с таким содержанием ему было ***рекомендовано*** в Москве? И он прилежно выполнял полученные инструкции?

Впрочем, кое-какие ответственные «*дела*» у Маяковского всё-таки были. О них (так и не получив ответов на уже заданные им вопросы) Ваксберг пишет:

«*Все эти вопросы станут ещё более загадочными в свете того, что, будучи на непонятном положении в Париже, Маяковский имел неофициальную, никак не афишированную, нигде не отражённую встречу с председателем сенатской комиссии по русским делам Анатолием де Монзи, который тремя месяцами раньше посетил Москву и был принят на очень высоком уровне*».

О том, как французский сенатор отреагировал на свою московскую встречу с Маяковским, рассказал, как мы помним, писатель Лев Никулин:

«Сенатор Франции де Монзи, услышав его выступление в Колонном зале, сказал:

– Надо показать эту пасть Парижу».

Аркадий Ваксберг о встрече советского поэта с де Монзи в Париже:

«*Маяковский ездил к нему в сопровождении двух молодых французов, ‹…› тогда как до сих пор неизменным и постоянным переводчиком Маяковского была Эльза. На этот раз он даже не поставил её в известность о предстоящем визите, а после его окончания не рассказал о содержании беседы, – это прямо вытекает из её воспоминаний. Можно предполагать, что,*

выполняя данное ему поручение, Маяковский вёл неформальные переговоры с де Монзи о расширении франко-русских контактов. А может быть, и о чём-то другом».

Ещё одна любопытная подробность. Эльза написала, что Маяковский, не любивший ни музыки, ни танцев…

«*…любил ходить на танцульки, хотя сам и не танцевал*».

Вспомним, что Лили (да и Эльза тоже) чуть ли не каждую ночь проводили в дансингах. Но сёстры на этих «*танцульках*» искали партнёров, от которых можно было получить интересовавшую их информацию. А чем привлекали танцы поэта?

Эльза Триоле:

«*Мне было с ним трудно. Трудно каждый вечер где-нибудь шататься, выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уже лучше бы молчал*!»

Но при этом она добавляла, что практически всегда и везде…

«*…нас сопровождал ласковый смех, и повсюду немедленно возникало желание угодить этому великолепному, добродушному великану*».

Когда данный префектурой срок пребывания истёк, пришлось снова хлопотать о продлении визы. На этот раз к делу подключился известный антрепренёр Сергей Дягилев.

Эльза вспомнила ещё об одной черте характера Маяковского:

«*…известна крайняя чистоплотность и брезгливость Маяковского… Володя мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном, и, не дай бог, было при нём обрезаться! А как-то он меня заставил мазать руки йодом, оттого что на них слиняла красная верёвочка от пакета*».

Вот так подействовала на Маяковского внезапная смерть отца от заражения крови, случившегося после случайного укола булавкой.

И к этому прилагалась его невероятная мрачность.

А ведь Маяковский не знал, что происходило в тот момент в Москве в застенках Лубянки.

Допросы и мрачность

Следователи-гепеушники продолжали предъявлять поэту Алексею Ганину его «*Тезисы*» и бумаги других подельников, которые свидетельствовали о том, что писавшие их – ярые антисоветчики. Так, например, подельник Ганина, сорокачетырёхлетний юрист Михаил Кротков, в своих «*тезисах*» пытался разобраться, почему Запад не признаёт страну Советов:

«*Ломают копья – признавать или не признавать. Кого, что? Россию, государство, которое не признаёт права собственности,*

долгов, обязательств чести…

Всё мыслящее подверглось разгрому, всё честное уничтожено. Всё талантливое искажено. Расстреливают даже за одну мысль о протесте, не говоря уже о самом протесте. Истязания и пытки – как в средние века».

От Ганина требовали признаний в том, что он и его сообщники являются врагами советской власти. Ганин отвечал:

«*Я не знаю, это вам виднее, насколько я, взятый вместе со всеми этими людьми – а без них я давно бы сдох с голоду или стал хитрованцем – представляю опасность для государства трудящихся. Я не боюсь смерти. Но мне не хочется умирать как врагу власти рабочих и крестьян, с которыми связана вся моя жизнь, всё, всё лучшее, что есть у меня в душе, для которых я берёг мои лучшие чувства и мысли.*

Я не хочу быть белогвардейским святым…

Примите моё раскаяние и, если можно, оставьте мне жизнь».

Алексей Ганин был ещё полон надежд. А о пребывавшем в Париже Маяковском Эльза Триоле, как мы помним, писала:

«*В 24-м году он был особенно мрачен… Тосковал…*

Это не мешало нам бродить по Парижу, ходить в магазин «Олд Ингланд» за покупками…

Впрочем, в отношении покупок раз от раза он отличался: в «Олд Ингланд» покупались рубашки, галстуки, носки, пижамы, кожаный кушак, резиновый складной таз для душа; в магазине «Инновасион» – особенные чемоданы с застёжками, позволяющие регулировать глубину чемодана, дорожные принадлежности – несессеры, стакан, нож, вилка, ложка в карманном футляре – вещи, нужные Маяковскому для его лекционных поездок по России».

Покупки, которые в ту пору в стране Советов сделать было невозможно, должны были радовать. А Маяковский был мрачен.

Почему?

Бенгт Янгфельдт вновь увидел причину мрачности в размолвке поэта с Лили Брик:

«*Причиной служил разрыв с Лили, о чём Эльза, разумеется, уже была прекрасно осведомлена*».

О том же писала Маяковскому и сама Лили Юрьевна (в письме от 19 ноября):

«*Что делать? Не могу бросить А. М., пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни. Поставь себя на моё место. Не могу. Умереть – легче*».

У Аркадия Ваксберга это послание вызвало вопросы:

«*Какую вину перед Краснощёковым она себе не прощала, за что карала себя, чего стыдилась? Не того ли, что в его растратах ощущала и своё присутствие? Или того, что печальный поворот в*

его судьбе, к которому – вольно или невольно – она была тоже, притом ощутимо, причастна, не внёс ни малейших поправок в её привычную жизнь?»

Лили Брик, скорее всего, карала себя за то, что, соглашаясь на гепеушную акцию в отношении Краснощёкова, она не подумала о том, к чему её участие в этом деле может привести. О том же, что ГПУ просто подставило её, даже речи быть не могло – работу чекистов Лили Юрьевна до последних дней своих считала святой.

В том же письме Лили Брик были такие строки:

«*Живу у тебя…*

Моссельпром переименован в Моссельбрик или Осельпром».

Это «*переименование*» произошло потому, что друзья-гепеушники не оставили уволенного из ГПУ Осипа Брика без зарплаты, а устроили его на весьма «*хлебное*» место – заведовать рекламными делами в Моссельпроме.

А Лили Юрьевна продолжала:

«*Когда ты поедешь? Один? В Мексику? Шерсть клочьями! Достань для меня мексиканскую визу – поедем вместе (И Оську возьмём?)*».

Маяковский из Парижа ответил:

«*Последнее письмо твоё очень для меня тяжёлое и непонятное. Я не знал, что на него ответить. Ты пишешь про стыдно. Неужели это всё, что связывает тебя с ним, и единственное, что мешает быть со мной? Не верю! ‹…› Делай, что хочешь, ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит*».

Маяковский с друзьями и знакомыми на ярмарке Монмартра. Париж, 1924. Слева направо: Эльза Триоле, Робер

Делоне, Клара и Иван Голль, Валентина Ходасевич и Владимир Маяковский.

Что же касается дел гепеушных, которых (если судить по упомянутым нами свидетельствам) было у Маяковского предостаточно, то на них даже Аркадий Ваксберг обратил внимание:

«*Конечно, даже из совокупности всех этих фактов ещё нельзя сделать вывода о службе Маяковского в лубянских структурах. Но, несомненно, отношения, о которых идёт речь, в основе своей имели деловой, а вовсе не дружеский характер*».

Есть в воспоминаниях Эльзы Триоле одна фраза, которую тоже хочется привести:

«*Маяковский видел в Париже несчётное количество людей искусства, видел и самый Париж, с лица и с изнанки…*»

И что же написал он об этом Париже? Есть у него стихотворение, которое называется «Город». В нём такие строки:

> «*Мне скучно / здесь / одному / впереди, –*
> *поэту / не надо многого, –*
> *пусть / только / время / скорей родит*
> *такого, как я, / быстроногого*».

Удивительное совпадение! Чуть ранее того, как Маяковский написал это четверостишие, Сергей Есенин (в ноябре того же 1924 года) опубликовал стихотворение «Русь уходящая», в котором тоже говорилось о некоей «*быстроногости*»:

> «*Я человек не новый! / Что скрывать?*
> *Остался в прошлом я одной ногою,*
> *Стремясь догнать стальную рать,*
> *Скользжу и падаю другою…*
>
> *Я знаю, грусть не утопить в вине,*
> *Не вылечить души / Пустыней и отколом.*
> *Знать, оттого так хочется и мне,*
> *Задрав штаны, / Бежать за комсомолом*».

А Алексей Ганин в это время продолжал заполнять выданные ему листки бумаги своими показаниями:

«*Я вышел в жизнь из хижины, восьмилетним мальчиком, с киркой и фартуком печника, чтобы под руководством моего отца, лучшего мастера нашей округи, Алексея Степановича Ганина,*

научиться класть русские печи. И вот к тридцати годам я вышел на путь истории, чтобы из страданий и радости любимого мною трудового народа, из всего ужаса и всей радости тысячелетий построить памятник нашей эпохе.

Я не стремился к дешёвой славе, не искал личного благополучия. Я всю жизнь горел и работал».

Такие признания гепеушникам были, конечно же, не нужны. И тогда за Ганина (и за его подельников) взялись по-настоящему, по-чекистски.

Возвращение домой

14 декабря Маяковский присутствовал при торжественном поднятии советского флага над зданием полномочного представительства страны Советов, а примерно через неделю (за несколько дней до Нового года) отправился в Берлин. Оттуда 25 декабря он выехал в Ригу, где в клубе советского полпредства читал поэму о Ленине. 27 декабря вернулся в Москву.

Настроение у него было не из блестящих.

Аркадий Ваксберг:

«*За четыре дня до Нового года Маяковский вернулся в Москву, так и не дождавшись виз, чтобы отправиться в какую-либо страну американского континента*».

Александр Михайлов:

«*Под Новый год, 27 декабря, Маяковский вернулся в Москву. Вернулся в этот раз недовольный поездкой, собой*».

Бенгт Янгфельдт:

«*Маяковский, выходя из поезда в Москве за несколько дней до Нового года, скорее всего, пребывал в мрачном расположении духа. Поездка закончилась полным фиаско*».

Иными словами, биографы Маяковского оценили эту поездку за рубеж как неудавшуюся. Однако те, кто посылал поэта за границу, были на этот счёт, видимо, совсем иного мнения. Им казалось, что экзамен на самостоятельность Маяковский выдержал. Не случайно же ему тут же выписали новый загранпаспорт.

Журнал «30 дней» в первом номере за 1925 год написал:

«*Маяковский, окончив поэму «Ленин», поехал в Париж, думая пробраться в Америку. Американская виза им не была получена. У поэта остался выбор между Канадой и Мексикой. Так как Маяковский не любит экзотичности, он скоро вернулся в Москву. В Париже поэт чувствовал себя, как в глухом захолустье*».

Борис Бажанов, который кроме своей основной работы секретарём политбюро состоял ещё и в Высшем совете

физической культуры, тоже совершил поездку:

«*Секция зимнего спорта даёт мне повод для моей первой поездки за границу. Советские коньки и лыжи из рук вон плохи. Решено закупить партию коньков и лыж в Норвегии… В декабре 1924 года я совершаю короткое путешествие, которое производит на меня сильное впечатление. Я за границей первый раз и вижу нормальную, человеческую жизнь, которая совершенно отличается от советской. Кроме того, эти три скандинавские страны, через которые я проезжаю, – Финляндия, Швеция и Норвегия, дышат чем-то, не известным в Совдепии. Это – страны поразительной честности и правдивости…*

…здесь никогда ничего не пропадает. Если в городе случается кража, в конце концов, выясняется, что виновник – матрос с иностранного парохода. В Финляндии на дверях нет замков и запоров – что такое кража, здесь неизвестно…

На обратном пути я проезжаю советскую границу у Белоострова – до Ленинграда 30 километров. Проводник напоминает: «Граждане, вы уже в советской России – присматривайте за багажом». Я смотрю в окно на пейзаж. Одна перчатка у меня на руке, другую я кладу на сиденье. Через минуту я смотрю и обнаруживаю, что эту другую перчатку уже спёрли».

Ещё более сильное впечатление произвела на вернувшегося в СССР Бажанова ситуация в Наркомфине, в котором он тоже тогда работал:

«*Я возвращаюсь к привычному подсоветскому быту. В Народном комиссариате финансов постоянная большая статья расхода – закупка новых лампочек. У населения острая недостача электрических лампочек, и сотрудники наркомата их вывинчивают и уносят домой. Нарком Сокольников находит гениальный выход: заводу, поставляющему лампочки, предписано гравировать на каждой лампочке: «украдено в Наркомфине». Кражи сразу прекращаются, уносящий к себе лампочку свою кражу подписывает.*

Из скандинавских стран я возвращаюсь со странным впечатлением, как будто я высунул голову в окно и подышал свежим воздухом».

Как мы помним, на Сергея Есенина Европа тоже произвела неизгладимое впечатление, и он написал:

«*…вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию*».

А Маяковский чувствовал себя в Париже, «*как в глухом захолустье*».

Как чувствовали себя в это время находившиеся в застенках ГПУ Ганин и его товарищи, представить нетрудно. Ведь все они

были подвергнуты жесточайшим пыткам. Вернувшегося с Кавказа Сергея Есенина тоже вызывали на допросы, правда, всего лишь в качестве свидетеля. Но при этом страху на поэта нагнали большого.

Находившийся в это время в Берлине Нестор Махно вёл полуголодное существование.

А Владимир Маяковский 28 декабря принял участие в заседании комитета по устройству советского павильона на Международной художественно-промышленной выставке в Париже (она должна была открыться в следующем году).

Через два года, выступая на диспуте «Упадочные настроения среди молодёжи», Маяковский вспомнил встречу 1925 года и поэта Есенина:

«*В Доме печати он лез ко всем, хватал за горло и требовал немедленно признать его первенство на территории даже не СССР, а всего земного шара*».

Поэт Николай Гаврилович Полетаев о той же встрече Нового года и о Есенине:

«*Как-то на банкете в Доме печати, кажется, в Новый год, выпивши, он всё приставал к Маяковскому и чуть не плача кричал ему:*

– Россия моя, ты понимаешь, – моя, а ты… ты американец. Моя Россия!

На что выдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически:

– Возьми, пожалуйста! Ешь её с хлебом!»

Вполне возможно, что Лариса Рейснер, только что вернувшаяся из поездки на текстильные фабрики Иваново-Вознесенска, тоже встречала Новый год в Доме печати, но об этом воспоминаний найти не удалось. Сохранились рассказы, свидетельствовавшие о том, что в Доме печати никакой радости, никакой возвышенности чувств у поэтов не было. А ведь к ним приближался самый волшебный праздник – Новый год.

Писатели совещаются

1 января 1925 года газета «Правда» опубликовала призыв:

«*Писатели должны выкинуть за борт литературы мистику, похабщину, национальную точку зрения…*»

В тот же день (а также 4 и 6 января) Маяковский вновь участвовал в заседаниях Комитета по устройству советского павильона на парижской выставке.

Вечером 6 января поэт выступил в Коммунистическом университете трудящихся Востока с чтением поэмы о Ленине.

Журнал «Жизнь искусства» (в третьем номере, вышедшем 20 января) написал:

«*Пёстро национальная аудитория горячо приняла новую поэму… Товарищи охарактеризовали её как идеальный по своей ясной простоте курс политграмоты, как монументальный памятник Ильичу… Товарищи благодарили Маяковского, сработавшего ленинскую поэму, – «первую нашу, большевистскую»*».

9 января открылось Первое Всероссийское совещание пролетарских писателей. Молодой поэт Виссарион Саянов написал:

«*Заседание шло очень мирно. В зале было тихо, члены президиума перешёптывались между собой, стенографистки быстро исписывали толстые тетради.*

Маяковскому предоставили слово для приветствия, но и это не нарушило спокойствия собрания. В меру похлопали его сторонники и почитатели, с необычной скромностью держались его враги. Без особого блеска он сказал несколько общих и, как нам показалось, малозначительных фраз».

Виссариону Михайловичу Саянову (Махнину) было в тот момент всего 22 года. Многое из того, что происходило на Всероссийском совещании, куда он был приглашён, было ему неинтересно, а то и просто непонятно. Поэтому и память немного его подвела. «*Необычную скромность*» врагов Маяковского он заметил правильно, но, говоря о выступлении поэта, допустил неточности.

Маяковский выступал вовсе не с приветственным словом, а высказывал свои соображения по поводу доклада, который был сделан Илларионом Виссарионовичем Вардиным (Мгеладзе), одним из тогдашних руководителей ВАППа (Всероссийской ассоциации пролетарских писателей). Своё выступление поэт начал так:

«*Товарищ Вардин ошибся, сказав, что я гость. Я делегат, хотя и с совещательным голосом, но это лучше, чем быть соглядатаем того крепкого разговора, который был сегодня. Тем не менее, в отчёте о майском совещании в ЦК относительно дел искусства я числюсь как попутчик*».

Совещание, которое упомянул Маяковский, состоялось 9 мая 1924 года, его проводил Отдел печати ЦК РКП(б). «*Попутчиком*» поэта-лефовца назвал в своём докладе Александр Константинович Воронский, редактор журнала «Красная новь». Этот «*ярлык*» ни у кого из выступавших в прениях возражений не встретил. Вот Маяковский и сказал:

«*Не любя ранги, буду говорить как попутчик, прибавив только,*

что для попутчика я буду говорить довольно странные вещи».

В те годы для тех, кто хотел, чтобы его считали шагающим с большевиками в ногу, слово «*попутчик*» звучало довольно оскорбительно. Поэтому понятно, почему Маяковский так от него открещивался. Поэт-конструктивист Илья Сельвинский был в этом вопросе с поэтом-лефовцем абсолютно солидарен, как-то сказав:

«*К прозвищу «попутчик» всегда относился, как к слову «жид». Никогда себя попутчиком не считал, и никто из людей литературы так меня не называл*».

Но вернёмся к совещанию пролетарских писателей и к выступлению на нём Маяковского. Он вспомнил и своего давнего недруга Льва Сосновского:

«Я четыре года добивался чести сразиться с глазу на глаз с таким увиливающим от непосредственного соприкосновения противником, как товарищ Сосновский, и сегодня я получил эту возможность. Однако должен с грустью для Воронского сообщить, что целиком, обеими руками и ногами, не умаляя позиции Лефа, присоединяюсь ко всем положениям по поводу пролетарской литературы и попутничества, которые были высказаны товарищем Сосновским. Совершенно правильное отношение к попутчикам, с желанием их расслоить на две части – на действительных попутчиков революции и на тех, которые, смешавшись в этой куче, являются по существу примазавшимися к революции».

Далее, с усмешкой пройдясь по толстым томам «*Алексея Толстого, Льва Толстого и т. д.*», которых рабочим просто нет времени читать («*сколько рабочих часов должен затратить рабочий на чтение «Войны и мира»*!»), Маяковский вспомнил и о своём творчестве:

«*Когда я читал Воронскому свою поэму о Ленине, то он подчеркнул, что мало мест, где сквозит моё «личное».*

– Вас, – говорил он, – мало, вы не дали нам нового Ленина.

Я ему ответил, что нам и старый Ленин достаточно ценен, чтобы не прибегать к гиперболам, чтобы на эту тему не фантазировать о каких-то новых вещах».

Ещё не зная, какой сюрприз приготовил ему Лев Сосновский, Маяковский сказал:

«*Вот, товарищи, те пути по организационной линии, с которыми я целиком согласен с товарищем Сосновским, но это делается не для излияния вдруг накипевших в изнеженной душе поэта чувств к Сосновскому. Никаких принципиальных разногласий, которые были и остаются, мы не забываем, но эти разногласия идут по совершенно другой линии, по линии*

производственной».

Затем Владимир Владимирович неожиданно вступился за поэта-лефовца Сергея Третьякова, написавшего стихотворение «Рыд матерный». Лев Сосновский об этом произведении сказал, что если футуристы…

«*…хотят сказать, что «мать рыдает», то говорят «рыд матерный»*».

Маяковский ответил решительно и с напором:

«*Он говорит: «Рыд матерный» – непонятно… Я не понимаю, почему это упрощённое слово менее понятно, чем выражение товарища Демьяна Бедного в одном его стихотворении: «в руках Немезиды». Почему это пролетарскому сознанию понятнее?.. Почему «рыд матерный» менее понятен, чем «Немезида»? Это корректурная опечатка*».

Маяковский ещё не знал, по поводу какой опечатки ему очень и очень скоро придётся объясняться самому, но по Демьяну Бедному всё же слегка прошёлся:

«*Я не хочу сказать, – я извиняюсь перед товарищем Демьяном Бедным, – что он меньше нашего понятен. Ни в коем случае! В тысячу раз более понятен и, несомненно, в порядке политическом в десять раз полезнее нас, потому что он специализируется на этой литературе, и такие самые блохи в литературе у него попадаются очень редко*».

У Демьяна Бедного, сидевшего в зале рядом с Львом Сосновским, уже был заготовлен ответ и на эту явную подковырку. А Маяковский тем временем продолжал:

«*Дальше товарищ Сосновский переходит к характеристике положительных черт той литературы, которую проповедует*».

В этой «*характеристике*» Владимир Владимирович почувствовал выпад в свой собственный адрес:

«*Конечно, под этим подразумевается реклама, что влез Маяковский на стол, снял брюки и кричит: «Нигде кроме как в Моссельпроме!»*»

Сказав несколько слов о том, что та реклама, которая существовала ранее, была недостойна рабочего класса страны Советов («*Товарищ Сосновский, эта реклама была далеко не блестящей, далеко не характеризовала наших моральных и прочих качеств*»), Маяковский высказался и о похвалах Сосновского за «*почти чеховское отношение к русскому языку*»:

«*…что касается чеховского языка, в котором вся проплёванность, гниль выражений с нытьём, с три раза повторяющимися на зевоте словами: «В Москву, в Москву, в Москву».*

СОСНОВСКИЙ. – Поучитесь у него!

МАЯКОВСКИЙ. – Услуга за услугу: вы будете учиться у меня, а я – у него!

Если бы эти расплывчатые слова: «В Москву, в Москву, в Москву» товарищ Безыменский применил в своём стихотворении, весёленькая плаксивая галиматья получилась бы!»

На этом, собственно, и завершилось выступление поэта. Он добавил лишь две фразы:

«*Заканчивая, товарищи, своё краткое сумбурное выступление, должен отметить, что, как два года тому назад Леф стоял на определённой позиции, так и теперь он стоит на ней же, закрепив дружественные связи с фронтом пролетарских писателей, с ВАППом. Леф, как и прежде, будет стоять на той же линии, с желанием, чтобы в области ремесленного производства вещей, нужных для сегодняшней эпохи, мы чаще бы учились у мастеров, которые на собственной голове пережили путь от Пушкина до сегодняшнего революционного Октябрьского дня*».

Фразы поэта и в самом деле были довольно сумбурными (как это частенько бывало у Маяковского), хотя и содержали полный набор нужных фамилий, событий и названий литературных групп: «*Пушкин*», «*революционный Октябрь*», «*Леф*», «*ВАПП*» и тому подобное. Собравшиеся в зале пролетарские писатели к подобным речам уже давно привыкли, поэтому оратору вежливо проаплодировали.

А у Виссариона Саянова и его молодых друзей-поэтов эти заключительные слова Маяковского вызвали недоумение:

«*Уходя с трибуны, он назвал своё краткое выступление сумбурным, и это особенно удивило нас. Нет, видно по всему, что Маяковский сегодня не в ударе*».

Удар по Маяковскому

После того, как Владимир Маяковский покинул трибуну, произошло, по словам Виссариона Саянова, следующее:

«*После него должен был говорить Демьян Бедный. Но Демьян Бедный отказывается от слова: он не хочет говорить сразу после Маяковского, у которого, по мнению Бедного, пролетарским писателям учиться нечему*».

Здесь Саянов вновь не совсем точен. После Маяковского Демьян Бедный выступил – сохранилась стенограмма, опубликованная в 13-томнике. И выразил своё отношение к независимому («*хозяйскому*») тону речи Маяковского:

«*Приходит человек и первым же делом должен был бы сказать, что считает за удовольствие и за честь выступать перед этим собранием: спасибо, что вы мне разрешили. Это серьёзное*

собрание, а не Политехнический музей, куда музейная шушера ходит».

Это было только начало – главный удар был впереди. Стенограмма гласит:

«*ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. – Приходит человек: я вам о Ленине написал. Знаете, что получилось? Я не читал этой поэмы, видел всего строк двадцать: Ленин – сияющий генерал будущего или прошлого.*

МАЯКОВСКИЙ. – Это клевета!»

В те годы в стране Советов не было, пожалуй, более ругательного слова, чем слово «*генерал*».

Виссарион Саянов:

«*В зале сразу задвигали стульями, зашумели, заговорили.*

– Ленина?!

– Генералом?!

– Не может быть!

– А ещё называет себя революционным попутчиком!

– Позор! Да мы не позволим Ленина приравнивать к золотопогонникам!

Взволнованный Маяковский бросается к трибуне, но его оттесняют. Он изменился в лице, побледнел, кажется издали, что он прикусил губу. Он хочет сразу ответить, но председатель закрывает собрание. В зале становится шумно, никто из нас не может разобрать, что говорит Маяковский.

Молодой стихотворец пытается оправдать Маяковского:

– Поэт имеет право на смелый художественный образ!

Но его сразу прерывают десятки голосов:

– Чепуха!

– Всё равно генерала в стихи не всадишь!

– Тоже адвокат нашёлся!..

Безнадёжно старый для начинающего поэта из группы «Рабочая весна» подходит к Демьяну Бедному и громко шепчет:

– Я вам ещё приведу примеры из его поэмы… У меня записано… Вы прямо ахнете…

Демьян Бедный отстраняет от себя докучливого поэта и уходит вместе с Сосновским.

Быстрым решительным шагом проходит Маяковский, не оглядываясь, высоко запрокинув голову, не обнаруживая желания с кем-нибудь беседовать сейчас».

На этом инциденте утреннее заседание завершилось, и пролетарские писатели разошлись по своим делам.

Вечернее заседание

Наступил вечер, о котором Виссарион Саянов написал так:

«*В тот же день на вечернем заседании зал набит битком. Многие молодые поэты устраиваются возле самой трибуны.*

Маяковский сидит спокойно, и улыбка таится в углах его губ, рядом с изжёванной папиросой. Он перелистывает записную книжку, и кто-то, сидящий рядом, бесцеремонно пытается заглянуть в неё. Маяковский раздражённо пожимает плечами и пересаживается на другой стул.

Но вот, наконец, открывается заседание. Председатель даёт слово для справки Маяковскому».

Здесь снова неточность. Сначала слово было предоставлено Льву Сосновскому, который с газетой в руке, поднялся на трибуну и сказал:

«*Есть поэты, которые не решаются писать о Ленине, не находят слов. А между тем есть люди, которые за словом в карман не полезут*».

Дальше – слово Виссариону Саянову:

«*Тяжёлым, внимательным взглядом Сосновский обводит насторожившийся зал. Газета, которую он держал в руках, оказывается «Известиями», и он необычайно громко читает отрывок из поэмы «Владимир Ильич Ленин»:*

И оттуда, / на дни / оглядываясь эти,
голову / Ленина / взвидишь сперва!
Это / от рабства / десяти тысячелетий
к векам / коммуны / сияющий генерал.

Зал ахнул при последних словах.

– Видите, что позволяет себе писать в советской печати Маяковский! Ленин оказывется у него генералом, да ещё сияющим!»

Только после выступления Сосновского председательствующий дал слово Маяковскому – для справки. Саянов пишет:

«*Поэт идёт к трибуне спокойным уверенным шагом. В удивительной тишине начинает свою речь. Он говорит громко, очень отчётливо, не улыбается, не шутит, как обычно. Деловой разговор, короткая справка, факты, даты – и никакого волнения в голосе, никакой полемики с людьми, глумившимися над его поэмой*».

Вот что сказал поэт (согласно стенограмме):

«*Товарищи, я выступаю не для того, чтобы защитить свою поэму, но чтобы заставить уважать собрание пролетарских писателей и не пользоваться опечаткой в целях дискредитации моего отношения к Ильичу и в целях дискредитации моей поэмы.*

С 24 сентября по 30 декабря я находился в Париже, где

«Известия» не продаются, и корректуру этой вещи не читал, и сегодня, прочитавши этот номер, я с необычайным удивлением и большим смехом увидел слово «генерал».

Все мои слова относительно того, что это ложь, остаются в силе. Такую ерунду я не мог бы никогда написать, и люди, сколько-нибудь смыслящие в поэтической работе последних лет, должны видеть, что «генерал» и «сперва» ни в коем случае не соответствуют друг другу ни по рифме, ни по ассонансу».

И Маяковский прочёл строки поэмы так, как они были написаны им:

«И оттуда, / на дни / оглядываясь эти,
голову / Ленина / взвидишь сперва!
Это / от рабства / десяти тысячелетий
к векам / коммуны / сияющий перевал.

Прилепить к этому «генерал» – это такая белиберда, которая ни одному человеку в голову придти не может».

Виссарион Саянов:

«Сосновский недовольно морщится и что-то кричит с места, но его слова заглушены аплодисментами. Маяковский стоит на трибуне, огромный и сильный, но видно, что ему нелегко: резко обозначились складки в углах губ…»

Прочитав ещё несколько строк из своей поэмы, в которых описан «*без промаха бьющий*» взгляд Ильича, Маяковский спросил:

«*Может быть, после этого товарищ Сосновский будет меня учить, какими образами изображать Ленина*?»

Поэт ответил и Демьяну Бедному, не очень лестно охарактеризовавшему Политехнический музей:

«*Дальше относительно фигурирования поэмы «Ленин» в Политехническом музее. Не в Политехническом музее читал я свою поэму, а в МК партии, и по районам, так что это обвинение, брошенное мне, отпадает…*

Если товарищи потребуют, в свободное время я прочитаю её, не об этом идёт вопрос, а вопрос идёт о применении недобросовестных приёмов при критике литературных течений в отношении своих же пролетарских писателей».

11 января газета «Известия» напечатала письмо Маяковского, в котором исправлялась ошибка, допущенная «*при публикации 7 ноября минувшего года*» (вместо «*генерал*» следовало читать «*перевал*»).

В очном поединке со своими заклятыми недругами Маяковский победил. Но он отчётливо почувствовал свою

беззащитность – поэт, написавший поэму о вожде рабочего класса, был в один момент ошельмован, и никто даже слова в его защиту не сказал.

12 января 1925 года Маяковский получил новый заграничный паспорт.

А в это время вновь уехавший на Кавказ Сергей Есенин написал стихотворение «Русь бесприютная». Он посвятил её беспризорным детям, которых тогда в стране Советов было ещё очень много. Душу поэта терзало то, что в стране так много их «*лет семи-восьми*», которые «*снуют… без призора*» – «*они нам знак тяжёлого укора*»:

> «*В них Пушкин, / Лермонтов, / Кольцов, / И наш*
> *Некрасов в них,*
> *В них я, / В них даже Троцкий, / Ленин и Бухарин.*
> *Не потому ль мой грустью / Веет стих,*
> *Глядя на их / Невымытые хари*».

Литературоведы (и не только они) уже давно обратили внимание на рифму: «*хари*» – «*Бухарин*». Да и названия есенинских стихов какие: «Русь советская», «Русь бесприютная», а к ним плюс ещё и пьеса «Страна негодяев»!

Глава третья. Начало 1925-го

Болезнь осуждённого

Вновь обратимся к мрачному расположению духа вернувшегося из Парижа Маяковского. Мы уже говорили о том, что практически все биографы поэта объясняют эту мрачность переживаниями, связанными с разрывом отношений с Лили Брик. При этом как всегда дружно ссылаются на письма, курсировавшие из Парижа в Москву и из Москвы в Париж.

Но мы, вроде бы, уже установили, что этим письмам доверять нельзя, так как они не отражали истинного настроения писавших, а составлялись в расчёте на перлюстраторов. Поэтому Лили Юрьевна и Владимир Владимирович, едва приехав за рубеж, тут же начинали (в письмах на родину) костерить принимавшую их страну, вопить об охватившей их тоске и неудержимо рваться назад – домой.

Но в чём же тогда истинная причина мрачности Маяковского?

Скорее всего, мрачность поэта происходила из-за того, что это была его ***первая самостоятельная поездка*** за рубеж по гепеушным делам. А дела эти (как известно из книг бывалых разведчиков) требуют максимальной выдержки, умения терпеливо ждать, пребывая в положении незаметном для окружающих. Необходимая агенту информация добывается, как правило, из разных источников. И нет никакой гарантии в том, что на первый же заброшенный «*крючок*» клюнет какая-то «*рыбка*». Иногда приходится сидеть с «*удочкой*» долгие недели и даже месяцы, прежде чем начнётся «*клёв*».

Маяковский, привыкший находиться в центре внимания, появляясь перед публикой и удаляясь от неё под гром аплодисментов своих сторонников и возгласы возмущения тех, кто был его поведением шокирован, к подобной ситуации оказался совершенно не готов. Отказ в американской визе он воспринял как сокрушительный удар, лишавший его хоть какой-то надежды на успех.

Но не зря ведь Генрих Ягода любил повторять:

«*Разведчиком (то есть чекистом) надо родиться, как поэтом*».

Поэтом Владимир Маяковский был. Можно даже сказать, что он им родился. А вот профессии разведчика (как и любой другой) необходимо было учиться. А Маяковский учиться не любил. Поэтому первые шаги в роли агента ОГПУ давались ему с

огромнейшим трудом. Отсюда – мрачность, отсюда – расстроенность чувств.

Но сразу хочется спросить: а каково было тем, кто в тот момент находился в застенках ОГПУ, давно уже успевших прославиться своими беспощадно-суровыми условиями?

Луэлла Краснощёкова писала:

«*В тюрьме отец заболел воспалением лёгких*».

Больного перевели из Лефортовского изолятора в тюремную больницу, куда посетителей, конечно же, не пускали.

Лили Брик написала сестре в Париж:

«*Володя вернулся. Мы, наверное, поедем в Париж через шесть недель. А. Т. очень болен. Он в больнице. Вряд ли я его увижу. Думаю о самоубийстве. Я не хочу жить*».

«*А. Т.*» – это инициалы Александра Тобинсона, то есть Краснощёкова.

Луэлла Краснощёкова – о том, как болезнь отца развивалась дальше:

«*Кто-то за него заступился и организовал его перевод в конце 1924 года в правительственную больницу*».

Больница эта находилась на улице Грановского, в самом центре Москвы. Если сравнивать с Лефортовским изолятором, то её можно назвать просто санаторием.

И вновь слова из письма Лили Брик – «*наверное, поедем в Париж*» – для рядовой советской гражданки, каковой официально являлась Лили Юрьевна, звучат фантастически неправдоподобно. Другое дело, если считать, что её уже начали готовить к очередному «*забросу*» в Европу.

Что же касается Алексея Ганина и его подельников, то двое из них из-за жесточайших пыток (пробковой камерой в том числе) потеряли рассудок. Их (и Алексея Ганина тоже) подвергли судебно-психиатрической экспертизе, которая признала исследуемых невменяемыми. А следствие продолжалось.

Крах «*левых*»

В середине января 1925 года в Москву съехались работники левого фронта искусств чуть ли не со всей страны. Осип Брик по этому поводу написал:

«*…писем и устных требований во что бы то ни стало создать и возглавить «единый фронт левого искусства» поступало к Маяковскому много. Люди говорили:*

– Мы – периферия, а центра у нас нет. Вы должны быть нашим центром.

Маяковский пытался растолковать, что самое понятие «центр

и периферия» в вопросах творчества бессмысленно, что «Леф» – не штаб какого-то фронта, а журнал, который печатает произведения авторов, близких друг к другу по литературному направлению, что пусть желающие присылают свои произведения в журнал, и если они подойдут, то будут напечатаны. Ничего не помогало: люди требовали организации с центром, с периферией, с уполномоченными, инструкциями и директивами.

Кончилось тем, что в январе 1925 года наиболее настойчивая группа «организаторов» созвала «Первое московское совещание работников левого фронта искусств». Волей-неволей Маяковскому пришлось принять в нём участие».

Организатором совещания выступила одесская группа «Юголеф». Проходило это мероприятие два дня – 16-го и 17-го января. Доклады делали Осип Брик и Николай Чужак. Последний сказал про поэмы Маяковского, что «Люблю» – это «*лирическая труха с точки зрения сегодняшнего дня*», а поэма «Про это» – «*наиболее неприемлемая вещь*» из всего, что создано поэтом. Чужака поддержали и другие ортодоксальные деятели «*левого искусства*» – те, кто жаждал создания «*единого фронта*» с «*твёрдой*» программой и «*жёсткой*» организацией.

Журнал «Леф» и его руководство подверглись невероятно разносной критике. Поэтому неудивительно, что появление на трибуне Маяковского присутствовавшие в зале встретили по-разному: кто бурными аплодисментами, а кто – яростным свистом.

Пётр Незнамов:

«*Льстивыми аплодисментами его нельзя было купить, а в отношении свиста он был стренирован не бледнеть. Он не бледнел и не терялся. В наибольшей степени он злился тогда, когда кто-нибудь, бездарный и надоедливый, как муха, жужжал у него на докладе. Тогда он выходил из себя – не поддевать же муху на пику! А чёрная маленькая муха с харбинской помойки жужжала и жужжала. Отгонять муху приходилось уже самой аудитории и чуть ли не с физическим пристрастием*».

«*Муха с харбинской помойки*» – это Николай Чужак, о котором 16 января Маяковский сказал:

Илья Сельвинский и Корнелий Зелинский, 1920-е годы

«*Товарищ Чужак, резко критикующий Леф, – более скучного зрелища, конечно, нельзя себе представить*».

17 января Владимир Владимирович вновь заговорил о Чужаке:

«*С его выходом из редакции, можно сказать смело, что работа «Лефа» пошла блистательно, ни одного конфликта, ни одного недоразумения по вопросам у нас не было*».

Были упомянуты и конструктивисты:

«*С этой группой нам пришлось выдержать долгий спор. Они сначала занимались всяческими мифологическими обобщениями. Например, группа конструктивистов с товарищами Сельвинским и Зелинским. Постепенно мы сумели оттянуть к нам наиболее интересную и близкую нам группу в лице товарища Сельвинского, давшего прекрасную обработку жанрового языка, если можно так выразиться, – образцов жаргона*».

В последний день работы совещания Маяковский вручил украинскому писателю Леониду Недоле (Лукьяну Владимировичу Гончаренко), председательствовавшему на совещании, листок, на котором было написано:

«*Заявление устроителям так наз<ываемого> «совещания левого фронта искусств»*

Внимательно прослушав и обдумав два бесцветных дня «совещания», должен заявить: никакого отношения ни к каким решениям и выводам из данного совещания не имею и иметь не хочу. Если б я мог хоть на минуту предполагать, что это крикливое совещание, собранное под серьёзным лозунгом «объединение», будет подразумевать (в наиболее «деятельной» части) под обсуждением организационных вопросов – организацию сплетен и будет стараться подменить боевую теорию и практику Лефа чужаковской модернизированной надсоновщиной, разумеется, я б ни минуты не потратил на сидение в заседаниях…

Вл. Маяковский

17/I – 25 г.»

На заявлении есть приписка, сделанная Николаем Асеевым:

«*Присоединяюсь целиком. 18.I.*»

И Маяковский совещание покинул. Осип Брик потом прокомментировал:

«*Никаких практических результатов совещание не имело. «Левый фронт» так и не сорганизовался*».

Пропажа кастета

В тот же день, когда Маяковский писал своё «Заявление», в Москве начал своё существование ОЗЕТ («Общество землеустройства еврейских трудящихся»), общественная организация, созданная для содействия КомЗЕТу.

КомЗЕТ («Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся» при президиуме Совета национальностей ВЦИК СССР) был учреждён президиумом ВЦИК 29 августа 1924 года – с целью привлечения еврейского населения страны Советов к производительному труду. В президиум ОЗЕТа были избраны Владимир Маяковский, известный актёр Соломон Михоэлс (Вовси) и многие другие общественные деятели СССР.

Но самым главным событием второй половины января 1925 года был объединённый пленум ЦК РКП(б) и ЦКК РКП(б), проходивший с 17 по 20 января. Об этом судьбоносном событии речь пойдёт чуть позднее.

А пока – о французе Поле Моране, который навестил Бриков.

Бенгт Янгфельдт:

«*Поль Моран, сорокалетний французский дипломат, уже несколько лет известный и как писатель…*

Когда Моран в конце января 1925 года появился у Бриков, он уже провёл в Москве несколько недель и прекрасно знал, кого посещает. Благодаря публикациям в прессе и сплетням он был до мельчайших деталей осведомлён об этом «супружеском картеле»».

Гостей у Бриков всегда было невероятно много, так что на этого гостя можно было бы вообще не обратить никакого внимания. Но Поль Моран собирался написать книгу о своём посещении столицы большевиков, поэтому к проживавшим на даче в Сокольниках он отнёсся с большим вниманием. И задуманную книгу принялся писать.

А Маяковский в конце января 1925 года отправился в лекционную поездку и 26 числа уже выступал в Смоленске (в губернском партийном клубе) с чтением поэмы «Владимир Ильич Ленин». Местная газета «Рабочий путь» сообщила:

«*…некоторые товарищи после вечера задавали В. Маяковскому вопрос – почему его стихотворения, когда читаешь, кажутся непонятными, а при чтении им самим – этого нет. Маяковский ответил:*

– У меня особый приём письма, особое новое построение стиха, незнакомое ещё широкой публике, которая не привыкла к ним. Это бывало всегда в литературе, когда выдвигались новые формы творчества».

28 января Маяковский выступил в Минске – в городском доме культуры. Газета «Звезда» предупредила читателей:

«*В программе вечера чтение лучших своих произведений. По окончании вечера Маяковский будет отвечать на поданные записки*».

Жившая тогда в Минске Софья Шамардина вспоминала:

«*Помню один его вечер в бывшей синагоге, в переполненном, плохо освещённом зале. Восторженным рёвом отвечает аудитория на стихи Маяковского и на удачные ответы на записки. Вот стоит он перед ворохом записок, уверенный, большой. В записках как всегда есть материал для уничтожающих издёвок над обывателем, задающим «подковыристые» вопросы.*

Молодёжь хохочет. Маяковский улыбается, перекладывая папиросу из одного угла рта в другой».

Когда Софья навестила Маяковского в гостинице, тот встретил её добродушным критическим замечанием, касающимся того, как она была одета:

«*– Опять одеваешься под Крупскую*!»

Зато…

«*…подарил, наконец, свой кастет, который уж давно как-то просила, – тогда не дал*».

Софья Шамардина:

«*Вечером уехал. Была занята и не могла проводить. А кастет всё-таки отослала на вокзал, подумала – ему же жалко с ним расстаться – столько лет он у него в кармане. При первой встрече в Москве рассказал, что кастет у него украли, – лучше бы не возвращала*».

30 января Маяковский вернулся в Москву.

Освобождение заболевшего

В начале февраля 1925 года в Ленинграде отдельным изданием вышла поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Литературный критик Виктор Осипович Перцов написал (в книге «Ревизия левого фронта в современном русском искусстве»):

«*…поэма «Владимир Ильич Ленин»… в высшей степени странная и, так сказать, разномастная вещь… Здесь конденсированная горечь, которая станет неиссякаемым боевым кличем… И здесь же, за несколько страниц раньше, коробящие наивности и прямые формальные неудачи жизнеописания Ленина – рабочего класса тож*».

Высказал свою точку зрения и журнал «Печать и революция»:

«*Разумеется, поэма написана мастерски, но в ней отчётливо чувствуется раздвоенность сознания и чувства…*

Трагично то, что ультра-индивидуалистические стихи «про это» у Маяковского выходят потрясающе-искренне, а поэма «Ленин», за немногими исключениями, рассудочна и риторична… Ему действительно необходимо перешагнуть через себя… Поэма «Ленин» – неудачная, но знаменательная и плодотворная попытка вступить на этот путь».

К этому времени относятся и слова Есенина, сказанные молодому ленинградскому поэту Вольфу Эрлиху:

«*Знаешь, почему я – поэт, а Маяковский так себе – непонятная профессия? У меня родина есть! У меня – Рязань! Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а прийду туда же. А у него – шиш! Вот он и бродит без дорог, и тянуться ему некуда*».

Но Маяковский к критике относился спокойно. Да и реклама, которую он сочинял, принималась на ура. В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» сказано:

«*В конце февраля написаны для Моссельпрома рекламные тексты папирос «Дукат», «Люкс», «Максул», «Рекорд», «Герцеговина-Флор», «Янтарь», «Трио», трубочного табака «Джевиз», колбасы, хамовнического пива, вод, специй и мандаринов, печенья, бисквитов,*

карамели, монпасье и кофе «Моккo»».

Публика, приходившая на встречи с поэтом, воспринимала его по-прежнему с восторгом. 2 февраля Маяковский выехал в Киев, где на следующий день выступил в зале бывшего Купеческого собрания. Наталья Рябова вспоминала:

«*…на этот раз абсолютно отсутствовала так называемая «серьёзная публика» – только молодёжь. Успех был большой. Весь помост заполнился народом, и Маяковский был совершенно притиснут к своему столику на эстраде*».

А кремлёвские вожди в это время вновь занялись делом Краснощёкова.

Уже не было Владимира Ильича Ленина, хлопотавшего за экс-главу ДВР, как за человека «*умного, энергичного, знающего, опытного*». И судебный процесс весьма основательно подмочил краснощёковскую репутацию. Так что теперь пациент кремлёвской больницы конкуренции не мог составить никому. Про осуждённых братьев можно было просто-напросто забыть.

Но их не забыли!

Почему?

Вспомним, что происходило тогда в большевистской партии.

Осенью 1924 года вышла книга Троцкого «Уроки Октября». В ней, в частности, рассказывалось и о том, как вели себя в канун Октябрьского переворота Каменев и Зиновьев. Подробно описывалось, как они выступали против вооружённого восстания, как голосовали против него на заседании ЦК, и как, когда революция всё-таки совершилась, демонстративно оставили посты, доверенные им партией.

Первым из кремлёвской «тройки» книгу прочёл Лев Каменев. И поднял бучу. Дескать, это неслыханно! Это удар по руководству партии, по её Центральному Комитету! Надо дать сокрушительный отпор! И как можно скорее!

С книгой Троцкого тотчас ознакомились Зиновьев и Сталин.

Разразился громкий скандал.

В газетах появились статьи Каменева, Зиновьева, Сталина, Бухарина и других сторонников «тройки». Наркомвоенмор сурово осуждался за обнародование «*клеветнических*» (с точки зрения авторов статей) подробностей партийной истории.

Свои впечатления от этой газетной кампании занёс в свой дневник (в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года) и писатель Михаил Булгаков:

«*…за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно – раскол в партии, вызванный книгой Троцкого «Уроки Октября», дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка*

Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого – затишье».

Впрочем, затишье это было лишь для рядовых советских граждан, а в руководстве партии борьба против Троцкого продолжалась.

Вспомним, что писал об этой борьбе Борис Бажанов:

«*Тройка наметила его отстранение от Красной армии в три этапа. Сначала должен быть расширен состав Реввоенсовета, который должен был быть заполнен противниками Троцкого так, чтобы он оказался в Реввоенсовете в меньшинстве. На втором этапе должно было быть перестроено управление Военного Министерства, снят заместитель Троцкого Склянский и на его место назначен Фрунзе. Наконец, третий этап – снятие Троцкого с поста Наркомвоена*».

Первые два этапа были уже пройдены, и «тройка» стала спешно (но весьма тщательно) готовить Объединённый пленум ЦК и ЦКК РКП(б) – для снятия Троцкого с поста главы Красной армии и Красного флота.

Вот тут-то кремлёвские вожди, видимо, и вспомнили о деле Промбанка, затеянного с подачи Льва Троцкого и Григория Сокольникова. Поскольку наркомвоенмора (под предлогом болезни) отправили на юг, неожиданно заболевшего Краснощёкова было предложено освободить (чтобы этим ещё больше «*уесть*» Троцкого и его сторонников).

Была создана Комиссия ЦК (очередная «тройка» в составе: Дзержинский, Ярославский, Угланов), которая должна была рассмотреть вопрос освобождения Краснощёкова и представить свои рекомендации членам политбюро для вынесения окончательного решения.

Однако вожди очень торопились и предложений Комиссии дожидаться не стали.

В январе 1925 года в журнале, в который вносились протоколы заседаний политбюро, появилась запись:

«*Слушали: заявление т. Сольца (тт. Сольц, Калинин).*

Постановили: Поручить т. Дзержинскому по согласованию с т. Калининым определить место жительства Краснощёкова.

Секретарь ЦК И. Сталин».

В этой протокольной записи обращает на себя внимание то, что фамилия Краснощёкова не сопровождается буквой «*т*» с точкой. Это означало, что кремлёвские вожди уже не считали исключённого из партии Краснощёкова своим «*товарищем*». А «*определить*» его «*место жительства*» поручалось Дзержинскому потому, что распределением жилплощади в Москве по-прежнему

занималось именно его ведомство.

А с Троцким «тройка» всё же разделалась. Объединённый пленум ЦК РКП(б) и ЦКК РКП(б), проходивший с 17 по 20 января, рассмотрел вопрос о том, кому руководить Красной армией.

Борис Бажанов:

«*В январе 1925 года произошёл пленум ЦК, на котором Зиновьев и Каменев предложили исключить Троцкого из партии. Сталин выступил против этого предложения, разыгрывая роль миротворца.*

Сталин уговаривал пленум не только не исключать Троцкого из партии, но оставить его и членом ЦК, и членом Политбюро. Правда, выступления и политические позиции Троцкого были осуждены. Но, главное, наступил момент, чтобы удалить его от Красной Армии. Замена ему была давно подготовлена в лице его заместителя Фрунзе».

И Троцкого лишили поста наркомвоенмора. А Краснощёков вышел на свободу.

После освобождения

Сохранилась записка члена Центральной Контрольной Комиссии Емельяна Ярославского Льву Каменеву, поданная на заседании политбюро (упомянутый в записке Рубен Павлович Катанян работал старшим помощником прокурора Верховного суда СССР):

«*т. Каменев Мне только что сообщил т. Ягода, что президиум ВЦИК за подписью т. Киселёва объявил амнистию Краснощёкову. Катанян через врача уже сообщил об этом Краснощёкову. Я не понимаю, как это делается после того как ЦК постановил, что это должна рассмотреть Комиссия: Дзержинский, Ярославский, Угланов. Я прошу этот вопрос включить в повестку дня.*

Ярославский».

«*Этот вопрос*» в повестку дня, конечно же, не включили – у главных вождей тут был свой резон. Нужно было (и как можно скорее) показать всем, что больного Троцкого выслали в Сухум (подальше от столицы), а больного «*ленинца*» Краснощёкова не только освободили из тюрьмы, но и предоставили ему жильё в пролетарской столице.

Луэлла Краснощёкова пишет:

«*Когда отец немного поправился, его отправили в Ялту в туберкулёзный институт. Но у него не было туберкулёза, и его выписали из института. Кто-то из друзей снял ему 2 комнаты у*

водопада Учан-су под Ялтой».

Но на этом дело Краснощёкова не завершилось, так как некоторых большевистских вождей такой поворот событий не устраивал. Осудить «*краснощёковщину*», считали они, совершенно недостаточно. Надо её ещё и хорошенько высмеять – чтобы ни у кого не возникло соблазна вновь пойти по дорожке, протоптанной братьями Краснощёковыми.

А «Левый фронт искусств» (Леф) в тот момент подвергся неожиданному и возмутившему всех лефовцев замалчиванию. 9 февраля в Экспериментальном театре (ныне – филиал Большого театра) с докладом «Первые камни новой культуры» выступил Анатолий Луначарский. Принявший участие в прениях Владимир Маяковский сначала заявил:

«*…у товарища Анатолия Васильевича, на мой взгляд, начинается колоссальная неразбериха и полное умственное неправдоподобие выставляемых им положений*».

И поэт стал приводить примеры в подтверждение своих взглядов. Но тут внезапно прозвучала реплика:

«*Голос сверху: Где жёлтая кофта и цилиндр?*

Маяковский: Я продал другому десять лет тому назад.

Голос: Кому?

Маяковский: Мариенгофу».

Спрашивавший замолчал. А Маяковский, продолжив излагать лефовские взгляды на советскую культуру, с обидой заметил, что в докладе наркома ничего не сказано о Лефе. Дескать, как…

«*…мог товарищ Луначарский обойти молчанием это, правда, в конце извинившись, что не затронул такого вопроса, как вопрос о Лефе. Леф, разумеется, это не группка и не шайка, это Леф… это всегдашняя тенденция, всегдашняя борьба форм…*»

В заключительном слове Луначарский дал ответ на это замечание:

«*Мы вступаем в расцвет литературы. Леф должен это понять, свою квартиру на замок замкнуть: они отжили*».

Услышав это, Маяковский вновь вышел на трибуну:

«*Анатолий Васильевич рисует нас дурачками. Если бы мы были таковыми, нужно бы не только на замочек квартиру свою закрыть…*

Голос с места: Давно пора!

Маяковский: …но и себе самому замочек на язык повесить. Выводы, которые сделал из моего сегодняшнего вступления Анатолий Васильевич, совершенно неправильны.

Голос с места: Правильны!

Маяковский: Я на семьдесят процентов присоединялся, и не с сегодняшнего дня, а за шесть-семь лет, к тому, что говорил

Анатолий Васильевич Луначарский…

Дальше, товарищи, речь шла об этом формализме. Ну, разве когда-нибудь кто-нибудь из лефовцев утверждал, что мы плюём на содержание, и что вопрос словесных выкрутас для нас является вопросом развития литературы?.. Конечно, каждый лефист отрицает всякое слововерчение, всякую формалистику ради формалистики».

Это выступление поэта было как всегда эмоциональным, как всегда многословным и как всегда переполненным «*словесными выкрутасами*». Но это не помешало ему в завершение торжественно заявить:

«*Я убеждён, что моя сегодняшняя речь встретится всем в сотнях стихов, в сотнях романов, в сотнях новых постановок на любой театральной сцене*».

Произнося эти слова, Владимир Владимирович ещё не знал, что один из московских театров уже подготовил ответ на его заявление.

Наказание театром

Среди прочих обвинений, выдвинутых на судебном процессе против братьев Краснощёковых, было и такое, что будто бы они (по словам Аркадия Ваксберга)…

«*…заказывали своим жёнам каракулевые и хорьковые шубы. ‹…› На роль жены в этом контексте могла претендовать только Лили. Но имя её – чёрным по белому – в судебных документах ни разу не упоминается. Компетентные органы щадили Лилю уже тогда*».

Здесь напрашивается вопрос, который Ваксберг почему-то не задал: ***почему*** и ***за что*** могли «*щадить*» рядовую советскую гражданку «*компетентные органы*»?

Ведь, казалось бы, был такой хороший повод – выставить на посмешище (что равносильно примерному наказанию) омещанившуюся дамочку, которая своей страстью к разгульной жизни не только оскандалила очень крупного представителя советской правящей верхушки, но и бросила тень на всю партийную элиту и даже на весь советский режим!

Однако ОГПУ её пощадило.

Ольга Каменева (или те, кто стоял за её спиной), считая этот чекистский шаг ошибочным, поспешила исправить промах чрезвычайного ведомства. И нашла человека, который взялся осуществить её замысел.

Аркадий Ваксберг:

«*Почти сразу же вслед за освобождением имя Краснощёкова*

снова оказалось у всех на устах. И опять – в сочетании с Лилей. Бойкий молодой драматург Борис Ромашов скроил скандальную пьеску «Воздушный пирог», положив в основу сюжета то же громкое судебное дело».

В тот момент Краснощёков был не единственным, кого высмеивали со сцены. В Москве смеялись и над Александром Каменевым (в семье его звали Лютиком), который был сыном Льва Каменева, одного из членов руководившей страной «тройки».

Борис Бажанов (о Льве Каменеве):

«*Женат он на сестре Троцкого, Ольге Давыдовне. Сын его, Лютик, ещё очень молод, но уже широко идёт по пути, который в партии называется «буржуазным разложением». В партии ещё есть люди, хранящие веру в идею; они возмущаются. Написана даже пьеса «Сын наркома», в которой выведен Лютик Каменев, и пьеса идёт в одном из московских театров; при этом по разным деталям нетрудно долгадаться, о ком идёт речь.*

Каннеру звонят из Агитпропа ЦК – за директивой; Каннер спрашивает у Сталина, как быть с пьесой; Сталин говорит: «Пусть идёт». Каменев поднимает на тройке вопрос о том, что пьесу надо запретить – это явная дискредитация члена Политбюро. Зиновьев говорит, что лучше не обращать внимания: запретив пьесу, Каменев распишется, что речь идёт о нём…

В конце концов, решено не запрещать пьесу, но оказать нужное давление, чтобы она была снята с репертуара».

Григорий Каннер (речь о нём – впереди) был одним из секретарей Сталина. А Ольга Каменева, видимо, для того и заказала «Воздушный пирог», чтобы хоть как-то отвлечь внимание публики от спектакля по пьесе Льва Славина «Сына наркома».

Борис Ромашов выполнил заказ оперативно: уже через четыре месяца – в ноябре 1924 года – комедия в пяти действиях была готова, и режиссёр Московского театра революции Алексей Львович Грипич (ученик Всеволода Мейерхольда) приступил к репетициям.

Главными действующими лицами готовившегося спектакля были братья Коромысловы: Илья Евсеич, директор банка, и Фёдор Евсеич, председатель правления компании «ТИК» («Товарищество индустриальных контрагентов»). По ходу действия возникала ещё одна структура, созданная братьями – «АРПА» («Американско-Русская Промышленная Ассоциация»). Названия этого «Товарищества» и этой «Ассоциации» перекликались с названиями компаний, которыми руководили братья Краснощёковы, и которые ещё были у всех на слуху.

Луэлла Краснощёкова:

«*…прообразом отрицательного героя был Краснощёков, об этом все знали, но всё это было неправдой*».

Первое представление «Воздушного пирога» состоялось 19 февраля 1925 года.

Аркадий Ваксберг:

«*«Вся Москва» ломилась на премьеру спектакля и на последующие его представления, без труда разгадывая, кто есть кто, и видя в любом фабульном повороте не столько плод авторского воображения, сколько информацию о подлинных фактах*».

События пьесы были отнесены к 1922 году, а реплики персонажей подчёркнуто передавали атмосферу той свободы, которую принёс в страну Советов нэп:

«*РАК. – Мне можно верить – Семён Рак не продаст. А вы как думаете?*

ПОНДИ. – Продать может каждый. Теперь – свободная торговля».

Перед Борисом Ромашовым была, надо полагать, поставлена задача: изобразить главного героя пьесы, Илью Коромыслова, не как закоренелого преступника, который из-за воцарившейся в стране свободы нарушил все нормы, правила и законы, а как жертву (в том числе и женского коварства).

Бенгт Янгфельдт:

«*Коромыслов изображён как выродившийся коммунист, но, прежде всего, как жертва коррумпированного окружения, в частности, собственного брата. «Я мог предаваться коммерческим иллюзиям, я мог не понимать того, что делается вокруг, но я не предавал рабочих интересов», – говорит он*».

Ваксберг к этому как бы добавляет:

«*Выведенному под именем директора банка Коромыслова Краснощёкову давалась в пьесе хоть какая-то индульгенция: он представал как жертва неких объективных обстоятельств: то ли социальных, то ли сугубо личных, но как бы не зависящих от него. Обличался, да и то с поправками на «смягчающие обстоятельства», номенклатурщик, но не номенклатура*».

Зато главной героине «Воздушного пирога» автор пьесы никаких «*индульгенций*» не выдал, представив её как образ резко отрицательный. Ваксберг пишет:

«*Она была – в трактовке драматурга – исчадием ада, толкнув крупного советского работника на путь преступлений*».

Фамилия у «*дамы сердца*» Ильи Коромыслова была точно такая же, как у возлюбленной Александра Пушкина – ***Керн***, а имя – ***Рита***, как у Райт, приятельницы Маяковского и Бриков. По профессии она была балериной, что тоже недвусмысленно

намекало на Лили Брик, упорно постигавшую когда-то балетное мастерство.

Исполняла эту роль выдающаяся актриса Мария Ивановна Бабанова, игравшая и в театре Всеволода Мейерхольда. В её блистательном исполнении в Рите Керн просто невозможно было не узнать Лили Брик. И публика мгновенно её узнавала, награждая игру Бабановой бурными аплодисментами. Особенно тогда, когда актриса произносила свои коронные фразы:

«*РИТА. Так зачем же эта деловая белиберда везде и всюду? Жить! Резать! Хватать! Всё равно! Даёшь – берёшь! В этом цель. В этом наше предназначение*!»

Но особенно заразительно публика смеялась и дружно хлопала, когда Бабанова добавляла:

«*РИТА. – Я всегда мечтала стать профессиональной проституткой*».

Успех спектакля Театра революции был грандиозный – за короткий срок было дано сто пятьдесят представлений.

Янгфельдт пишет (видимо, не зная, что к моменту создания пьесы и спектакля Ольга Давидовна Каменева уже не была «*политруком театра*», так как пост заведующей театральным отделом Наркомпроса давно уже покинула):

«*Пьеса была написана по заказу Ольги Каменевой, политрука театра и жёсткого идеолога. Тот факт, что Каменева – сестра Льва Троцкого – ещё со времён революции была ярой противницей футуризма, возможно, также сыграл свою роль; нанося удар по Краснощёкову и Лили, она косвенно била и по Маяковскому и его группе. В любом случае спектакль был ещё одним ударом в спину Краснощёкова со стороны партийного руководства*».

Отстранившиеся от спектакля

Всеволод Мейерхольд пьесу «Воздушный пирог» назвал «*этакой дребеденью Ромашова*», написанной «*языком кумушки, подслушивающей на суде*».

Маяковский на шумное представление Театра революции не откликнулся ни словечком. Ваксберг пишет:

«*Ни Лиля с Краснощёковым, ни Маяковский, ни Осип Брик на спектакле не были – их отсутствие там, где успели уже побывать все, лишь подтверждало ходившие по Москве слухи.*

Впрочем, ни Краснощёкову, ни Лиле действительно было не до театра – он с трудом возвращался к жизни после условий тюремной больницы, а Лиля вскоре после выхода его на свободу тяжело заболела. Настолько, что её почти на месяц положили в больницу».

Здесь трудно удержаться, чтобы не поправить Ваксберга. Больница, в которой долечивали Краснощёкова, была правительственной, поэтому условия там были, вне всяких сомнений, образцовыми. К тому же, напомним, что сразу после амнистии он отправился в Крым, где продолжал приходить в себя.

Да, в Лефортовском изоляторе было невыносимо жутко. Но даже там Краснощёков написал книгу «Современный американский банк», предварив её таким предисловием:

«*Предлагаемый труд является попыткой познакомить читателей с историей Северо-Американских Соединённых Штатов в области финансового строительства…*

Пользуясь личными связями, автору удалось раздобыть достаточно богатый, хотя далеко не исчерпывающий, материал особенно официальных изданий американского правительства за весь период до момента написания, т. е. до осени 1924 года».

В конце предисловия Краснощёков упомянул и тех, кто не отвернулся от него, несмотря на арест, суд и тюремное заключение:

> «*Приносится благодарность всем отдельным товарищам и организациям, которые своим содействием дали возможность автору выполнить свою задачу, несмотря на особо неблагоприятные условия, в которых ему пришлось работать.*
>
> *15 ноября 1924 г.*
>
> *Л. И. Москва».*

Две заглавные буквы, поставленные перед названием города, в котором писалась книга – «*Л. И.*» – означают «*Лефортовский изолятор*».

И самый последний штрих.

Краснощёков создавал свою книгу для «*студентов вузов, хозяйственников и работников финансового и банковского дела*». В Российской общественно-политической библиотеке (бывшей библиотеке Коминтерна, а затем – института Марксизма-ленинизма) сохранился экземпляр книги. Она достаточно солидная – 288 страниц, цена 3 рубля 50 копеек. Но книга (до начала двадцать первого века) лежала там не разрезанной! Стало быть, её никто не только не читал, но даже и не листал! История американского банковского дела, написанная в «*особо неблагоприятных условиях*» оказалась в Советском Союзе невостребованной.

13 марта 1925 года Маяковский выступил в Колонном зале Дома Союзов на диспуте, устроенном культотделом МГСПС (Московским городским советом профессиональных союзов). Название диспута (как и название его учредителя) было длинным и мудреватым: «Выяснение восприятия искусства и его воздействие в творческом процессе революции».

Свою речь глава лефовцев, выступавший вслед за Шкловским, завершил так:

«*Я во всём присоединяюсь к словам товарища Шкловского, кроме заключительных его слов: «Мы не марксисты и не будем марксистами, ибо…» и т. д. Мы же всё то, что говорит Шкловский, подтверждаем именно потому, что мы были марксистами и хотим быть хорошими марксистами*».

А вот что сказал о «*марксистах*» Борис Бажанов:

«*В первое же время моего секретарствования на Политбюро моё ухо уловило иронический смысл термина «образованный марксист». Оказалось, что когда говорилось «образованный марксист», надо было понимать: «болван и пустомеля».*

Бывало и яснее. Народный комиссар финансов Сокольников, проводящий денежную реформу, представляет на утверждение Политбюро назначение членом коллегии Наркомфина и начальником валютного управления профессора Юровского. Юровский – не коммунист, Политбюро его не знает. Кто-то из членов Политбюро спрашивает: «Надеюсь, он не марксист?» – «Что вы, что вы, – торопится ответить Сокольников, – валютное управление, там надо не языком болтать, а уметь дело делать». Политбюро утверждает Юровского без возражений…

Марксизм – ложь, но ложь необычайной взрывчатой силы. Вот на этом камне и воздвигнул Ленин свою «церковь» – в России».

Какой точки зрения придерживался в отношении марксизма Маяковский, неизвестно. Мы знаем лишь то, что он об этом марксизме говорил.

Мартовские встречи

Итак, Театр революции, в котором с аншлагами шла пьеса Ромашова, Лили Брик обходила стороной. Но в других театрах Лили Юрьевна бывала. В одном из них её встретила приехавшая в Москву Анна Шилейко (Ахматова) и записала в дневнике:

«*Лицо несвежее, волосы крашеные. И на истасканном лице – наглые глаза*».

Такой у поэтессы сложился образ женщины, славившейся своим умением обвораживать мужчин.

А Маяковский в марте 1925 года встретился с Есениным. Об

этом – Николай Асеев:

«*Помню, как Маяковский пытался привлечь к сотрудничеству Сергея Есенина. Мы были в кафе на Тверской, когда пришёл туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин был горд и заносчив, ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку…*

Есенин держал себя насторожённо, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках.

Разговор шёл об участии Есенина в «Лефе». Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что «это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой». Есенину это не идёт.

– А у вас же есть группа? – вопросил Есенин.

– У нас – не группа, у нас – вся вселенная!

На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение.

Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один будет делать и чем распоряжаться.

– А вот тем, что хотя бы название у него будет моё!

– Какое же оно будет?

– А вот будет отдел называться «Россиянин»!

– А почему не «Советянин»?

– Ну, это вы, Маяковский, бросьте! Это моё слово твёрдо!

– А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не «Лефом» называть, а – «Росукразгруз».

Маяковский убеждал Есенина:

– Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?

– Я – глину, а вы – чугун и железо. Из глины человек создан, а из чугуна что?

– А из чугуна – памятники!

Разговор происходил незадолго до смерти Есенина.

Так и не состоялось вхождение Есенина в содружество с Маяковским».

У Сергея Есенина всё ещё не было своего угла в Москве. А Яков Блюмкин блаженствовал. Борис Бажанов приводит рассказ Эммануила Лившица, заведовавшего отделом печати ЦК комсомола. С ним Бажанов как-то шёл по Арбату, и Лившиц сказал:

««*В этом доме третий этаж – квартира, забронированная за ГПУ, и живёт в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно,*

слышал… Блюмкин – редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придём, он, ожидая меня, будет сидеть в шёлковом красном халате, курить восточную трубку в аршин длины и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина (кстати, я нарочно посмотрел: он всегда раскрыт на той же странице). Пойдём, пойдём».

Я пошёл. Всё было – и халат, и трубка, и том Ленина. Блюмкин был существо чванливое и самодовольное. Он был убеждён, что он – исторический персонаж…

…он показал мне свою квартиру из четырёх огромных комнат…

ГПУ не знало, куда его девать, и он был в резерве».

Видимо, в это же самое время состоялось знакомство Владимира Маяковского с ещё одним мало кому известным тогда драматургом. Валентин Катаев в «Траве забвения» написал:

«*…я познакомил его в редакции «Красного перца» с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.*

Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзительные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакову ужасно хочется померяться с Маяковским силами в остроумии.

Оба слыли великими остряками.

Некоторое время Булгаков молча насторожённо ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решился:

– Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел ещё Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчётливо сказал своим сочным баритональным басом:

– Тимерзяев.

– Сдаюсь! – воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.

Маяковский милостиво улыбнулся.

Своего профессора Булгаков назвал: Персиков». Булгаковский профессор Персиков появился, когда была опубликована повесть «Роковые яйца» (в шестом номере журнала «Недра» за 1925 год).

Лариса Рейснер тотчас откликнулась на эту публикацию, написав статью «Против литературного бандитизма» (первый

номер журнала «Журналист» за 1926 год):

«*Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана*».

А Борис Бажанов в это время познакомился с Яковом Блюмкиным (которого ГПУ не знало, куда девать, держа его в резерве) и с его двоюродным братом Аркадием Биргером, который носил фамилию-псевдоним Максимов и искал себе работу по душе. Бажанов потом вспоминал:

«*В первый же раз, когда Блюмкин пошёл в ГПУ, он похвастался знакомством со мной. Ягода взвился: «Яков Григорьевич, вот работа для вас. Бажанов ненавидит ГПУ, мы подозреваем, что он не наш, выведите его на чистую воду. Это – задание чрезвычайной важности». Блюмкин взялся за это, но месяца через два-три заявил Ягоде, что он… просит его от этой работы освободить*».

Вместо себя Блюмкин предложил своего безработного двоюродного брата.

Михаил Булгаков, 1925 год

Борис Бажанов:

«*Идея была одобрена, Максимов был вызван к начальнику Административного Управления ГПУ Флексеру и нашёл, наконец, нужную работу: шпионить за мной и поставлять рапорты в ГПУ.*

Чем он и кормился до лета 1927 года».

Мартовские жертвы

22 марта 1925 года на аэродроме Тифлиса лётчик Шпиль и механик Сагарадзе готовили к полёту самолёт «Юнкерс-13». Пасажиров было трое: заместитель председателя Совнаркома Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР) Александр Фёдорович Мясников, председатель Закавказской Чрезвычайной комиссии Соломон Григорьевич Могилевский и заместитель наркома РКИ Закавказья Георгий Александрович Атарбеков. Они летели в Сухум на съезд Советов Абхазии. В 11 часов 50 минут самолёт взлетел, но через 10 минут загорелся, рухнул на землю и взорвался. Все летевшие погибли.

24 марта газета «Заря Востока» сообщила:

«*Технический осмотр показал, что мотор и система управления вполне исправны. Причина пожара не установлена*».

Но в тот момент в Сухуме находился на отдыхе Троцкий, и летевшие на «Юнкерсе» деятели наверняка собирались встретиться с ним, что не входило в планы кремлёвской «тройки» (Зиновьева, Каменева и Сталина). Узнав о трагедии, Троцкий тотчас приехал в Тифлис и заявил о погибших товарищах:

«*Вряд ли мы дознаемся когда-либо с точностью о действительных причинах их гибели. Ведь живых свидетелей того, что произошло, нет*».

Впрочем, чуть позднее Троцкий написал, что пожар на самолёте был устроен по приказу Сталина. Напомним, что помощником Соломона Могилевского, главы ЧК Закавказья, был молодой чекист Лаврентий Берия (ему только что исполнилось 26 лет).

В марте 1925 года газета «Правда» неожиданно опубликовала письмо Горького, присланное с итальянского острова Капри. Знал ли пролетарский писатель о том, что на Лубянке выбивают из арестованных поэтов показания по делу «Ордена русских фашистов», неизвестно, но в своём письме он говорил:

«*…неонародническое настроение или течение, созданное поэтами Клычковым-Клюевым-Есениным… становится всё заметнее, кое у кого уже приняло русофильскую окраску, что, в конце концов, ведёт к русскому фашизму*».

За поэтов, которые вместе с Алексеем Ганиным продолжали находиться в Бутырской тюрьме, заступиться было некому. 27 марта 1925 года их «*дело*» поступило в Президиум ВЦИКа СССР, то есть передано на рассмотрение лидеров большевистской

партии. Но вот что сказал об этих вождях Борис Бажанов:

«*Лидеров интересовала власть; они были заняты борьбой за власть внутри партии. Вне партии был выставлен против населения заслон ГПУ, вполне действенный и запрещавший населению какую бы то ни было политическую жизнь; следовательно, ликвидировавший малейшую угрозу власти партии. Партийное руководство могло спать спокойно…*»

И секретарь ВЦИК Авель Сафронович Енукидзе, ознакомившись с документами, присланными ОГПУ, написал:

«*Считая следствие по настоящему делу законченным и находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно – полагал бы: «Войти с ходатайством в Президиум ВЦИК СССР с вынесением по делу Ганина А. А. внесудебного приговора»*».

В Президиум с таким ходатайством вошли, и внесудебный приговор был вынесен. Как оказались созвучны ему стихотворные строки поэта Ганина:

«*Мой бедный Шут, кончай свой дикий пляс.*
Кончай игру холодными огнями,
Мы всё прошли. И вот последний час
Звенит в замках тяжёлыми ключами…

Врата скрипят. Несётся бледный Конь.
Мы в жёлтом пламени последнего порога.
Молись, мой Шут, снимай свой балахон
И жги колпак за скорби в жертву Богу».

30 марта Алексея Ганина расстреляли. Вместе с ним (в той же Бутырской тюрьме) были расстреляны Пётр и Николай Чекрыгины, Виктор Дворяшин, Владимир Галанов и Михаил Кротков. Бориса Глубоковского и ещё двоих его подельников сослали на десять лет в Соловки. Судьба остальных подследственных неизвестна.

О том времени справедливо заметил в своей книге о Есенине Виктор Кузнецов:

«*Нас так запугали 1937 годом, но о миллионах трупов 20-х годов непростительно трусливо забыли*».

Знал ли о расстреле поэтов Маяковский?

Должен был знать. Как сослуживец Агранова и его закадычный друг.

А как откликнулся на расправу с ними?

Стихотворений об этом инциденте Маяковский не написал. Но в поэме «Владимир Ильич Ленин» есть две строки:

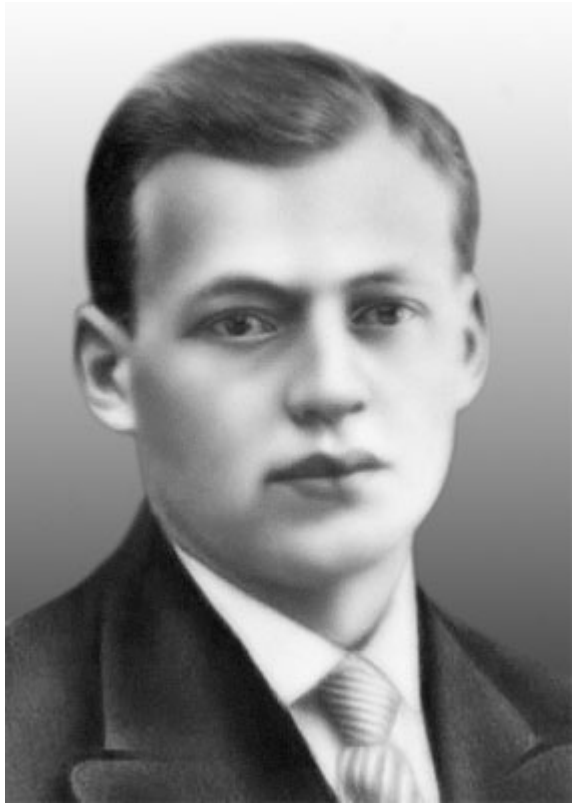
«Плюнем в лицо / той белой слякоти,
сюсюкающей / о зверствах Чека!»

Матвей Ройзман, который сделал вид, что ничего не знает о расправе над Ганиным и его друзьями, в воспоминаниях написал:

«В 1924–1925 годах у Сергея было время самой плодотворной творческой работы. Он говорил:

– Наступила моя пора Болдинской осени!

Ради того, чтобы работать в полную силу, он подолгу жил вне Москвы…»



Алексей Ганин

Но вовсе не «*творческая работа*» заставляла Есенина «*жить вне*» столицы страны Советов. 27 марта (за три дня до расстрела в Бутырке – явно кем-то заранее предупреждённый) он вновь спешно покинул Москву и 30 марта прибыл в Баку. Видимо, в дороге написал:

«В грозы, в бури, / В житейскую стынь,
При тяжёлых утратах, / И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство».

Писатель и драматург Всеволод Иванов:

«*С. Есенин не казался мне мрачным, обречённым. Это был человек, который пел грустные песни, но словно не его сочинения…*

Рапповцы считали себя вправе распоряжаться не только мыслями Есенина, но и чувствами его, – он смеялся над ними, и ему была приятна мысль вести их за собой магией стиха:

– А я их поймал!

– В чём?

– Это они – хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи им мои нравятся.

– Но ведь ты хулиганишь?

– Как раз ровно настолько, чтобы они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают, что смогут меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут; она и моя!»

Когда же речь заходила о рекламе, в которой прославился тогда Маяковский, то Есенин (по словам того же Всеволода Иванова)…

«*Беззаботно и весело… спрашивал:*

– Реклама? Реклама, чтоб продавать? Меня и без того покупают. Я пишу для того, чтобы людям веселей жилось, поэтому я хочу обратить на себя внимание. Им полезней читать меня, чем Маяковского».

Работа в архиве

Сфабрикованное Секретным отделом ОГПУ дело № 28980, касавшееся «Ордена русских фашистов», наглядно показало гепеушникам, как можно, состряпав какое-нибудь дельце, получить награды и поощрения.

Бывший товарищ (заместитель) царского министра внутренних дел Владимир Джунковский тоже, надо полагать, поведал Феликсу Дзержинскому о том, как добывал награды глава московского охранного отделения фон Коттен, придумывая и организовывая «*группы террористов*» и их отчаянные по смелости «*акции*». В качестве примера Джунковский мог привести побег политкаторжанок из Новинской тюрьмы.

Агранов наверняка пересказал эту историю Брикам и Маяковскому. Владимир Владимирович, радостно

встрепенувшись, тут же заявил, что он как раз по этому делу сидел более пяти месяцев в Бутырке и чуть было не угодил на три года в Нарымский край, в ссылку.

– Эту историю надо как следует изучить! – мог сказать Яков Саулович. – В ней есть чему поучиться!

– Я готов этим заняться! – мог тут же откликнуться Маяковский.

Он, конечно же, не знал, что Агранов вполне мог заказать снять копии с этого дела.

А Маяковский пошёл обычным путём – обратился в Испарт РКП(б), отдел Московского горкома партии, который занимался изучением истории партии, и сказал, что хочет написать сценарий кинофильма о побеге политкаторжанок из Новинской тюрьмы. К предложению поэта отнеслись с интересом, и он попросил разрешения поработать в архиве. Ему предложили заполнить анкету, которая требовалась для допуска к работе. 27 марта 1925 года анкета была заполнена. Она небольшая. В 13-томном собрании сочинений поэта её поместили в самый последний том. Вот она:

«*Фамилия, имя и отчество.* ***Владимир Владимирович Маяковский.***

Партийная принадлежность. ***Беспартийный.***

Место службы. ***Поэт.***

Занимался ли раньше в архивах? ***Нет.***

Документы, на основании которых испрашивается разрешение в настоящее время. ***Отношение Истпарта МК № 103/ Ш07.***

Тема работы. ***Типография МК, побег 13-ти.***

По каким материалам? ***Судебной палаты, Охранного отделения и Военного суда.***

С какой целью производится работа? ***С научной.***

В каком издании предполагается издание работы на основе архивного материала? ***«Каторга и ссылка» и Истпарт.***

Адрес занимающегося. ***Лубянский проезд, 3, кв. 12, тел. 4-48-22***».

Как видим, Маяковский указал, что места службы не имеет, поскольку является представителем вольной профессии. Что его интересуют два архивных дела, по которым когда-то он был обвиняемым. И что опубликовать написанное он предполагает в журнале «Каторга и ссылка» (в ту пору существовал такой, его издавали бывшие политкаторжане).

Кроме анкеты, необходимо было заполнить требовательный лист архива, где следовало указать, какие именно разыскиваются материалы. Поэт написал:

«*1) наружное наблюдение и агентурные сведения о*

Вл. Маяковском (партклички «Константин»), 2) отобранная по выходе тетрадь (рукописная) моих стихов».

К архивным материалам Маяковского допустили.

Ознакомившись с делами царской охранки, поэт разыскал Исидора Ивановича Морчадзе, главного организатора побега политкаторжанок. Тот потом написал:

«*Володя встретил меня на улице… и сказал, что пишет сценарий и хочет описать побег… И вот он мне стал такие подробности об этом побеге рассказывать, что я удивился. Спрашиваю: «Откуда ты это знаешь?» – «Откуда! Я над твоим делом работаю». И тут он мне рассказал, что разрабатывает этот материал для кинокартины*».

Маяковский стал расспрашивать Морчадзе о подробностях того давнего дела.

«*Я охотно рассказывал, а он записывал…*

Он сам увлекался записанным материалом и обещал написать великолепный сценарий, весёлый, уморительный…

Однажды он весело начал мне рассказывать такие подробности побега, что я был изумлён знанием всех деталей побега. Оказалось, что он… взял разрешение к документам о нашем процессе в Военно-Окружном суде, хранящимся и поныне в Центроархиве музея революции.

Когда я попал к этим документам, <чтобы> *написать воспоминания о побеге тринадцати политкаторжанок, то мне показали там регистрационную карточку Владимира Маяковского, что он действительно первый был допущен к этим документам…*

Долго были разговоры о будущей кинокартине, но обещанная кинокартина так и не появилась на свет».

Да, никакого сценария Маяковский не написал. Не сохранилось ни сценарного плана, ни даже кратких рукописных заготовок.

Почему?

Первое напрашивающееся объяснение: не успел. Был срочно вызван на Лубянку, где ему сказали, что надо срочно собираться в очередную зарубежную поездку. И он отправился за границу, надеясь по возвращении сценарий всё-таки написать. Но не получилось.

Объяснение, вроде бы, вполне логичное и достаточно убедительное.

Но, возможно, произошло совсем другое. Маяковскому могли сказать в том же Истпарте, что снимать фильм об акции, устроенной социалистами-революционерами никто не позволит – ведь советский суд объявил эсеров преступной партией, а некоторые её лидеры были даже приговорены к расстрелу.

Агранов же мог сообщить Маяковскому, что побег был организован царской охранкой, поэтому он и завершился так удачно. И об этом вряд ли стоит рассказывать советской общественности.

Можно дать и такое объяснение: а что как Маяковский отправился в архив исключительно для того, чтобы посмотреть, ***что*** в документах Охранного отделения написано о нём?

Зачем это ему понадобилось?

Может быть, Маяковский хотел увидеть, нет ли там каких-либо упоминаний о его сотрудничестве с Охранным отделением? Но, видимо, не обнаружил того, что искал.

Почему?

Потому что большевики, придя к власти, тотчас же стали уничтожать компрометировавшие их бумаги. Вот что рассказал об этом начальник разведывательного отдела Генерального штаба российской армии Павел Фёдорович Рябиков. Его воспоминания опубликованы в книге «ГРУ. Дела и люди». В главе «Период после Октябрьского переворота» он поделился воспоминаниями о том, как большевики избавлялись от компрометировавших их документов:

«*Ведь надо только вспомнить, что «регистрация» контрразведки пестрела сведениями на ряд «неблагонадёжных» и «подозреваемых в шпионстве» лиц, кои теперь стали членами правительства или людьми, к ним близкими…*

Первой атаке большевиков, естественно, подверглась «контрразведывательная часть», из которой надо было изъять дела и регистрацию, которые компрометировали ряд высших большевиков.

На контрразведку был совершён «налёт», который в корне разрушил всю работу контрразведки, всё неугодное большевикам было вывезено, и работа контрразведки в том смысле, в котором она велась до последних дней Временного правительства, т. е. в смысле борьбы со шпионством и часто близкими им антигосударственными элементами, – прекратилась.

Теперь шпионство и пропаганда, угодная большевикам, могла вестись как угодно и где угодно…»

Иными словами, все документы, содержавшие компромат на большевистских вождей, были вывезены и уничтожены. То же самое произошло и с делами Охранного отделения, на которое также был совершён «*налёт*». Подобное происходило не только в Петрограде, но и в Москве и других крупных городах страны.

Так что Маяковский каких-то документов мог в архиве просто не обнаружить. А на его вопрос, где искать эти бумаги, ему отвечали: в ОГПУ.

Когда же он спросил об этих документах у своих друзей-гепеушиков, ему, скорее всего, ответили, что они хранятся в историко-революционном архиве.

Круг, таким образом, замкнулся. Но особо горевать по этому поводу поэту было некогда – началась подготовка к очередной поездке за рубеж.

Осип Брик в этот момент тоже попытался переломить свою судьбу.

Аркадий Ваксберг:

«*Весьма важные изменения произошли и в жизни Осипа. На съёмках фильма по его сценарию он познакомился с двадцатишестилетней женой режиссёра Виталия Жемчужного – Евгенией Соколовой, и дружеские отношения, завязавшиеся между ними, вскоре переросли в ещё более дружеские*».

Бенгт Янгфельдт к этому добавляет:

«*…молчаливая и замкнутая Женя была совершенно не похожа на женщин, обычно посещавших салон Бриков. «Не понимаю, о чём он с ней может говорить», – раздражённо прокомментировала Лили, которую, помимо этого, раздражал в ней недостаток «элегантности»*».

Однако все эти (с точки зрения Лили Юрьевны) «*недостатки*» не помешали Осипу и Евгении счастливо прожить вместе двадцать лет – вплоть до кончины Осипа Максимовича в 1945 году. Впрочем, слово «*вместе*» требует уточнения. Дело в том, что Евгения жила отдельно от Бриков. Она приходила к ним в гости, а вечером Осип провожал её домой. Ничего не поделаешь – таковы были нравы в этой «*семье*», заведённые Лили Юрьевной раз и навсегда.

«Летающий пролетарий»

В марте 1925 года вышел в свет последний номер журнала «Леф». В нём была напечатана первая часть поэмы «Владимир Ильич Ленин». Были также помещены две статьи Корнелия Зелинского и «Декларация конструктивистов», которую подписали Илья Сельвинский, Корнелий Зелинский, Вера Инбер, Борис Агапов, Евгений Габрилович и Дир Туманный (Николай Панов). Маяковский собирался напечатать и главы «Уляляевщины» Сельвинского, но руководство Госиздата категорически этому воспротивилось. В том же номере «Лефа» были опубликованы два стихотворения 19-летнего одессита Семёна Исааковича Кирсанова (Кортчика), про которого Пётр Незнамов написал:

«*Несколько позже появился в Москве он и сам. Он был*

неумолчен, если говорить о декламировании стихов. Он отводил людей в уголок и вчитывал в них, подобно тому, как можно вчитывать изображение, стихотворение за стихотворением, причём отводимые не считали это насилием. Однажды у Асеева на девятом этаже, когда Маяковский уже сел играть в карты, кто-то сказал о всё ещё читающем Кирсанове:

– Какой темперамент!

На это Маяковский, не оборачиваясь и скосив лишь глаза, ответил:

– Это не темперамент, это возраст!»

Примерно в это же время с Маяковским познакомилась Лидия Сейфуллина, уже опубликовавшая свои первые произведения. Известный всей стране поэт встретил начинающую писательницу очень приветливо, улыбчиво. Она потом вспоминала:

«*Улыбка у него была особенная, закрытая. Зубы не сверкали; но всё лицо, сумрачное по отдельным своим чертам, становилось светлым. Полная горячей благодарности к большому, не подчеркнувшему этого своего преимущества перед меньшим, каким я не могла не почувствовать себя перед ним, я начала:*

– Знаете, Владимир Владимирович…

– Знаю! – перебил он меня с той же улыбкой. – Я вам понравился. Вы мне – тоже. До свиданья!

Простая снисходительная шутка, но в голосе сказавшего эти шутливые слова – то внутреннее душевное тепло, за которое согретые им люди становились преданными друзьями Маяковского до конца дней своих».

6 апреля в клубе ЦК РКП(б) состоялся диспут на тему «О разногласиях в литературной политике». Газета «Известия» через два дня написала:

«*Владимир Маяковский заявил протест против зачисления группы «Леф» в попутчики… Только в процессе перековки быта создадутся пролетарские писатели. Не ярлыком решается вопрос о «пролетарственности» писателя, а в литературном соревновании. Надо сорвать ярлыки, перетряхнуть патенты, тогда слово «пролетпоэт» получит смысл*».

Вечером того же дня в Большом театре отмечали вторую годовщину Общества друзей воздушного флота. Был, как всегда, прочитан доклад, затем выступали авиаторы и их друзья. О том, как закончилась торжественная часть этого мероприятия, газета «Рабочая Москва» сообщила:

«*Вместо заключительного слова председатель предоставлялет слово поэту Владимиру Маяковскому, который, под общие аплодисменты всего зала, зачитывает отрывки из своей новой*

поэмы «Летающий пролетарий»».

Поэма начиналась с «*Предисловия*»:

> *«В «Правде» / пишется правда. / В «Известиях» – / известия. Факты. / Хоть возьми / да положи на стол.*
> *А поэта / интересует / и то, / что будет через двести лет / или – / через сто».*

И сразу же начиналось глава, в которой говорилось о том, что же поэта «*интересует*» в грядущем. Глава имела очень грозное название:

«ВОЙНА, КОТОРАЯ БУДЕТ СЕЙЧАС».

Поэт подробно рассказывал о войне 2125 года, о капиталистической Америке, которая напала на страну Советов, послав на неё армаду самолётов с бомбами, начинёнными отравляющими газами. Советские пролетарии, конечно же, давали отпор агрессорам. «*Марш*» советских лётчиков Маяковский, видимо, и читал в Большом театре:

> «*Буржуи / лезут в яри*
> *на самый / небий свод.*
> *Товарищ / пролетарий,*
> *садись на самолёт!*
> *Катись / назад, / заводчики,*
> *по облакам свистя.*
> *Мы – лётчики*
> *республики / рабочих и крестьян*».

Далее в поэме рассказывалось, как советским агитаторам, в число которых включили «*лучших ораторов Коминтерна*», удалось распропагандировать американских рабочих, и как те устроили в Соединённых Штатах восстание:

> «*Совсем как в Москве / столетья назад*
> *Октябрьская / разрасталась гроза*».

Произошедшая за океаном пролетарская революция, устанавливала на планете новый порядок. В Москву прилетала

радиограмма, слова которой аэроплан выписывал в небесах:

«*Мир! / Народы / кончили драться.*
Да здравствует / минута эта!
Великая / Американская федерация
присоединяется / к Союзу советов!»

После этой грандиозной победы, описание празднования которой было выделено в главку под названием «Радость», следовала вторая глава поэмы:

«БУДУЩИЙ БЫТ».

Начиналась она с неожиданного сетования на неважные жилищные условия, в которых оказался сам Маяковский:

«*Комната – / это, / конечно, / не роща.*
В ней / ни пикников не устраивать, / ни сражений.
Но всё ж / не по мне – / проклятая жилплощадь:
при моей, / при комплекции – / проживи на сажени!»

В главке «*Будет*» поэт приступал к рассказу о том, какая замечательная жизнь ожидает пролетарскую столицу «*в XXX веке*»:

«*В Москве / не будет / ни переулка, / ни улицы –*
одни аэродромы / да дома».

Всё будет механизировано, автоматизировано:

«*Не жизнь, / а – лафа*!»

Третья глава поэмы называлась коротко: «*ПРИЗЫВ*», в ней поэт бросал клич:

«*Крылатых / дней / далека дата.*
Нескоро / в радости / крикнем: / – Вот они!
Но я – / грядущих дней агитатор –
к ним / хоть на шаг / подвожу сегодня…

Чтоб в будущем / веке / жизнь человечья
ракетой / неслась в небеса –
и я, / уставая / из вечера в вечер,
вот эти / строки / писал…
Слов / отточенный нож
вонзай / в грядущую небыль!
Даёшь / небо!»

С того момента, как была прочитана эта поэма, прошло всего полторы недели, и большевики пустили в ход свой «*отточенный нож*».

Болгарский взрыв

Весной 1925 года болгарская компартия, потерпевшая поражение в сентябрьском восстании 1923-го, была в своей стране вне закона. Но вождям коммунистов очень хотелось взять реванш, и (с санкции и под руководством Коминтерна) они решили устроить в столице террористический акт, за которым (по их планам) должны были последовать мощные народные волнения.

16 апреля в Кафедральном софийском Соборе Святой Недели должно было состояться отпевание убитого два дня назад депутата правящей партии «Демократически сговор» генерала Константина Георгиева. На траурной церемонии предполагалось присутствие многих политических деятелей страны, в том числе царя Бориса и главы правительства Александра Цанкова.

Согласно плану, разработанному террористами, сразу же, как только начнутся песнопения, должна быть приведена в действие адская машина.

И в 15 часов 20 минут прогремел мощный взрыв, обрушивший купол собора. На месте погибли 134 человека (в том числе целый класс лицеисток), ещё 79 скончались от полученных ран. Ранено было около 500 человек. Царь Борис опоздал к началу отпевания и остался жив. Цанков тоже не пострадал.

Европа была в ужасе от кровавого злодеяния, совершённого коммунистами.

СССР заявил о своей непричастности к этому теракту. Но советский разведчик Владимир Степанович Нестерович, легально работавший в Австрии под фамилией Ярославский (оперативная кличка Ибрагим) и координировавший действия Военной организации Болгарской компартии (той самой, что организовала теракт в Софии), был потрясён случившимся. Нестерович стал

разведчиком вскоре после того, как, командуя кавалерийской дивизией, выдворил из страны Советов воинские формирования Нестора Махно. Теперь же, являясь кадровым работником Разведывательного управления Рабоче-крестьянской Красной армии, он неожиданно бросил все свои дела в Австрии и уехал жить в Германию, став первым сотрудником РУ РККА, который оставил свой пост «*из-за политических разногласий с властью*».

А Настора Махно друзья-анархисты в том же апреле вывезли из Берлина в Париж.

Весной 1925 года вышли книги очерков Ларисы Рейснер: «Афганистан» и «Уголь, железо и живые люди». О последней книге Карл Радек написал:

«*…книга «Уголь, железо и живые люди» – …это была работа тяжёлая и физически, и морально, за которую взялись бы немногие писатели*».

22 апреля Рейснер поехала лечиться от малярии в германский Тропический институт. За время пребывания там она написала книгу очерков «Страна Гиндебурга».

Сергей Есенин всё это время находился в Баку. Будучи в хороших оношениях с первым секретарём компартии Азербайджана Сергеем Мироновичем Кировым, он познакомился и с приезжавшим на Кавказ наркомом РККА Михаилом Васильевичем Фрунзе.

А Маяковский 30 апреля опубликовал в «Вечерней Москве» стихотворение «Два мая», посвящённое приближавшимся майским праздникам. В нём опять гремели строки, призывавшие читателей готовиться к войне:

> «*Пока / буржуев / не выжмем, / не выжнем –*
> *несись / по мужицким разваленным хижинам,*
> *несись / по асфальтам, / греми / по торцам:*
> *– Война, / война, / война дворцам*!»

В конце апреля Есенин искупался в Каспийском море и сильно простудился. 5 мая ему пришлось даже в больницу лечь (с диагнозом «*катар правого лёгкого*») и пролежать там полторы недели. Только что вернувшийся из Персии (где он работал) Василий Иванович Болдовкин (младший брат Петра Чагина) потом вспоминал:

«*Простуда Сергея давала себя знать, он охрип и всё время твердил, что у него начинается горловая чахотка.*

– Вася, ты знаешь, как я болен! У меня туберкулёз горла – горловая чахотка, а это значит, что мне максимум полгода жить».

Василий Болдовкин предложил Сергею Есенину выпить чаю, сказав:

«*– В Персии чай – это божественный напиток, напиток богов.*

– Ну, а я всё же предпочитаю Бахуса.

Я разлил в бокалы светлое золотистое вино, мы чокнулись.

– Во имя дружбы, – сказал Сергей, – правда, за мной ходит отчаянная слава заправского пропойцы и хулигана, но это только слава, но не такая уж страшная действительность. Всегда почему-то получается так, что Есенин один в ответе».

Той же весной поэт Георгий Иванов, уже три года находившийся в эмиграции, издал в Париже сборник стихов Есенина, сопроводив книгу вступительной статьёй, в которой написал:

«*За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных «Есениных» – его братья по духу, соучастники-жертвы революции… Променявшие бога на «диамат», Россию – на Интернационал и, в конце концов, очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции*».

Напомним, что «*диамат*» – это сокращённое название диалектического материализма.

Книга Морана

В этот-то момент дал о себе знать француз Поль Моран, посетивший Бриков, как утверждает Бенгт Янгфельдт, в конце января 1925 года. В других источниках дата посещения указывается другая: лето 1924 года, что, конечно, более вероятно. Ведь, вернувшись во Францию, Моран написал и опубликовал книгу, в которой рассказал о своём посещении большевистской столицы.

Бенгт Янгфельдт:

«*Повесть «Я жгу Москву» была напечатана в апреле 1925 года в журнале «Demain» и в книге «L'Europe galante», изданной в Париже в том же году, но позднее*».

За два с половиной месяца написать и опубликовать книгу довольно трудновато. Хотя, возможно, Моран обладал даром скорописи.

Впрочем, не о сроках написания речь. В этой книге был выведен некий «*супружеский картель*» в составе Василисы Абрамовны, её мужа Бена Моисеевича и некоего «*красного поэта*» Мордехая Гольдвассера. В этой троице мгновенно узнавались Лили и Осип Брик, а также поэт Владимир Маяковский.

Бенгт Янгфельдт:

«*…впоследствии Моран подтвердил, что прообразом третьего*

персонажа послужил Маяковский…

Моран констатирует, что все, в том числе и он сам, безоглядно влюблены в соблазнительную Василису; …он замечает купленные ей Гольдвассером в Париже дорогие духи, и это в изсестной степени доказывает, что её «политические убеждения были не глубокими» («хотя она называла себя коммунисткой»); отмечаются также тесные контакты Бена Моисеевича с чрезвычайкой…

Гольдвассер описывается как «великан» с «открытым, симпатичным лицом», поэт с «оригинальным стилем», который сочиняет всё: политические агитки, рекламу производимых государством товаров, атеистические детские песенки и стихи, вопевающие применение удобрений в сельском хозяйстве».

В книге Морана «*красный поэт*» Гольдвассер постоянно пребывает в ипохондрическом беспокойстве из-за возможности заразиться чем-либо и заболеть:

«*Его боязнь инфекций известна всем; этот коммунист чистит предметы, до которых притрагивается, стерилизует свой столовый прибор, носит резиновые перчатки, открывает двери на той высоте, где никто их не касается*».

Одним словом, в том, что Гольдвассер списан с Маяковского, сомневаться не имеет смысла.

Бенгт Янгфельдт:

«*Как представители «первого в мире рабочего государства» Маяковский, Лили и Осип были возмущены тем, что автор изобразил их представителями послевоенной «галантной Европы», и тем, как они были изображены. Эльза нашла повесть антисемитской, а Маяковский сказал в адрес Морана, что «гнусность он, по-видимому, изрядная»*».

Как же так? Пять лет назад Маяковский написал поэму «150 000 000», в которой в резко раскритиковал Соединённые Штаты и их президента, изобразив страну и её руководителя в самом неприглядном виде. Когда же французский писатель издал книгу, в которой изложил своё видение того, что происходило тогда в советской России, его сразу назвали антисемитом и «*гнусностью*».

Были и другие оценки повести «Я жгу Москву». Французский писатель Луи-Фердинанд Селин (Детуш) высоко оценил талант Поля Морана, написав:

«*Под его пером французский язык двигался как джазовый танец*».

А в Москве Ассоциация художников революционной России (АХРР) организовала (в Большой аудитории Политехнического музея) диспут на тему «Мы и лефы». Вечер открылся докладом Евгения Александровича Кацмана, который был организатором

создания АХХРа и являлся его секретарём. О том, что происходило дальше – в воспоминаниях художника-футуриста и поэта Фёдора Семёновича Богородского (бывшего балтийского матроса, военного лётчика, а затем чекиста):

«*В аудитории стоял непрерывный шум, крики и смех заглушали речь докладчика. Но вот аудитория неожиданно смолкла. В дверях показалась внушительная фигура Маяковского. Раздались аплодисменты, приветственные крики, и Маяковский медленно поднялся на эстраду.*

Прежде чем занять место в президиуме, Маяковский подошёл к трибуне, налил воды из графина в стакан, но нечаянно залил водой листки, где был записан доклад Кацмана. Растерявшемуся докладчику пришлось продолжать своё слово уже без написанных тезисов… Кацман был вынужден скомкать свой доклад, вступив в импровизированную полемику не только с публикой, но и с Маяковским».

Ещё один любопытный факт. Рязанская газета «Рабочий клич» в номере от 1 мая 1925 года поместила объявление:

«*2-го мая на Красной и Свердловской площадях (Москва) начнётся передача радиоконцерта… «Мой май» – сочинение Маяковского*».

О том, как проходил этот «*радиоконцерт*» с участвовавшим в нём поэтом – в воспоминаниях журналиста Ивана Спиридоновича Рахилло:

«*Грохоча палкой, он поднялся на второй этаж. Вошёл в студию. Остановился у пульта.*

– А много там слушателей? – спросил, показывая палкой на микрофон.

– Весь мир.

– А мне больше не надо, – заявил Маяковский.

– Как вас объявить?

И когда вспыхнул сигнал «Микрофон включён» – подошёл и объявил:

– Говорит Маяковский! – и начал читать новые стихи».

О том, что в это время происходило в стране, поведал Борис Бажанов:

«*1925 год был годом борьбы за власть между Зиновьевым и Сталиным. Тройка, на время восстановленная для завершения борьбы с Троцким, окончательно распалась в марте. В апреле на заседаниях Политбюро Зиновьев и Каменев энергично нападали на сталинскую теорию «построения социализма в одной стране». Тройка больше не собиралась. Сталин утверждал сам проект повестки Политбюро. В течение нескольких месяцев Политбюро работало как орган коллегиальный внешне как будто бы под*

руководством Зиновьева и Каменева. Такой внешний вид определялся в особенности тем, что Сталин, как всегда (по невежеству) мало принимал участия в обсуждении разных вопросов. Каменев же по-прежнему руководил всем хозяйством страны, а хозяйственные вопросы занимали всегда много места в работе Политбюро. Троцкий делал вид, что корректно принимает участие в текущей работе. И на Политбюро царил худой мир».

Журналист Вячеслав Павлович Полонский (Гусин), занимавший тогда пост главного редактора журнала «Печать и революция», записывал в дневнике:

«*1925. 24.VI.*

В партии – среди широких масс – сервелизм, угодничество, боязнь старших. Откуда это? Почему вдруг такой шкурный страх делает недостойными людей, вчера ещё достойных? Психоз?»

Кое-что поменялось и в газетном мире – редактировать «Известия» с мая 1925 года стал Иван Иванович Скворцов-Степанов, давний недруг Маяковского. Впрочем, Владимир Владимирович узнал об этом гораздо позднее, по возвращении из-за рубежа.

Часть третья. Казни бунтарей

Глава первая. Открытие Америки

Накануне «*ездки*»

Первым «*казнённым*» бунтарём оказался бывший эсертеррорист Борис Викторович Савинков. По официальной версии поздно вечером 7 мая 1925 года он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна пятого этажа здания ГПУ на Лубянке, где отбывал заключение. Однако в книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» говорится о том, что с Савинковым расправились гепеушники. Они очень часто потом выбрасывали из окна тех, кто был приговорён ими же к уничтожению.

Приговорённый к расстрелу, заменённому десятью годами тюремного заключения, Савинков писал много писем, которые адресовались руководителям белой эмиграции. В этих посланиях Борис Викторович призывал непримиримых врагов большевиков прекратить борьбу с СССР. Существует версия, что все его письма на самом деле изготовлял Яков Блюмкин, имевший способность подделывать чужие почерки.

В тот момент большевистские вожди неожиданно заинтересовались мудростью тибетских старцев. Обитателям Кремля очень хотелось узнать, каким это образом в Тибете, где нет ни армии, ни спецслужб, монахам удаётся осуществлять контроль над мыслями и чаяниями десятков тысяч своих соотечественников, удерживая в подчинении весь народ. Гепеушникам была дана команда выяснить это. И по личному приказу Феликса Дзержинского сотрудники ОГПУ Яков Агранов, Глеб Бокий и Яков Блюмкин занялись изысканиями в области оккультных наук.

К этой гепеушной акции было решено привлечь российского художника, писателя и археолога Николая Константиновича Рериха, находившегося за границей. Существует версия, что чекисты поддерживали контакты с Рерихом давно. Гепеушники планировали свергнуть Далайламу XIII и провозгласить Рериха «*Рета Рагденом*», то есть правителем страны.

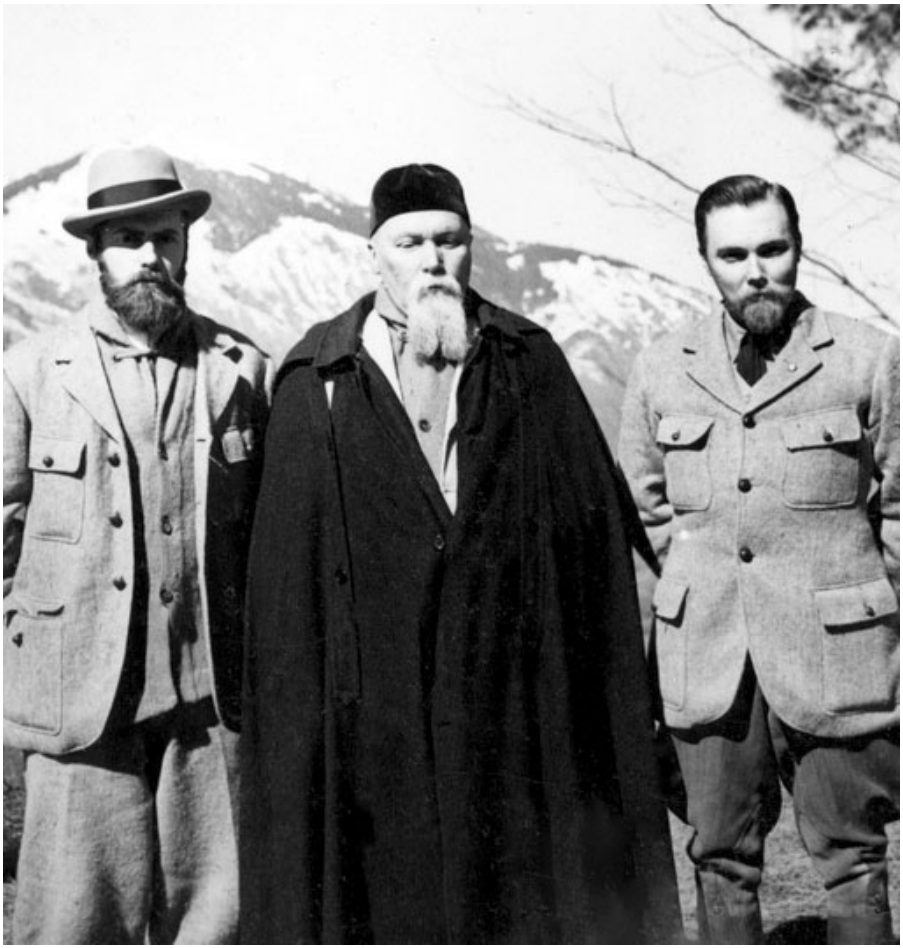
Для осуществления этой затеи владевший восточными языками Блюмкин был отправлен в Афганистан.

Его двоюродный брат Аркадий Бергер, носивший фамилию Максимов и работавший в ОГПУ, продолжал следить за Борисом Бажановым, отсылая на Лубянку чуть ли не ежедневные отчёты о том, что делал и что говорил опекаемый им секретарь политбюро.

А Яков Блюмкин тем временем прибыл в Афганистан и вошёл в контакт с сектой исмаилитов (шиитская ветвь ислама), которые поклонялись своему лидеру Ага-хану, считая его живым богом. Ага-хан жил тогда в Индии. И с одним из исмаилитских караванов под видом дервиша (нищенствующего набожного отшельника) Блюмкин пересёк индийскую границу. Но был арестован. Однако вскоре из тюрьмы бежал, прихватив с собой кое-какие секретные документы.

А Николай Рерих в это время готовился начать грандиозную экспедицию по Центральной Азии.

Теперь вспомним Давида Соломоновича Шора, того самого музыканта, который ещё в 1913 году обратил внимание на молодого поэта, так элегантно танцевавшего в поставленном им спектакле «Владимир Маяковский». В мае 1925 года Давид Шор и Ицхак Рабинович (в ту пору руководивший еврейскими спортивными и молодёжными организациями страны Советов) направили меморандум председателю Совнаркома Алексею Рыкову и главе КомЗЕТа (исполнявшему обязанности и председателя ВЦИК) Петру Смидовичу. Шор с Рабиновичем требовали прекратить начавшееся тогда в СССР преследование евреев, освободить арестованных сионистов, разрешить евреям изучать иврит, и не препятствовать их эмиграции в Палестину.



Рерихи во время экспедиции на Тибет, 1925.

Владимир Маяковский в это время был занят подготовкой к очередной поездке за рубеж. Для того чтобы предстоящий вояж был успешнее предыдущего, поэту требовалось более надёжное прикрытие. Гепеушники нашли его – появилась прекрасная возможность отправиться за рубеж в качестве одного из организаторов выставки в Париже и в качестве автора выставляемых на ней рекламных плакатов. Аркадий Ваксберг об этом написал:

«*По столь серьёзной причине он добивался специальной командировки и отправился в Париж вместе с автором проекта советского павильона на выставке, архитектором Константином Мельниковым, и своим другом, фотохудожником Александром Родченко*».

В приведённой фразе есть неточности. Начнём с конца.

О друге Маяковского, фотохудожнике Александре

Михайловиче Родченко, Бенгт Янгфельдт написал:

«*Родченко… уехал в Париж в марте…*»

Так что Родченко был уже во Франции, в то время как Маяковский находился ещё в Москве.

А архитектор Константин Степанович Мельников как главный куратор строительства советского павильона должен был быть на месте его возведения ещё раньше.

Кроме того, Маяковский и в этот раз добирался до Парижа знакомым ему маршрутом: до Кёнигсберга – на самолёте, а оттуда – поездом. Вряд ли Мельникову с Родченко были по карману билеты на самолёт.

Сомнительно также утверждение, что выставка в Париже явилась «*серьёзной причиной*» для добывания специальной командировки во Францию. Как раз наоборот, заранее запланированная гепеушниками поездка Маяковского за рубеж теперь прекрасно прикрывалась парижской выставкой, и он из поэта, славящего режим большевиков, превращался в простого художника. Ему уже ничего не нужно было «*добиваться*» – всё и так шло по плану, разработанному на Лубянке.

Не очень убеждает и утверждение Янгфельдта, который написал:

«*Маяковский покинул Москву лишь в конце мая. Для этого было несколько причин: во-первых, советский павильон был готов только в начале июня, во-вторых, культурно-политическая ситуация требовала его присутствия в Москве*».

Вряд ли срок завершения строительства советского павильона и «*культурно-поли тическая ситуация*» в Москве могли хоть как-то влиять на дату отбытия Маяковского за границу. Здесь всё решали организаторы и кураторы его поездки. Как было ему сказано, что надо уехать в конце мая, так он и уехал. Якобы на открытие выставки.

Слово «*якобы*» употреблено нами потому, что, судя по всему, сама выставка не очень интересовала поэта. Ваксберг пишет:

«*…истинная цель поездки состояла в другом: он не терял надежды добиться всё-таки американской визы*».

Отъезд поэта из Москвы планировался на конец второй декады мая. Но этого не случилось. По причине довольно экстравагантной. О ней – Бенгт Янгфельдт:

«*…он должен был покинуть Москву ещё 20-го, но проиграл дорожные деньги и задержался на несколько дней в надежде отыграться*».

Об увлечении Маяковского картами – Лев Никулин:

«*Мне кажется, отчасти правы были те, кто говорил, что игра отвлекала его, служила отдыхом после долгих часов труда, после*

почти непрерывной работы мысли не только за письменным столом или в редакции, а всюду, даже на прогулке, даже в полусне, когда мозг продолжает свою работу. В этой работе нет ни выходных, ни отпускных дней, здесь «рабочее место» всюду и везде до той минуты, пока, наконец, в руках у автора уже не рукопись даже, а напечатанное произведение».

Вряд ли эти слова оправдывают любителя картёжной игры, чуть не провалившего порученное ему ответственное дело. Хотя, впрочем, и эта игра тоже могла быть запланирована Лубянкой, чтобы Маяковского воспринимали не только художником, но ещё и жутким картёжником.

Сумел ли поэт отыграться или нет, об этом достоверные свидетельства отсутствуют. Известно лишь, что ему пришлось нагонять события.

25 мая 1925 года в журнале «Смена» было опубликовано стихотворение Маяковского «Красная зависть», в котором говорилось о том, что поэт завидует молодым, которым предстоит жить в грядущем, и прославлялось Общество друзей воздушного флота. Стих начинался с портрета поэта:

«Я / ещё / не лыс / и не шамкаю,
всё же / дядя / рослый с виду я».

И в тот же день (25 мая) этот «*дядя рослый с виду*» отправился на Ходынское поле, сел на самолёт и вылетел в Кёнигсберг. В «Я сам» об этом сказано:

«*Еду вокруг земли. Начало этой поездки – последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман*»..

Шестая «*ездка*»

В письме, написанном Лили Брик 2 июня (уже в Париже), о полёте в Кёнигсберг сказано следующее:

«*Долетел хорошо. ‹…› Лётчик Шебанов замечательный. Оказывается, все немецкие директора сами с ним летать стараются. На каждой границе приседал на хвост, при встрече с другими аппаратами махал крылышками, а в Кёнигсберге подкатил на аэроплане к самим дверям таможни, аж все перепугались, а у него, оказывается, первый приз за точность спуска.*

Если будешь лететь, то только с ним.

Мы с ним потом весь вечер толкались по Кёнигсбергу».

До Берлина Маяковский добирался поездом. 28 мая он

прибыл в Париж, где вновь поселился в отеле «Истрия» – по соседству с номером, в котором жила Эльза Триоле. Она потом написала, что поэт…

«*…с восторгом рассказывал мне, как на границах лётчик из вежливого озорства «приседал на хвост»*».

Жаль, что воспоминания о встречах с Маяковским у Эльзы перепутались, смешались – она призналась в этом сама:

«*Повторные поездки Маяковского в Париж сливаются у меня в голове*».

Поэтому относиться к её рассказам следует с осторожностью.

Один из первых визитов поэт нанёс в советское полпредство. И обнаружил…

Эльза Триоле:

«*С какого-то времени за нами повсюду начали ходить шпики, может быть, с тех пор, как Володя стал часто встречаться с товарищами из полпредства, куда мы, туда и шпики*».

В парижской полиции, конечно же, прекрасно знали, с кем имеют дело, и никакие удостоверения участника выставки никого сбить с толку не могли.

Зато мексиканскую визу Маяковский получил беспрепятственно. Аркадий Ваксберг прокомментировал это событие с недоумением:

«*…каким-то чудом ему удалось убедить работников консульства, что он не поэт, а рекламный агент*».

А между тем недоумевать нет никаких оснований, так как с мексиканцами обо всём было договорено заранее.

Бенгт Янгфельдт:

«*Поскольку уже через неделю пребывания в Париже ему сообщили, что документы готовы, можно предположить, что контакты с мексиканскими властями были установлены ещё в Москве*».

Во вторник, 2 июня, Маяковский посетил мексиканское посольство и сразу же написал Лиле Брик:

«*Пишу тебе только сегодня, потому что субботу, воскресенье и понедельник всё закрыто, и ничего нельзя было узнать о Мексиках, а без Мексик и писать не решался. Па роход мой, к сожалению, идёт только 21 (это самый ближайший). Завтра беру билет. «Espagne» Transatlantique 20 000 тонн. Хороший дядя, хотя и только в две трубы. Доро го. Стараюсь ничего не тратить и жить нашей газетой, куда помещаюсь по 2 фр<анка> строка.*

Стараюсь делать всё, чтобы Эличка скорей выехала. Был в консульстве. Завтра пошлю Эльзу, и тогда запросят Москву телеграфом».

Приведённые строки нуждаются в пояснении. Судя по тому,

что написал Маяковский, визу в Мексику он уже получил (но не «*через неделю после пребывания в Париже*», как считает Янгфельдт, а гораздо раньше). И с пароходом, на котором предстояло пересечь Атлантический океан, тоже всё определилось – оставалось только купить билет. А хлопоты по делам Эльзы Триоле понадобились из-за того, что она собралась поехать в Москву.

Аркадий Ваксберг:

«*Советский паспорт, по которому продолжала жить Эльза, не давал ей возможности свободно поехать в свою страну – для этого, как и всем иностранцам, ей была нужна въездная виза. Хлопотал Маяковский, но нет оснований считать, что без его хлопот виза не была бы выдана. К невозвращенцам, даже если они и предпочли заграницу по мотивам не политическим, кремлёвско-лубянские власти относились с подозрением и осуждением. К Эльзе, по всей вероятности, это отношения не имело*».

Здесь Ваксберг вновь не совсем точен. Эльза Юрьевна уже давно получила французское гражданство и жила по парижскому паспорту. Поэтому все «*хлопоты*» с въездной визой наверняка были всего лишь прикрытием, позволявшим исключить любые подозрения в причастности мадам Триоле к советским спецслужбам.

Девушки и башня

В Париже была чудная пора – только что закончилась весна, наступало лето. Но верный себе Маяковский уже первое письмо, посланное Лили Юрьевне, заполнил строками, полными уныния и печали:

«*Не пишу тебе, что мне ужасно скучно, только чтоб ты на меня – хандру – не ругалась.*

Выставка – скучнейшее и никчёмнейшее место. Безвкусица, которую даже нельзя себе представить.

Так наз<ываемый> «Париж весной» ничего не стоит, так к<ак> ничего не цветёт, и только везде чинят улицы. В первый вечер поездили, а теперь я больше никуда не выхожу, сплю 2 раза в сутки, ем двойной завтрак и моюсь, вот и всё…»

Но заканчивалось письмо как всегда традиционно трогательно:

> «*Целую тебя, милый мой и родненький Лилик.*
> *Люби меня немножко, весь твой*
> *Щен*
> *Целуй Осика!*

2/VI – 25 г.
Пиши, пожалуйста!»

На следующий день, 3 июня, газета «Парижский вестник» начала печатать стихотворения Маяковского. Об этом «Вестнике» Янгфельдт пишет, как…

«…*о газете, учреждённой советской дипломатической миссией в Париже в противовес «белогвардейским» изданиям*».

Первым было опубликовано стихотворение «Еду» (из поэмы «Париж», как сообщал «Парижский вестник»). Никакого уныния поначалу в этом стихе нет:

«*Весёлых / тянет в эту вот даль.*
В Париже грустить? / Едва ли!
В Париже / площадь / и та Этуаль,
а звёзды – / так сплошь этуали».

«*Этуаль*» – это «*звезда*» в переводе с французского. А в переносном смысле, как разъясняется в комментариях к шестому тому 13-томного собрания сочинений поэта, «*этуаль – первоклассная кафешантанная певица*». И Маяковский сразу вычёркивает себя из тех, кто веселится:

«*Завистливый, / трись, / врезайся и режь*
сквозь Льежи / и об Брюсселя.
Но нож / и Париж, / и Брюсель, / и Льеж –
тому, / кто, как я, обрусели».

В стихотворении «Город» (о нём мы уже говорили, да и написано оно было явно во время прошлого визита во Францию) поднималась тема, парижанам совершенно непонятная и неинтересная (кто Маяковский: попутчик или нет?):

«*Может, / критики / знают лучше.*
Может, / их / и слушать надо.
Но кому я, к чёрту, попутчик!
Ни души / не шагает / рядом».

А затем последовали такие же заунывные строки, как и в письме Лили Брик:

«*Мне скучно / здесь / одному…*»

Как же так? В Париже (!) и «*скучно здесь*»?

В стихотворении «Верлен и Сезан», появившемся в той же газете тремя неделями спустя, всё та же щемящее-тоскливая интонация:

«Я стукаюсь / о стол, / о шкафа острия –
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь / в отеле Istria –
на коротышке / rue Campagne-Premiere.
Мне жмёт. / Парижская жизнь не про нас…»

Поэт продолжал сетовать и дальше. На этот раз на советских художников, которые рвались нарисовать не его, а какого-нибудь члена ЦК:

«Небось / не напишут / мой портрет, –
не трут / понапрасну / кисти.
Ведь то же / лицо как будто, – /
ан нет, рисуют кто поцекистей».

Но если для советского поэта жизнь Парижа скучна, то для кого же она весела? Для Нестора Махно, которого после полуголодной зимы в апреле 1925 года перевезли в Париж? Не имея средств к существованию, бывший атаман анархистов работал столяром, плотником и даже плёл домашние тапочки. И до гуляйпольского батьки во Франции вообще никому не было дела.

Интересно, а не встречались ли в Париже советский поэт и анархистский атаман, тоже, как мы помним, сочинявший стихи?

В стихотворной зарисовке «Кафе» (в советских изданиях – «Прощание») Владимир Маяковский с игривой кокетливостью вдруг заговорил о слухах относительно своих встреч в столице Франции:

««Тут / проходил / Маяковский давеча,
хромой – / не видали рази?» –
«А с кем он шёл?» – / «С Николай Николаичем» –
«С каким?» – / «Да с великим князем!» –
«С великим князем? / Будет врать!
Он кругл / и лыс, / как ладонь.
Чекист он, / послан сюда / взорвать…» –

«Кого?» – / «Буа-дю-Булонь»».

Звучит, конечно же, интригующе и забавно: советский агент послан в Париж с коварнейшим заданием – взорвать Булонский лес (по-французски – Буа-дю-Булонь). И Маяковский смеялся, откровенно издеваясь над подобными нелепейшими (с его точки зрения) слухами. Но тем самым невольно подтверждал их существование.

Кстати, эта манера поэта – вести себя слишком самоуверенно, поглядывая на окружающих свысока – бросалась в глаза многим. Корней Чуковский даже записал однажды в дневнике, что в Маяковском…

«…*чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии. Не то, чтобы он был надменен. Но он ходил среди людей, как Гулливер*».

Фраза, в письме Маяковского – «*больше никуда не выхожу*» – тоже не очень соответствует действительности. Он много ходил по Парижу. Эльза пишет:

«*Володя начал брать с собой в качестве переводчиц и гидов подворачивавшихся ему на Монпарнасе молоденьких русских девушек, конечно, хорошеньких. Ухаживал за ними, удивлялся их бескультурью, жалеючи, сытно кормил, дарил чулки и уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию, вместо того чтобы влачить в Париже жалкое существование.*

Но, конечно, Маяковский не только девушками занимался в Париже, да и занимался-то он ими, так сказать, попутно, поскольку ему всё равно нужен был сопровождающий или сопровождающая».

Да, не только девушек из семей эмигрантов «*уговаривал*» Владимир Владимирович ехать в Советскую Россию. Эльза Триоле:

«*И кем бы Маяковский ни говорил, он всегда хотел увезти всё и вся с собой, в Россию. Звать в Россию было у Володи чем-то вроде навязчивой идеи. Стихи «Разговорчики с Эйфелевой башней» были написаны им ещё в 1923 году, после его первой поездки в Париж:*

Идёмте, башня! / К нам!
Вы – / там, / у нас, нужней!..
Идёмте! / К нам! / К нам, в СССР!
Идёмте к нам – / я / вам достану визу!»

И всё-таки в самом последнем стихотворении, написанном тогда в Париже, Маяковский выказал своё истинное отношение к

этому городу:

«*Подступай / к глазам, / разлуки жижа,*
сердце / мне / сантиментальностью расквась!
Я хотел бы / жить / и умереть в Париже.
Если б не было / такой земли – / Москва».

Парижские встречи

И уж тем более не мог Маяковский безвылазно «*сидеть*» в отеле «Истрия», когда он получил деньги. Их ему выдали не в советском посольстве, а в обычном парижском банке, куда Владимир Владимирович отправился вместе с Эльзой Триоле.

Вручённая ему сумма была невероятно большой – 25 тысяч франков. Бенгт Янгфельдт сравнил её с деньгами, которые получали тогда советские и французские служащие:

«*25 тысяч франков соответствует примерно годичной зарплате французского учителя и почти трёхгодичной зарплате советского гражданина. Сумма 25 тысяч франков соответствовала 2400 рублям, что свидетельствует об особом статусе Маяковского: советский гражданин мог перевести за границу не более 200 рублей в месяц одному и тому же человеку*».

Получив такую громадную сумму, Маяковский, видимо, сразу резко переменил образ жизни, о котором сообщал в письме Лили Юрьевне («*стараюсь ничего не тратить*»). Эльза Триоле в своих воспоминаниях написала, что по Парижу уже тогда стали распространяться разговорчики, о которых узнал поэт:

«*…кто-то ему рассказал ходившие по Парижу толки, что, мол, приехал советский поэт, ходит по кафе и кабакам, а денег у него – куры не клюют! А тоже говорит: кто не работает, тот не ест. Оно и видно! ‹…› Маяковский совершенно не переносил судачеств и сплетен и переживал их мучительно*».

Если подобная молва разлетелась по Парижу, значит, Маяковский не скрывал своего благополучного положения и даже бравировал им, выставляя напоказ.

Зачем?

Неужели только для того, чтобы показать свою состоятельность и утереть носы французским буржуям? Ведь писала же Эльза Триоле:

«*Говорил мне в Париже: «Когда я вижу здешнюю нищету, мне хочется всё отдать, а когда вижу здешних миллиардеров, мне хочется, чтобы у меня было больше, чем у них»*».

Скорее всего, образ богача-гуляки был придуман для

Маяковского на той же Лубянке. Ведь там прекрасно знали, что за поэтом в Париже будут следить. И в воспоминаниях Эльзы говорится, что «*шпики*» возникали неоднократно:

«*Куда мы, туда и шпики. Что-то записывали в книжечки, и Володя научил меня выражению: «взять на карандаш»: «Смотри, Эличка, они взяли тебя на карандаш!» Шпиков этих мы знали в лицо*».

Она же рассказала, как вёл себя поэт после ночных развлечений:

«*…бывало, утром встанет и, несколько смущённый, просит меня пойти с ним на свидание в «Ротонду» или «Дом». Дело в том, что, проснувшись, он увидел свои хорошо сложенные вещи, а это с ним бывает, когда он выпьет и хочет самому себе доказать, что он не пьян…*»

Но, ходя «*по кафе и кабакам*» и ухаживая за красотками-эмигрантками, Маяковский не только сорил деньгами. Были у него контакты, которые вполне можно назвать очень ответственными, но при этом довольно загадочными. К примеру, во второй половине мая состоялась встреча советского поэта с гражданином фашистской Италии. Янгфельдт пишет:

«*В один из вечеров он встретился с Филиппо Томмазо Маринетти, лидером итальянских футуристов, с которым не виделся со времён его визита в Россию в 1914 году*».

Александр Михайлов уточняет:

«*Встреча происходила в одном из парижских ресторанов, переводчиком была Эльза Триоле*».

Эльза Триоле:

«*Было это в ресторане Вуазен*».

Сведений о той давней беседе почти не сохранилось, и биографы упоминают о ней очень кратко.

Александр Михайлов:

«*Маяковский как-то обмолвился, что ему не о чем было говорить с Маринетти, так, из вежливости, перекинулись несколькими фразами*».

Эльза Триоле:

«*Досадно, что мне изменяет память, и что я не могу восстановить разговора, (шедшего, естественно, через меня) между русским футуристом и футуристом итальянским, между большевиком и фашистом. Помню только попытки Маринетти доказать Маяковскому, что для Италии фашизм является тем же, чем для России является коммунизм, и огорчённого Маяковского*».

Бенгт Янгфельдт:

«*По сведениям одной газеты запись их беседы предполагалось опубликовать, из чего можно сделать выводы, что она была куда*

более содержательной».

Александр Михайлов обратил внимание на скупость комментариев Маяковского и удивился тому, что переводчица поэта, Эльза Триоле…

«…*через годы не могла вспомнить подробностей этого разговора*».

Из всего этого Янгфельдт сделал закономерный вывод:

«…*частичная потеря памяти у Эльзы и уклончивость Маяковского, скорее всего, свидетельствуют о том, что между поэтами было больше общего, чем расхождений*».

При расставании фашист Маринетти оставил в записной книжке воспевавшего коммунизм Маяковского свои футуристические пожелания. Они начинались со слов:

«*Дорогому Маяковскому и великой России – энергичной и оптимистической*».

Вполне возможно, что необходимость встречи двух поэтов-футуристов имела совсем иную, более прозаичную причину. Не была ли она устроена для того, чтобы попросить Маринетти поспособствовать советскому стихотворцу в получении въездной визы в Италию? Ведь итальянский футурист был в своей стране фигурой заметной. А в Италию Маяковский стремился потому, что туда собиралась поехать Лили Брик. Аркадий Ваксберг по этому поводу написал:

«…*ей очень бы пригодилась лечебная грязь знаменитых итальянских курортов. Предвидя обычные сложности, она написала хорошо ей знакомому Платону Керженцеву, советскому послу в Риме, прося о содействии*».

Да, советским послом в фашистской Италии был в ту пору бывший начальник Маяковского по «Окнам РОСТА» Платон Михайлович Керженцев. И Владимир Владимирович хотел преодолеть «*обычные сложности*» при получении визы, действуя с двух сторон: усилия советского полпреда подкрепить хлопотами итальянского футуриста.

А теперь пришла пора перейти к рассказу о событии, которое Ваксберг назвал «*комичным*», но при этом «*весьма драматичным*», так как он «*едва не сорвал все планы*».

Загадочная история

9 июня 1925 года Маяковский написал Лили Брик второе письмо:

«*Дорогой, любимый, милый и изумительный Лилёнок.*

Как ты и сама знаешь – от тебя ни строчки. Я послал тебе

уже 2 телеграммы и 1 письмо, и от тебя даже ни строчки приписки к письмам Эльзе!»

Лили Юрьевна не писала Маяковскому, видимо, из-за того, что ей было не до него – из Крыма вернулся Краснощёков, и они собирались поехать отдохнуть (ведь оба только что тяжело болели).

А Маяковский в своём письме продолжал:

«*Я живу здесь ещё скучнее, чем всегда. Выставка осточертела, в особенности разговоры вокруг неё. Каждый хочет выставить свой шедевр показистей и напрягает всё своё знание французского языка, чтобы сказать о себе пару тёплых слов*».

Высказывание поразительное! Маяковскому «*осточертело*» то, что участники выставочной экспозиции рекламировали свои экспонаты. А сами футуристы? Разве они на протяжении более десятка лет везде и всюду без устали не превозносили свои произведения, убеждая всех в том, что их нетленные шедевры – искусство будущего? Что же касается самого Маяковского, то по части произнесения «*тёплых слов*» в свой собственный адрес равных ему, пожалуй, просто не было.

Получалось, что футуристам, ставшим лефовцами, подобная реклама (и самореклама) была позволительна, а всем остальным категорически противопоказана.

И вот тут-то произошло событие, которое совсем нетрудно было спрогнозировать.

Вечером 9 июня Маяковский читал стихи в советском полпредстве. А потом…

Аркадий Ваксберг:

«*Маяковского дочиста обокрали. Забрав двадцать пять тысяч франков и оставив ему (вероятно, чтобы смог добраться до полиции) лишь три. Не три тысячи – три франка*».

Эльза Триоле:

«*Это обнаружилось позднее, когда же я пришла утром к Володе, он ещё спокойно жевал свой «жамбон», сидя без пиджака, у столика. Потом встал, надел пиджак, висевший на спинке стула, и привычным жестом проверил на ощупь, сверху вниз, карман – всё ли на месте. И я увидела, как он вдруг посерел! Бумажник! Обыскали комнату, бросились к хозяйке, и вот мы уже бежим в ближайший полицейский участок…*

Идём молча, каждый думает свою думу…

Денег вор не оставил совсем, и я прикидываю, что бы такое продать…

Володя же, может быть, думает о том, как он во второй раз вернётся в Москву не солоно хлебавши, с первого этапа

кругосветного путешествия, которое так и не состоится».

Но обратим внимание на то, как встретил Маяковский благородный порыв обеспокоенной и расстроенной Эльзы:

«*Наконец я говорю Володе, что можно было бы продать мою меховую накидку и кольцо – единственное моё имущество. Володя смеётся и, сразу повеселев, бодро говорит, что продавать ничего не нужно, что ни в коем случае не надо менять образа жизни, что мы будем по-прежнему ходить в ресторан «Гранд-Шомьер», покупать рубашки и галстуки и всячески развлекаться, и что в кругосветное путешествие он отправится…*

Так оно впоследствии и оказалось, хотя поиски полиции ограничились показаниями хозяйки, опознавшей вора, хорошо известного полиции».

Удивляет эта поразительная уверенность поэта в том, что случившееся никак не повлияет на его «*образ жизни*». С чего бы это вдруг? Не с того ли, что этот «*образ*» определял кто-то другой, для кого двадцать пять тысяч франков – сущие пустяки? Кем являлся этот загадочный «*другой*», догадаться совсем не трудно.

А вот как эта история описана чуть позднее самим Маяковским в письме Лили Брик:

«*В прошлую среду… меня обокрали, как тебе известно, до копейки (оставив 3 франка – 30 коп<еек>!) Вор снял номер напротив меня в Истриш, и когда я на двадцать секунд вышел по делам моего живота, он с необычной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажник и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему, только по приметам сказали, что это очень известный по этим делам вор. Денег по молодости лет не чересчур жалко. Но мысль, что моё путешествие прекратится, и я опять дураком приеду на твоё посмешище, меня совершенно бесила*».

Обнищавший в один момент Маяковский обратился за помощью, конечно же, не только к французской полиции, но и в советское полпредство. К его главе он зашёл в сопровождении Эльзы Триоле:

«*Ясно помню, как Маяковский рассказывал о краже полпреду Леониду Красину и как тот не только не посочувствовал и не предложил помочь, но и язвительно и почти радостно сказал: «На всякого мудреца довольно простоты!» Да, в то время многие были рады, что-де Маяковский остался в дураках, злорадствовали и смеялись*».

В Москву, в Госиздат, была тотчас отправлена телеграмма с просьбой выслать деньги.

И вот тут Маяковскому неожиданно крупно повезло. Ваксберг пишет:

«*По чистой случайности в это время Лиля выбивала для Маяковского деньги в государственном издательстве, которое выпускало собрание его сочинений. ‹…› В счёт будущих платежей издательство отправило для него деньги на адрес советского посольства в Париже, где ему выдали авансом ту сумму, о переводе которой пришло сообщение из Москвы. Приунывший было Маяковский снова стал почти богачом…*»

В 13-томном Собрании сочинений Маяковского возмещение украденной суммы прокомментировано так:

«*Госиздат телеграфно сообщил своё согласие возместить сумму, которая была выдана Маяковскому Торгпредством СССР в Париже*».

Невероятное везение

Криминальная история с кражей денег у Маяковского поражает обилием невероятных случайностей. «*Талантливый*» специалист по похищению чужих кошельков ***случайно*** оказался в банке, где советский поэт получал крупную сумму денег. Задумав кражу, этот злоумышленник решил снять номер в отеле «Истрия» напротив номера, в котором проживал Маяковский, и такой номер (***совершенно случайно***) оказался свободным. Грабителя, который, как оказалось, французской полиции был хорошо известен, парижские сыщики так и не нашли. Тоже ***случайность***? А в это же время за сотни километров от Парижа Лили Брик (и опять «*по чистой* ***случайности***») выбивала для Маяковского деньги. Ваксберг пишет:

«*Не имея никакой информации о краже, она подняла на ноги всех, от кого это зависело, чтобы снабдить Маяковского деньгами для дальнего путешествия*».

Что особенно удивляет в этой истории, так это то, что в её «сказочную» случайность поверил даже Аркадий Ваксберг, который по поводу других аналогично загадочных происшествий тут же задавался весьма уместными вопросами. А на этот раз почему-то принял всё так, как описывался этот инцидент в советские времена.

Зато Бенгт Янгфельдт (что тоже удивляет), всё время повествовавший о жизни Маяковского с самых что ни на есть романтических позиций, и считавший, что «*любовь* (между Лили Брик и Маяковским) – *это сердце всего*», неожиданно поведал об истории с кражей денег более прозаично. Он написал:

«*Может показаться странным, что Маяковский носил все наличные средства, 25 тысяч франков, в бумажнике. Действительно ли его обокрали? Или он проиграл деньги?*

Подтверждений – помимо того, что он был маниакальным игроком, – у этой гипотезы нет. Если бы он проиграл деньги, он никогда в жизни не посмел бы признаться в этом Лили, а искал бы другое объяснение, особенно учитывая, что за несколько недель до этого в Москве он уже проиграл сумму, предназначенную для путешествия».

Начав с нестандартного (и даже, можно сказать, весьма неожиданного) предположения, романтик Янгфельдт закончил тем, что свёл всё к страху Маяковского упасть в глазах Лили Юрьевны, которую якобы безумно любил.

Однако чем больше размышляешь над этой странной гостиничной кражей, тем всё увереннее приходишь к совсем уж прозаичному предположению: а не была ли она обыкновенной гепеушной акцией, направленной на то, чтобы лишний раз представить Маяковского рядовым советским гражданином, которого даже ограбить можно? Эта гипотеза объясняет практически всё, что происходило с поэтом в Париже. И его демонстративное бахвальство своей материальной обеспеченностью. И невозможность поимки «*вора*». И неимоверную оперативность Государственного издательства, которое, по словам того же Янгфельдта, «*по-прежнему относилось к поэту отрицательно*». И даже то, что Лили Брик выбивала деньги для Маяковского, ещё «*не имея никакой информации о краже*».

Да и проигрыш в карты ещё в Москве тоже хорошо вписывается в эту акцию: поэт уже тогда демонстративно (даже, пожалуй, слишком) афишировал свою любовь к азартным играм.

Как бы там ни было, но Госиздат выплатил Маяковскому 2 тысячи рублей, то есть почти 21 тысячу франков. Ещё несколько сотен ему одолжили Андре Триоле и коллеги поэта по выставке, те самые, что (если судить по письму поэта) так «*осточертели*» ему своим саморекламным бахвальством.

Сбор денег для предстоявшего путешествия Маяковский мгновенно превратил в занимательное развлечение, возникновение которого Эльза Триоле объяснила тем, что окружавшие поэта соотечественники «*злорадствовали и смеялись*»:

«*В связи с кражей и таким к себе отношением он придумал следующую игру: у всех пребывавших тогда в Париже русских (а их было немало на Художественно-промышленной выставке) Маяковский просил взаймы денег. Завидя в кафе на Монпарнасе рус ского, мы его оценивали, каждый по-своему, и если он давал сумму ближе к моей, разница была в мою пользу, если ближе к Володиной, то в его. Когда же он получал отказ, Володя долго отплёвывался, выражая мимикой предельную степень возмущения и брезгливости,*

и говорил: «Собака!»».

У Луначарского (по свидетельству Натальи Розенель) слово «*собака*» было «*одним из самых ласкательных слов*», в устах Маяковского оно звучало как ругательство.

Расставание с Парижем

В тот момент, когда Маяковский намеревался покинуть Европу и пересечь, плывя на запад, Атлантический океан, Эльза Триоле, как мы помним, тоже собиралась в поездку. Вот что она писала по этому поводу:

«*В то время я особенно затосковала по Москве, хотя бы – пожить немного! А тут как раз консульство советское открылось. Я отправилась в консульство. Там было переполнено, перед длинным как бы прилавком толкались парижские русские. Я объяснила консульскому служащему, зачем я пришла, и он тут же напустился на меня со своей подозрительностью к эмиграции. Почему у меня французский паспорт?.. А где мой советский, по которому я выехала? «Вы его скрываете, утаиваете! Оттого, что вы бежали, что заграничного паспорта у вас никогда не было».*

Я начала объяснять всё по порядку, что мне на НовоБасманной дали советский заграничный паспорт «для выхода замуж», и что я вышла замуж в 19-м году, и что мне дали французский паспорт, когда у меня выбора не было.

Но он не слушал, и я пришла домой в слезах. Под Володины утешения я начала рыться в чемоданах и – о чудо! – нашла свой старый заграничный советский паспорт.

В консульство я вернулась уже с паспортом и под прикрытием Маяковского. Володя защитно обнимал меня и объяснял, что Эличку обижать никак нельзя.

Паспорт мой произвёл сенсацию, на него сбежалось смотреть всё консульство – он носил чуть ли не первый номер советских заграничных паспортов. Меня попросили подарить его консульству как исторический документ, и я на радостях согласилась его отдать. Визу мне дали».

В конце второй декады июня Маяковский написал письмо Лиле Брик:

«*Дорогой мой, любимый и милый Лилятик!*

От тебя ни одного письма, ты уже теперь не Киса, а гусь лапчатый. Как это тебя так угораздило? Я по этому поводу ужасно грустный – значит, писем от тебя уже не дождёшься!

Ладно – повезу с собой телеграммы – они милые, но их мало.

Завтра утром 8.40. выезжаю Сен-Назер (Бретань) и уже через

12 часов буду ночевать на пароходе. 21-го отплываю!

Спасибо большое за Гиз и извини за хлопоты…»

Главу, посвящённую пребыванию Маяковского во Франции, Бенгт Янгфельдт завершил таким сообщением:

«*Через несколько дней Эльза уехала в Москву, где её встретили не только Лили и Осип, но и Елена Юльевна – воспользовавшись отсутствием Маяковского, она приехала в родной город*».

В этой фразе есть неточность: встретить Эльзу в Москве Лили никак не могла. Даже покидавший Францию Маяковский знал о том, что она отдыхает на Волге. Последнее его письмо, написанное перед тем, как отправиться в порт Сен-Назер и сесть на пароход, заканчивается словами об этом отдыхе:

«*Как на Волге?*

Смешно, но я узнал об этом случайно от знакомых. Ведь это ж мне интересно, хотя бы только с той стороны, что ты, значит, здорова».

Проницательный Аркадий Ваксберг тут же задался резонным вопросом:

«*Что же именно он узнал – «от знакомых»? То есть, скорее всего, от Эльзы, которая поделилась с ним секретом, сообщённым Лилей в письме, адресованном лично ей…*

Он узнал, что Лиля, не сочтя нужным его предупредить, вместе с Краснощёковым уехала отдыхать на Волгу. Точное место, где влюблённые укрылись от людских глаз, так и осталось замком за семью печатями: старый подпольщик, Краснощёков ещё не забыл правила конспирации…

В полном уединении они провели на ещё не загаженной отбросами Волге, на её великолепных песчаных пляжах полных три недели: с 19 июня по 10 июля 1925 года. Те самые три недели, которые Маяковский, ничего не зная о том, где Лиля, провёл на океанском пароходе…»

Ещё одну фразу из последнего письма, посланного Маяковским из Франции, тоже нельзя не привести:

«*Сегодня получил телеграмму от Лёвы, он как раз приезжает после моего отъезда через несколько часов*».

О каком Лёве идёт речь? О Льве Гиляровиче Эльберте, попутчике Лили Брик в её поездке в Ригу? Или о Льве Александровиче Гринкруге, финансовом директоре РОСТА? Кто из них прислал поэту телеграмму?

Ответов на эти вопросы, к сожалению, нет. Даже в 13-томном собрании сочинений поэта об этом «*Лёве*» ничего не сказано. Да это и понятно – «*Львов*», выезжавших за границу (а, стало быть, имевших какое-то отношение к ГПУ), в ту пору было

предостаточно.

Тем временем в Москве произошло событие, о котором Борис Бажанов написал:

«*В июне 1925 года Политбюро решило навести порядок в художественной литературе. Была выделена комиссия ЦК, сформулировавшая резолюцию «О политике партии в области художественной литературы». Суть резолюции, которую Политбюро утвердило, была та, что «нейтральной литературы нет» и советская литература должна быть средством коммунистической пропаганды.*

Забавен состав комиссии: председателем её был глава Красной Армии Фрунзе (до этих пор ни в каких отношениях с литературой не уличённый), членами – Луначарский и Варейкис. Варейкис был человек не весьма культурный. Но, будучи секретарём какого-то губкома (кажется, воронежского), в местной губернской партийной газете он написал передовую, направленную против очередной оппозиции; и он заканчивал эту статью, обращаясь к этой оппозиции цитатой из «Скифов» Блока: «Услышите, как хрустнет ваш скелет в тяжёлых наших нежных лапах». Зиновьев на заседании Политбюро привёл этот случай, как анекдотическую вершину бездарности аппаратчика. Этого было достаточно, чтобы Сталин выдвинул Варейкиса на пост заведующего Отделом печати ЦК, на котором Варейкис некоторое время и пробыл».

Секретарь ЦК компартии Туркестана Иосиф (Юозас) Михайлович Варейкис (ровесник Маяковского) завотделом печати ЦК был «*выдвинут*» в ноябре 1924 года.

В июне 1925 года состоялась встреча главы советского правительства Алексея Рыкова (а также руководства ВЦИК и ГПУ) с Давидом Шором и Ицхаком Рабиновичем, авторами протеста против начавшегося в СССР преследования евреев. Все их требования были решительно отвергнуты. Но кое-какие мероприятия, призванные продемонстрировать Западу, что никаких претеснений евреев в стране Советов нет и быть не может, было всё-таки решено провести.

И тут произошло событие экстраординарное. Приехавший из Вены в Берлин резидент разведывательного управления Красной армии (РУ РККА) Владимир Степанович Нестерович отправился во французское консульство. Это он, герой гражданской войны, награждённый орденом Красного Знамени и почётным революционным оружием, в январе 1921 года командовал летучим корпусом, созданным специально для того, чтобы разгромить повстанческую армию Нестора Махно. Корпус Нестеровича 24 дня преследовал махновцев, пройдя за это время 1200 километров. Разбить армию анархистского батьки не

удалось, но ей были нанесены огромные потери. Затем (уже во главе 9-й кавалерийской дивизии) Нестерович вновь преследовал Махно – вплоть до его бегства в Румынию.

После завершения гражданской войны Владимир Нестерович учился в Военной Академии РККА, окончив которую вновь занимал командные посты в Красной армии. В августе 1924-го он перешёл в Разведывательное управление РККА, и его (под фамилией Ярославский, оперативная кличка Ибрагим) направили работать в Австрию. И вот теперь он попросил у французского консула (в обмен на секретную информацию) французский паспорт на право въезда во Францию. Когда об этом узнали работники ОГПУ, Меер Трилиссер послал в Германию агентов, специально обученных расправляться с неугодными.

Океанское плавание

21 июня 1925 года пароход «Эспань», среди пассажиров первого класса которого находился Владимир Маяковский, покинул западное побережье Франции и направился к берегам Испании.

В написанном (по возвращении домой) очерке «Моё открытие Америки» есть описание:

«*Пароход «Эспань» 14 000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета*».

В том же очерке – признание поэта, на которое мы уже не раз ссылались:

«*Мне необходимо ездить. Общение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг*».

22 июня показался испанский порт Сантандер. Отсюда наш путешественник отправил письмо Лили Юрьевне, в котором написал:

> «*Мой «Эспань» – пароходик ничего. Русских не обнаружено пока. Едут мужчины в подтяжках и с поясом сразу (оне испанцы) и какие-то женщины в огромных серьгах (оне испанки). Бегают две коротких собачки. Японские, но рыженькие, обе одинаковые.*
>
> *Целую тебя, родненький, и бегу изучать по-французски, как отправить письмо.*
>
> *Целую тебя и Оську.*
>
> *Весь ваш Щен.*
>
> *22/VI-1925*».

Под текстом письма – юморной рисунок: пароход с двумя трубами, под ним написано: «*Атлантический океан*», а на его носу сидит маленький щеночек («*Щен*») и смотрит вперёд.

Кроме возможности послать письмо в Москву эта остановка в порту Сантандер вдохновила поэта на написание стихотворения «Испания». За время непродолжительной стоянки увидеть можно было немного. Но тридцать девять строк (лесенкой) появилось. Начиналось стихтворение так:

Рисунок В. Маяковского из письма Л. Брик, 22 июня 1925 г.

«Ты – я думал – / райский сад.
Ложь / подпивших бардов.
Нет – / живьём я вижу / склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПРАДО».
Из прилипших к скалам сёл
опустясь с опаской,
чистокровнейший осёл
шпарит по-испански».

Что это? Юмор? Но какой-то чересчур иронический, с подковыркой. Заканчивается стих ещё круче:

«Кастаньеты гонят сонь.
Визги… / пенье… / страсти!
А на что мне это всё?
Как собаке – здрасте!»

А ведь поэта никто в Испанию не звал, не приглашал. Зачем же так неуважительно о ней высказываться?

Из Сантандера пароход взял курс на запад (с небольшим южным уклоном) – в сторону Америки. В «Моём открытии Америки» говорится:

«*Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:*

Маркита, / Маркита, / Маркита моя!
Зачем ты, / Маркита, / не любишь меня».

А повсюду – куда ни посмотри – водный простор до самого горизонта.

«Моё открытие Америки»:

«*Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползём, как муха по зеркалу… И всё время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.*

Океан надоедает, а без него скушно».

И Маяковский написал стихотворение «Атлантический океан». В нём те же слова: «*а кругом – вода*», и эта вода напомнила поэту нечто родное, советское: «*воднячий Ревком*» и «*всеводный ЦИК*». Заканчивается стихотворение так:

«*То стынешь / в блеске лунного лака,*
то стонешь, / облитый пеною ран.
Смотрю, / смотрю – / и всегда одинаков,
любим, / близок мне океан.
Вовек / твой грохот / удержит ухо.
В глаза / тебя / опрокинуть рад.
По шири, / по делу, / по крови, / по духу –
моей революции / старший брат».

Сочинив этот стих, Маяковский заскучал («*Событий никаких*»). Так как по-прежнему дел и забот у него не было никаких, он занялся словотворчеством («*работал со словами*»). Как-то его взгляд упал на капитанский мостик, и поэт принялся переставлять слоги. Из «*капитанского мостика*» получилось необычайно звучное словосочетание: «*монский капитастик*». Понравилось. Впоследствии Владимир Владимирович часто рассказывал об этом своём «*открытии*» знакомым.

Ещё Маяковский начал философствовать. И даже стихотворение сочинил под названием «Мелкая философия на глубоких местах». Самая первая «*мелочь*» была направлена против заклятого недруга поэта – главного редактора газеты «Известия ЦИК» Юрия Стеклова, который писал длинные статьи-передовицы

(Маяковский называл их «*стекловицами*»):

«*Есть / у воды / своя пора:*
часы прилива, / часы отлива.
А у Стеклова / вода / не сходит с пера.
Несправедливо».

Владимир Владимирович ещё не знал, что Стеклова уже сменил Скворцов-Степанов, но поэту, как он сам потом признавался, очень хотелось «*досадить*» редактору, не пропускавшему в печать его стихотворений.

Вторая «*мелочь*» была направлена против поэта, к которому у Маяковского тоже было немало претензий, и которому тоже захотелось «*досадить*». А возникла такая необходимость, когда в воде появилось огромное существо:

«*Это кит – говорят. / Возможно и так.*
Вроде рыбьего Бедного – / обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу, / а у кита внутри».

Завершался стих такой «*мелкой философией*»:

«*Я родился, / рос, / кормили соскою, –*
жил, / работал, / стал староват…
Вот и жизнь пройдёт, / как прошли Азорские острова».

3 июля, наконец, показалась земля.

Страна Куба

Было безумно жарко. В «Моём открытии Америки» этот день описан так:

«*Утром жареные, печёные и варёные, мы подошли к белой – и стройками и скалами – Гаване. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой – ананасами…*

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прёшь со своей ананасиной, мать твою…»»

О том, как и почему Маяковскому удалось ступить на берег, рассказано в том же очерке:

«*Гавана. Стоим сутки. Брали уголь… Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту…*

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина…

Дождь тропический – это сплошная вода с прослойками воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинён «виски». Таинственные надписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт Хорс» – чернели на ящиках спирта, контробанды, вливаемой отсюда в недалёкие трезвые Соединённые Штаты…

Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут, почти не двигаясь».

Кроме телеграммы Владимир Владимирович отправил Лили Брик и второе письмо:

> «*Дорогой-дорогой, милый, милый, милый и любимейший мой Лилёнок!*
>
> *Получаешь ли ты мои (2) дорожные письма?..*
>
> *Нельзя сказать, чтоб на пароходе мне было очень весело. 12 дней воды это хорошо для рыб и для профессионалов открывателей, а для сухопутных это много. Разговаривать по-франц<узски> и по-испански я не выучился, но зато выработал выразительность лица, т. к. объясняюсь мимикой…*
>
> *Родненькая, телеграфируй мне обязательно твоё здоровье и дела…*
>
> *Много работаю.*
>
> *Соскучился по вас невыразимо.*
>
> *Целую 1000 раз тебя и 800 Оську.*
>
> *Весь ваш*
>
> *[Колумб]*
>
> *Щен».*

Тон писем, посланных с дороги, заметно отличается от того нудного уныния, которым переполнены послания, отправленные из Парижа. Возникает даже ощущение, что их писали совершенно разные люди: тоскливое хныканье и сетование на жизненные неурядицы сменились бодрым описанием трансатлантического плавания с шутками и даже с весёлыми рисунками.

Что случилось с Маяковским?

Или предписания Лубянки, запрещавшие выражать радостное восхищение пресловутыми «*прелестями*» буржуазных стран, на Атлантический океан не распространялись? И Владимир

Владимирович вновь мог писать так, как хотел, а не так, как требовалось?

Но если в письмах, написанных на борту парохода «Эспань», Маяковский неузнаваемо изменился, как бы вновь став самим собой (остроумным, наблюдательным, жизнерадостно-весёлым), то в стихотворениях, созданных во время этого плавания, его стиль не изменился ни на йоту. Даже Бенгт Янгфельдт, относящийся к творчеству Маяковского с величайшим пиететом, на этот раз употребил необычайно резкие слова:

«*…в одном стихотворении он издевается над шестью монахинями, путешествующими на пароходе. ‹…› Дешёвые шутки, которые могли бы найти отклик у необразованной рабочей публики, были недостойны автора таких произведений, как «Человек» и «Про это»*».

Вот некоторые из тех «*дешёвых шуток*»:

«*Трезвые, / чистые, / как раствор борной,*
вместе, / эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща / скрываются в уборной.
Одна зевнула – / зевают шесть».

Монахини читают Евагелие:

«*И днём, / и ночью, и в утра, и в полдни*
сидят / и бормочут, / дуры господни».

Во время стоянки в Гаване Маяковский начал писать стихотворение, имевшее поначалу много названий: «Негр Вилли», «Вилли из Гаваны», «Сахарный король», «Чёрные и белые». Но потом стих стал называться по-английски «Блек энд уайт» («Чёрное и белое»). Начинался он оптимистически, почти весело:

«*Если / Гавану / окинуть мигом –*
рай-страна, / страна что надо».

Но уже в следующем четверостишии появлялся гаванский чистильщик ботинок негр Вилли. Он немолод и давно уже «*вызубрил*» главный жизненный принцип капиталистической Америки:

«*Белый / ест / ананас спелый,*
чёрный – / гнилью мочёный.

Белую работу / делает белый,
чёрную работу – / чёрный».

Когда же Вилли спросил об этой явной несправедливости у подсевшего к нему, чтобы почистить ботинки, сахарного короля «*мистера Брэгга*», то получил от него по физиономии. И Маяковский завершает свою гаванскую историю так:

«*Негр / посопел подбитым носом,*
поднял щётку, / держась за скулу.
Откуда знать ему, / что с таким вопросом
надо обращаться / в Коминтерн, / в Москву?»

Очерк «Моё открытие Америки»:

«*Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:*

– Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «*Ай эм реша!*»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

– Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоумённые и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев».

От Гаваны до берегов Мексики – рукой подать, и 8 июля пароход «Эспань» пришвартовался у причала мексиканского порта Веракрус (Veracruz по-испански, что означает «Истинный Крест»). Маяковский называл его Вера-Круц.

Страна Мексика

«Моё открытие Америки»:

«*Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.*

Первое – красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец въезжает в квартиру и выбрасывает флаг.

Это значит:

«*Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду*». *Вот и всё.*

Попробуй – вышиби».

До столицы страны поэт добирался поездом.

«Моё открытие Америки»:

«*Отъехали в девять вечера.*

Дорога от от Вера-Круц до Мехико-Сити, говорят, самая красивая в мире…

Я встал рано. Вышел на площадку…

Такой земли я не видел и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрашенные красным, стояли кактусы. Одни кактусы».

Об этой дороге рассказывает и стихотворение «Тропики (дорога Вера-Круц – Мехико-сити)»:

«*Смотрю: / вот это – / тропики.*
Всю жизнь / вдыхаю наново я.
А поезд / прёт торопкий
сквозь пальмы, / сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они – священники,
не то они – художники.
Аж сам / не веришь факту:
из всей бузы и вара
встаёт / растенье – кактус
трубой от самовара».

О прибытии в столицу – в том же очерке «Моё открытие Америки»:

«*Диего де-Ривера встретил меня на вокзале…*

Я раньше только слышал, будто Диего – один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Ещё я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего».

Кроме Диего де ла Риверы Маяковского встречал и представитель советского посольства, о чём 10 июля сообщила столичная газета «Эксельсиор»:

«*Владимир Маяковский, известнейший из современных русских поэтов, прибыл вчера в нашу столицу и был встречен на станции представителем Советского посольства, в помещении которого он и поселился в качестве гостя…*

Господин Маяковский рассказал нам о том интересе, который он всегда испытывал по отношению к Мексике, выразил удовлетворение, что его давнее желание посетить эту страну

наконец осуществилось, и сообщил, что намеревается остаться в ней в течение месяца…

– Я знал, что здесь мне окажут приём лучший, чем в какой-либо другой стране в Америке».

В это время в дневнике главного редактора журнала «Печать и революция» Вячеслава Полонского появилась интересная запись, рассказывающая о посещении им бывшего политкаторжанина и поэта, ставшего заведующим ленинградским отделением ГИЗа (Госиздата) Ильи Ионовича Ионова (Бернштейна):

«*1925. 24. VI.*

Был в Ленинграде…

Ионов – встрёпанный, электрический, кипит, торгуется, бранится, восхищается своими книжками… «*Вы посмотрите, как издавали раньше, и как издаю я*», *– и тычет пальцем в цену, скрывая от неопытного, что рублёвая книжка дореволюционная издавалась в 3000, а рублёвая нынешняя в 30 000…*

Есенин тёрся, униженно льстя Ионову, не зная, куда девать руки, улыбаясь полусмущённо, точно сознаваясь перед всеми, что он льстит, лебезит, продаётся. Жалкое впечатление. Посвятил Ионову стихотворение, кое начинается словами: «*Издатель славный…*» *Ионова слегка затошнило:* «*Удобно ли печатать?*» *– спрашивает*».

Стихотворение Сергея Есенина начинается так:

«*Издатель славный! В этой книге*
Я новым чувствам предаюсь.
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь».

Вячеслав Полонский (опять об Ионове):

«*Он купил у Есенина собрание стихов – тот поэтому ходит перед ним на задних лапах. Пресмыкается – очень больно, такой огромный талант, но алкаголик, без чувства достоинства. Мне он очень долго и ветиевато говорил, что он от москвичей ушёл, что они* «*без идеологии*», *а он теперь переродился. Он принял Советскую власть и без идеологии не может. Я почувствовал без труда, что он* «*подлизывается*»».

В третьем четверостишии Есенин вновь обращается к издателю Ионову:

«*Но ты видением поэта*

Прочтёшь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком».

Вячеслав Полонский:

«*Подвыпив, Есенин мне жаловался: «Не могу я, уеду из России, сил нет, очень меня притесняют. Денег не дают» и т. д. Жалкое зрелище.*

Печальна судьба этого человека. Дарование огромное, но гибнет безвозвратно, если не погиб. Ни культуры, ни самоуважения, ни своей среды, ни объём<ного?> взгляда на жизнь. Неудивительно, что пьёт мертвецки. В пьяном виде стеклом вскрыл себе жилы на левой руке и не давался, когда хотели перевязать рану. Шрам остался ужасный, – он поэтому носит на руке шёлковую повязку.

Но стихи всё ещё хороши. Сколько в них ощущения гибели, развала, разгрома. Деревня ещё никогда не говорила таким поэтическим языком. Но его жалко».

А Маяковский устраивался в Мексике. И 15 июля написал очередное письмо Лили Брик:

«*Дорогой, дорогой, миллион раз милый, и один раз и навсегда любимый Кисит.*

Я в Мексике уже неделю. Жил день в гостинице, а потом переехал в полпредство. Во-первых, это приятней, потому что и дом хороший, и от других полпредств отличается чрезвычайной малолюдностью. ‹…› Во-вторых, это удобно, так <как> по-испански я ни слова… ‹…› В-третьих, и деньгов нет, а здесь складчина по 2 песо (2 руб.) в день, что при мексиканской дороговизне – сказочно».

Опять обратим внимание: оказавшийся в Мехико Маяковский не знает языка, на котором общается местное население, и денег у него не густо, но в приведённых строках письма – никакой печали. Фразы звучат бодро и даже весело.

«*О Мексике…*

Я попал не в сезон (сезон – зима), здесь полдня регулярно дожди, ночью холода и очень паршивый климат, т. к. это 2400 метров над уровнем моря, поэтому ужасно трудно (первые две недели, говорят) дышать и сердцебиения, что уже совсем плохо.

Я б здесь не задержался более двух недель. Но, во-первых, я связался с линией «Трансатлантик» на пароход (а это при заказе обратного билета 20 %! скидки), а во-вторых, бомбардирую телеграммами о визе Соединённые Штаты. Если же Соединённых

Штатов не выйдёт, выеду в Москву около 15 августа и около 15–20 сентября буду в Москве».

Ещё на одном месте этого послания стоит задержать внимание:

«*Детик!.. …если ты поедешь в Италию, боюсь, что это у меня не выйдет из-за проклятой кражи*!»

Почему «*проклятая кража*» не позволяла Маяковскому поехать в Италию, не очень понятно. Ведь «*похищенная*» сумма была восполнена почти полностью. Может быть, надо было просто напомнить о ней перлюстраторам его писем?

В Мексике российскому поэту сразу бросился в глаза революционный настрой всех её жителей. «Моё открытие Америки»:

«*Прежде всего, о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерётся за них и ведёт к ним человечество, – мексиканский революционер – это каждый, кто с оружием в руках свергает власть – какую, безразлично.*

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры».

Вскоре поэта повели смотреть местную достопримечательность – бой быков. Владимир Владимирович сразу встал на сторону убиваемых животных:

«*Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать её перед бычьим носом.*

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими рёбрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания…

Единственное, о чём я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулемётов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?»

Одной из мексиканских газет Маяковский дал интервью, сказав, что…

«*…приехал в Мексику, потому что это единственная страна западного полушария, в которой охотно принимают русских. (…) Поскольку дипломатические отношения между Россией и другими странами западного полушария отсутствуют, это единственная страна, «куда можно приехать на законном основании»*».

Александр Михайлов обратил внимание ещё на один нюанс этого интервью:

«*О политике Маяковский не рискует говорить подробно,*

потому что, замечает он, «это не моя специальность». Хитрит».

Бенгт Янгфельдт тоже заметил эту «*хитрость*» поэта:

«*Отвечая на вопросы журналистов о том, получал ли он какие-либо задания от советского правительства и был ли членом партии, Маяковский подчёркнуто ответил, что «уже давно отошёл от официальной политической деятельности» и что пребывание в Мексике носит чисто литературный характер и не имеет какого-либо политического значения*».

И тут Янгфельдт, любящий (как мы уже говорили) употреблять романтичные и лиричные словесные обороты, неожиданно заговорил с прозаичной жёсткостью:

«*Осторожный – и не совсем правдивый – ответ предназначался главным образом не читателям мексиканских газет, а американской миграционной службе. Маяковский прекрасно знал, что именно положение советского поэта и рупора коммунизма было основным препятствием для получения визы в США*».

На вопрос мексиканского журналиста, не собирается ли советский поэт посетить также Северо-Американские Соединённые Штаты, Маяковский ответил, что он…

«…*охотно поехал бы туда, если бы получил приглашение*».

Два поэта

Как мы помним, о своих планах (в письме Лили Брик) Маяковский рассказал достаточно подробно. Одна фраза вызывает удивление:

«*Я б здесь не задержался более двух недель*».

Как же так? Ведь он прибыл в страну, которая первой из американских государств установила с СССР дипломатические отношения, в страну необычную, экзотичную, о которой сам сказал мексиканскому репортёру:

«…*в России знают о Мексике мало или ничего*…»

«Моё открытие Америки»:

«*Это – обобранная американскими цивилизующими империалистами страна – страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось драгоценным металлом, – страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке*».

Но через несколько страниц следует добавление:

«*Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции*».

Почему же не задержаться в этом экзотически необычном и гостеприимном уголке мира подольше? Почему не присмотреться

к тому, как живут мексиканцы, что им нравится, а что – не по душе? Зачем рваться куда-то, пробыв в этой удивительной стране всего полмесяца?

Ответить на эти вопросы непросто. Скорее всего, здесь сказалось то, что, ступив с зыбкой палубы парохода на твёрдую землю, Маяковский вновь был вынужден подчиняться твёрдым правилам, установленным Лубянкой. К тому же, если судить по информации, содержащейся в приведённых фразах поэта, Мексика действительно его не интересовала, поскольку была всего лишь промежуточной страной, из которой предстояло попасть в вожделенные Соединённые Штаты.

Бенгт Янгфельдт:

«*Если Париж служил транзитной станцией на пути в Мексику, то Мексика была лишь этапом спланированного путешествия в США, возможно, даже вокруг света*».

Вопрос о том, кем было «*спланировано*» это «*путешествие*», Янгфельдт не задаёт. Но он напрашивается. И не один.

Зачем Маяковский так рвался в Соединённые Штаты?

Какое гепеушное дело ждало его там?

В. В. Маяковский. Мехико-Сити, 1925.

Сам Маяковский никаких ответов на эти вопросы не дал. А стихотворение «Мексика» заканчивается призывом к мексиканцам скорее совершить революцию:

> «*Сметай / с горбов / толстопузых обузу,*
> *ацтек, / креол / и метис!*
> *Скорей / над мексиканским арбузом,*
> *багровое знамя, взметись*!»

Советский поэт, окружённый «*чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми*», написал в «Моём

открытии Америки»:

«*Я уезжал из Мексики с неохотой*».

«*С неохотой*»! То есть как бы не по своей воле. Точно так же, как два года назад поэта заставили томиться в тоскливом Нордернее, так и теперь его чуть ли не насильно выталкивали из гостеприимной Мексики.

Зачем?

Ответ найти непросто. Поэтому вернёмся к единственному письму (Лили Юрьевне), написанному Маяковским в Мексике. В нём сказано:

«*Через несколько дней с секретарём посольства едем внутрь Мексики – в тропические леса; плохо только, что там жёлтая лихорадка, и придётся, очевидно, ограничиться только поездом…*

Когда ты получишь это письмо, меня уже в Мехико не будет, очевидно, т. к. я после поездки вглубь поеду прямо на пароход».

В Мексике Маяковскому исполнилось 32 года. Об этом – Аркадий Ваксберг:

«*Советник советского полпредства принёс поздравительную телеграмму, пришедшую из Москвы. Это был первый и последний раз, когда под обращённым к нему посланием всего из двух слов – «поздравляем целуем» – подписались (все вместе) шесть человек: Лиля, Ося, Эльза, Елена Юльевна и сёстры Маяковского Люда и Оля. Пройдёт совсем немного времени, и одни из подписавших телеграмму уже не станут скрывать своей лютой ненависти к другим, подписавшимися вместе с ними*»

Долгожданное «*приглашение*»

Обратимся к телеграммам, которыми Маяковский «*бомбардировал*» Соединённые Штаты. Они были адресованы главным образом Давиду Бурлюку, на помощь которого поэт очень рассчитывал. Но старый друг оказался бессилен.

23 июля Маяковский обратился во французское посольство с просьбой завизировать его паспорт – для возвращения во Францию. Но на следующий же день вновь подал заявление в консульство Соединённых Штатов о своём намерении посетить САСШ.

Много-много лет спустя вышла в свет книга Семёна Самуиловича Кэмрада «Маяковский в Америке». В ней есть такая фраза:

«*Из мемуаров французских политических деятелей известно, что французская полиция уже тогда была тесно связана с соответствующими органами одной из заатлантических республик*».

Стало быть, американцы должны были знать, ***что*** представлял собою рвавшийся к ним поэт-футурист. Потому на его пути и сооружались всевозможные препятствия.

Преодолеть их (наверняка по распоряжению, полученному из Москвы) удалось Леониду Яковлевичу Гайкису (Леону Хайкису), генеральному секретарю советского полпредства в Мексике, а по совместительству – резиденту ОГПУ в этой латиноамериканской стране. Леонид Гайкис был на пять лет моложе Маяковского. Именно он – с помощью связей и знакомств – выхлопотал для поэта желанную визу.

Впрочем, сам Гайкис впоследствии скромно умалчивал о своём участии в этой истории, заявив в своих воспоминаниях:

«*Маяковскому удалось получить визу в САСШ, убедив консульство в том, что он просто рекламный работник Моссельпрома и «Резинотреста»*».

В американском консульстве Маяковскому предложили заполнить анкету. Об этой процедуре сам поэт потом написал:

«*Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи*!»

Тот анкетный лист сохранился. Вот некоторые фрагменты из него:

«*Я, Владимир Маяковский, житель России, владелец паспорта № 36 258, выданного 12.1.1925 г. в Москве, собираюсь посетить Соединённые Штаты Америки…*

Род занятий последние два года – художник.

В настоящий момент – тоже.

Я хочу поехать в Соединённые Штаты с целью выставить там свои работы и намерен остаться на срок до 5 месяцев…»

Вопрос анкеты, намерен ли он стать гражданином Соединённых Штатов, поэт почему-то оставил без ответа. Однако работников консульства это обстоятельство не смутило, и, как впоследствии написал сам Владимир Владимирович…

«*…меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста…*»

В выданной ему визе было сказано:

«*Маяковский Владимир, 30 лет, мужчина, художник, ростом 6 футов, крепкой комплекции, обладающий коричневыми волосами и карими глазами, принадлежащий к русской расе, родившийся в Багдаде (Россия), проживающий постоянно в Москве (Россия), грамотный, говорящий на русском и французском языках, внёсший залог 500 долларов и имеющий при себе 637 долларов для жизни на 6 месяцев, может 27 июля 1925 года въехать в САСШ*».

Деньги для залога, необходимого для въезда в Соединённые Штаты, Маяковскому одолжила Элли Вульф. Она была

фотографом, и практически все мексиканские снимки поэта сделаны ею.

«Моё открытие Америки»:

«*Дух необычности и радушия привязали меня к Мексике.*

Я хочу ещё быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом, ещё Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях – и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов».

Но этой поездке (с гепеушником Гайкисом и мексиканским коммунистом Морено) осуществиться было не суждено – 27 июля Маяковский наконец-то получил возможность ступить на землю страны, в которую он так долго и безуспешно стремился.

А 26 июля ему вдогонку из Москвы Лили Брик отправила очередное послание, в котором был затронут и жилищный вопрос:

«*С квартирой в городе ничего не выйдет – денег нет. Ищу что-нибудь получше здесь или в Серебряном Бору (туда ходит автобус)*».

Вожделенные Штаты

В очерке «Моё открытие Америки» Маяковский вспоминал:

«*Ларедо – граница С.А.С.Ш.*

Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

– Ты жид?

Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

– Великоросс?

– Великоросс, великоросс, – обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений».

Пришлось искать переводчика. О нём – в том же очерке:

«*Переводчик – худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина*».

Появление россиянина в этом тихом уголке американского материка всполошил всех, кто имел отношение к России:

«*Первый русский за три года*!»

Переводчик окружил Маяковского заботой и вниманием:

«*…вёл меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь, – всё это без малейшего представления обо мне, только за одно слово – москвич*».

Наконец, все формальности были улажены, можно было ехать в Нью-Йорк. Взволнованный поэт запоминал впечатления:

«*Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, измурашенные фордами, какие-то строения технической фантастики*».

В очерке «Американское кое-что» Маяковский потом написал:

«*Жителей в США миллионов сто десять. От Ларедо через Техас до Нью-Йорка – четверо суток курьерским. Вдоль. Поперёк от того же Нью-Йорка до Сан-Франциско суток пять.*

В такой стране надо жить.

А я только был – и то всего три месяца. Америку я видел только из окон вагона».

30 июля 1925 года нью-йоркская газета «Новый Мир» оповестила читателей:

«*Сегодня утром в Нью-Йорк прибывает, после непродолжительного пребывания в Мексике, известный русский поэт и писатель Владимир Маяковский*».

И Владимир Владимирович действительно в тот же день прибыл в Нью-Йорк.

«Моё открытие Америки»:

«*…ньюйоркские вокзалы – одно из самых гордых видов мира…*

Над ними ярусы станционных помещений, под залами – этажи служб, вокруг – необозримое железо дорог, а под ними ещё подземное трёхэтажие собвея…

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжаю в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучен трёхдневным проездом по Техасу – глаза всё-таки растопырил».

Прямо с вокзала Маяковский позвонил Давиду Бурлюку, услышав голос которого, представился:

– Говорит Маяковский!

– Здравствуй, Володя. Как поживаешь? – невозмутимо произнёс Бурлюк.

– Спасибо. За последние десять лет у меня был как-то насморк, – так же невозмутимо ответил Маяковский.

В своих воспоминаниях Бурлюк впоследствии добавил:

«*С особым волнением услыхал в телефон его звучный, мужественный басо-профундо. Бросаюсь в подземку и мчусь на*

Пятое авеню, где остановился Владимир Влади мирович Маяковский. Ещё издали вижу большую «русскую» ногу, шагающую через порог, и пару увесистых чемоданов, застрявших в дверях».

2 августа в газете «Русский голос» Давид Бурлюк представлял своего друга:

«*Я не видел Владимира Владимировича Маяковского, поэта и художника, знаменитейшего барда современной Новой России, с апреля 1918 года. Тогда я расстался с ним в Москве… Многое изменилось. За спиной у Маяковского 52 изданные книги! Своё последнее издание стихов он продал за 15 тысяч рублей. Его творчество переведено уже почти на все языки, от Китая до Лондона, от Токио до Коломбо. А Владимир Владимирович так же юн, так же сыплет кирпичи своих острот*».

Небольшую квартирку на четвёртом этаже дома № 3 на Пятой авеню (неподалёку от Вашингтон-сквера) снял для Маяковского Исайя Яковлевич Хургин (этажом ниже располагалась квартира, в которой он проживал сам). Хургин же и встречал на железнодорожном вокзале прибывшего в город поэта.

Пятое авеню – центральная улица Манхеттена, одного из районов Нью-Йорка, считающаяся одной из самых красивых и дорогих улиц мира.

Александр Михайлов и Бенгт Янгфельдт в своих книгах с уверенностью заявляют, что это Исайя Хургин выхлопотал для Маяковского въездную визу, то есть Леонид Гайкис тут абсолютно не причём. Поэтому присмотримся повнимательнее к личности человека, которому предстояло ещё и опекать Владимира Маяковского в этой стране.

Бенгт Янгфельдт характеризует его так:

«*Математик и астроном, Хургин приехал в США в 1923 году в качестве главы американского филиала немецко-российского транспортного предприятия. Поскольку организация, отвечавшая за торговлю между СССР и США, работала плохо, он предложил министру внешней торговли Красину (бывшему начальнику лондонского Аркоса) учредить новое акционерное общество, и в мае 1924 года была создана Американская торговая корпорация (Амторг)*».

Сразу обратим внимание на неточности приведённой цитаты. Страну, в которую приехал Хургин, в 20-е годы прошлого столетия называли не США, а САСШ (Северо-Американские Соединённые Штаты) или СШСА (Соединённые Штаты Северной Америки). Леонид Красин занимал пост не министра, а наркома (народного комиссара) торговли и промышленности, и было это с ноября 1918 по июнь 1920 годов. Затем он возглавил торгпредство Советской России в Великобритании (хорошо

известный нам «Аркос»), после чего стал послом СССР во Франции.

Неточности эти, конечно же, не очень существенные, но, рассказ о какой-то прошедшей эпохе желательно всё же вести на языке того времени.

Продолжим рассказ Янгфельдта об Исайе Хургине:

«*К тому времени, когда Маяковский приехал в США, Хургин успел сделать себе имя в финансовых кругах Нью-Йорка как «жизнерадостный, умный, проницательный, ироничный человек». Поскольку Амторг отпочковался от американского филиала Аркоса, легко предположить, что контакт с Хургиным осуществлялся при посредничестве Красина (с которым Маяковский встречался в Париже) или другого сотрудника этой фирмы, может быть, даже через Елену Юльевну, которая по-прежнему работала в лондонском офисе Аркоса*».

Здесь необходимо добавить самое, пожалуй, главное в биографии Хургина: пост главы Амторга он мог занять только в том случае, если на это дало «*добро*» ОГПУ. Ведь свою должность руководителя Американской торговой корпорации Исайя Яковлевич должен был совмещать с постом резидента советских спецслужб в Северо-Американских Соединённых Штатах.

Первые интервью

Надо полагать, что уже у ехавшего в Нью-Йорк советского поэта начали слагаться строки, которыми потом будет начинаться его стихотворение «Порядочный гражданин»:

«*Если глаз твой / врага не видит,*
пыл твой выпили / нэп и торг,
если ты / отвык ненавидеть, –
приезжай / сюда / в Нью-Йорк».

Вот с таким отношением к этому городу въехал в него Владимир Маяковский.

А теперь вернёмся к жилью, которое снял Маяковскому Хургин. Квартира была однокомнатной. В ней в самом начале августа 1925 года поэта навестил американский журналист и писатель Майкл Голд, настоящее имя которого было Ицик Хаимович Гранич. 9 августа нью-йоркская газета «Уорлд» напечатала его интервью с советским стихотворцем:

«*Маяковский – самый известный поэт Советской России за последнее десятилетие, голос её новой бури, голос хаоса и стройки,*

лауреат её новейшей техники, апостол индустриализации того народа, который ещё наполовину живёт в средневековье, ещё остался азиатом.

Его стихи расходятся в новой России миллионными тиражами, в них – «громовой зов индустриализации», в них говорится о фабриках, сталелитейных заводах, о действии, действии, действии!

По величине, по шуму, по движению Нью-Йорк должен был понравиться любому футуристу, но Маяковский недоволен».

Соединённые Штаты, надо полагать, советского поэта ошарашили. Такого невероятного прогресса, таких технических достижений он увидеть не ожидал. Поэт был в восторге. Но очень скоро опомнился. Или ему подсказали (возможно, тот же Хургин), что гражданину первого в мире государства рабочих и крестьян не пристало умиляться чужеземными (буржуазными) достижениями. И Маяковский принялся искать недостатки, сбои, нестыковки американского общества – те самые, что, как известно, при желании можно найти в любой стране.

Майкл Голд сидел у стола и записывал ответы Маяковского, который без устали «*мерил шагами свою комнату неподалёку от Вашингтон-сквера*». В словах, высказанных поэтом, сразу чувствовалось то, что Александр Михайлов назвал «*агитпроповским гонором*», то есть снисходительное похлопывание своих собеседников по плечу, язвительные насмешки по адресу всего буржуазного, ироническое подтрунивание над образом жизни чужой страны и даже оплёвывание чужеземных святынь.

Откуда это?

Лев Троцкий как-то сказал:

«*Если Американские Соединённые Штаты сравнить с нашими Соединёнными Штатами, то увидим ужаснейший контраст богатства и нищеты*».

Маяковский наверняка был знаком с этим высказыванием и, вполне возможно, увидев Америку воочию, был вполне с ним согласен. 6 августа он написал стихотворение «Бродвей» о самой длинной улице Нью-Йорка, проходящей через весь Манхеттен:

«*Асфальт – стекло. / Иду и звеню.*
Леса и травинки – / сбриты.
На север / с юга / идут авеню,
на запад с востока – / стриты».

Далее следует четверостишие, написанное явно с удивлением и даже с восторгом:

«А между – / (куда их строитель завёз!) –
дома / невозможной длины.
Одни дома / длиною до звёзд,
другие – / длиной до луны».

«Но в интервью американскому журналисту говорилось совсем другое. Не будем забывать, что Маяковского никто в Америку не звал, он сам в неё напросился. Да и пробыл-то в Нью-Йорке всего несколько дней! Но это не помешало ему заявить Майклу Голду:

«*Нет, Нью-Йорк – не современный город… Нью-Йорк не организован.*

Здесь есть метро, телефон, радио и множество других чудес. Но я иду в кинотеатр и вижу, как многочисленная публика наслаждается глупым фильмом, повествующим о какой-то пустой сентиментальной любовной истории, которую бы со свистом согнали с экрана в самой маленькой деревушке новой России».

Откуда Маяковский мог знать, как реагируют на фильмы жители российских «*деревушек*»? Ведь в сельскую местность страны Советов он вообще никогда не заглядывал!

Но поэт с апломбом продолжал, а Майкл Голд записывал:

«*Нью-Йорк – недоразумение, а не продукт индустриального искусства. Нью-Йорк не имеет плана. Он не выражает никакой идеи, его индустриализм – это результат случайности, тогда как наш индустриализм в России будет делом искусства масс…*

Как видно, ему хотелось многое сказать: он размашисто шагал взад и вперёд, дымя как паровоз. А русским он хотел рассказать об этом на бумаге в стихах.

В современной России относятся к этому молодому великану с огромным сочувствием».

Стихотворение «Бродвей» заканчивалось так:

«Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но / кепчонку / не сдёрну с виска.
У советских / собственная гордость:
на буржуев / смотрим свысока».

Любопытна ещё одна подробность. Поэт всегда брал с собой лист бумаги, который призван был помочь ему в экстренных случаях. Янгфельдт пишет, что Маяковский…

«*…в кармане пиджака носил бумажку с единственной фразой, которую мог выговорить: извинение за то, что он не пожимает руку, когда здоровается».*

Поэт по-прежнему безумно боялся заразиться.

Мнение конструктивиста

Следующим интервьером Владимира Маяковского был редактор еврейской газеты «Фрайгайт» («Свобода») Шахно Эпштейн, родившийся в России (в Виленской губернии) в 1883 году. Звали его тогда Александр Борисович. В 1903-м он вступил в БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз), арестовывался, бежал за границу. После Февральской революции вернулся на родину и в августе 1919 года вступил в партию большевиков. В 1920-м стал редактором Госиздата, занимался изданием книг на идиш. Возможно, тогда и познакомился с Маяковским.

В 1921 году Коминтерн (явно по рекомендации ВЧК) отправил Александра Борисовича Эпштейна в САСШ «*с заданием объединить в одно целое ряд нелегальных коммунистических групп, которые очень часто боролись между собой*». Сначала он (под псевдонимом Иосиф Барсон) редактировал нью-йоркский еженедельник «Дер эмес», а затем вместе с М. Ольгиным (Моше Иосефом Новомисским) стал редактировать газету «Фрайгайт».

Шагая с Шахно Эпштейном по Пятой авеню и беседуя с ним (эта беседа была опубликована 14 августа), Маяковский говорил:

«*Вот я иду с вами по одной из богатейших улиц мира – с небоскрёбами, дворцами отелей, магазинами и толпами людей, и мне кажется, что я брожу по развалинам, меня гнетёт тоска. Почему я не чувствую этого в Москве, где мостовые действительно разрушены, многие дома сломаны, а трамваи переполнены и изношены донельзя? Ответ простой: потому что там бурлит жизнь, кипит энергия всего освобождённого народа – коллектива; каждый новый камень, каждая новая доска на стройке есть результат коллективной инициативы.*

А здесь? Здесь нет энергии, одна сутолока бесформенной, сбитой с толку толпы одураченных людей, которую кто-то гонит, как стадо, то в подземку, то из подземки, то в «эл», то с «эл»…

Скучно, скучно у вас!»

А в стихотворении «Бруклинский мост» излагаются совсем другие впечатления о том же самом американском городе:

«*Как глупый художник / в мадонну музея*
вонзает глаз свой, / влюблён и остр,
так я, / с поднебесья, / в звёзды усеян
смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост».

В стихотворении «Бродвей» идут восторженные восклицания:

«*А лампы / как станут / ночь коптить,*
ну, я доложу вам – / пламечко!
Налево посмотришь – / мамочка мать!
Направо – / мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день / в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк. / Это Бродвей.
Гау ду ю ду!»

Газета «Нью-Йорк таймс», сообщая читателям о приезде советского поэта, представляла его так:

«*Самый популярный поэт России Маяковский одновременно и самый богатый поэт – в той мере, в которой богатство позволительно на его родине. ‹…› Его последняя книга принесла ему 10 тысяч долларов. Маяковский самый известный картёжник в России. Он проигрывает в карты намного больше того, что зарабатывает, и живёт на выигрыши. Пролетарский поэт предпочитает одеваться как денди и заказывает одежду у лучших портных Парижа, он любит комфорт и роскошь и одновременно презирает их*».

Как видим, кому-то вновь понадобилось напомнить об увлечении Маяковского карточной игрой. Образ, который (с подачи ОГПУ) поэт начал создавать ещё в Москве, «дорисовывался» американской газетой. Бенгт Янгфельдт, прокомментировал эти строки так:

«*Несмотря на явные ошибки и преувеличения, стоит обратить внимание на то, что слава Маяковского-картёжника распространилась далеко за пределами России; хотя нельзя забывать: его «богатства» исчислялись в рублях, а не в конвертируемой валюте, и за границей почти ничего не стоили…*»

Газета «Новый мир» обращалась к поэту:

«*Товарищ Маяковский!.. В каждый фибр вашей души проникло, что «партия – это миллионов плечи, к друг другу прижатые туго». Прижатые туго и борющиеся за счастье, за мир, за равенство, за свободу…*»

Газета «Русский голос»:

«*…в его поэзии и, прежде всего, в его ритме – весь пульс современной России: от первых беспредельных раскатов революционного грома до порывов и лихорадочности нового строительства*».

А в это время в Детском Селе под Ленинградом поэт-конструктивист Илья Сельвинский сочинял третью главу поэмы,

которую назовёт «Пушторгом». В качестве эпиграфа к этой главе он взял строки из поэмы Джоржа Гордона Байрона «Видение суда», вышедшей в России в 1905 году в переводе Юргиса Балтрушайтиса:

> «*Боб Соути, ты поэт, венком лавровым*
> *увенчанный, и меж поэтов туз*».

Кто он такой – этот Боб Соути? Рабочее-крестьянские массы, которые являлись основными читателями в тогдашней стране Советов, понятия не имели о том, что это за «*Боб*» такой.

Историк Евгений Викторович Тарле (в начале XX века он был ещё просто «*приват-доцентом*», написавшим предисловие к переводу Балтрушайтиса) назвал английского поэта Роберта Соути «*литератором-панегиристом*», ставшим ««*хвалителем» из-за почестей, денег, личных выгод и т. д.*»:

«*Его любили иронически называть бунтовщиком, демагогом, Уолтом Тайлором (вождь крестьянского восстания начала 1380 гг.), – намекая на те тенденции и «революционные» темы, которыми было отмечено начало его литературной деятельности*».

Льстил Роберт Соути английскому королю Георгу Третьему, перед ним же он и пресмыкался.

Байроновские строки о британском льстеце и панегиристе Илья Сельвинский привёл не случайно – ведь вслед за ними шло обращение к другому прославленному поэту:

> «*Маяковский! Вы, увенчанный лаврами*
> *мэтр и меж поэтов туз!*
> *Как-то за вами я поплетусь*
> *в ярком деле торговой рекламы*?»

Иными словами, Сельвинский отнёс Маяковского к тем же льстецам, литераторам-панигеристам, прямо заявив, что поэт-лефовец стал «*хвалителем*» из-за «*почестей, денег, личных выгод*» и так далее в том же духе.

Как известно, Роберт Соути в долгу не остался, объявив, что Байрон принадлежит к «*сатанинской школе*», а сочинённые им стихи «*сатанинские*».

Маяковский стихов Сельвинского ещё не видел. Сельвинскому тоже ничего ещё не было известно о том, чем занимается «*увенчанный лаврами*» поэт страны Советов – о пребывании Маяковского за океаном в стране Советов начали

сообщать только осенью. Так, газета «Вечерняя Москва» в номере от 8 октября объявила:

«*С удивлением и некоторым страхом поглядывая на Маяковского, американский журналист спросил: «Зачем вы, собственно, поехали в Америку?» Маяковский ответил: «Заработать побольше, чтобы построить советский самолёт имени ЛЕФа*»».

В начале сентября 1925 года в мировой прессе прогремело сообщение о том, что в пивном баре немецкого городка Майнца отравлен подмешанным в пиво ядом, бывший советский разведчик Владимир Степанович Нестерович, ставший невозвращенцем. Агенты, подосланные главой ИНО ОГПУ Меером Трилиссером, порученное им задание выполнили.

Как отнёсся к этой новости Владимир Маяковский, неизвестно. Но об убийстве одного советского агента другими он не мог не знать. Об этом ему непременно должны были рассказать Давид Бурлюк, Шахно Эпштейн или сам Исайя Хургин. Обсуждая это трагическое происшествие, Владимир Владимирович должен был что-то сказать. Но что? Жаль, что мы этого никогда, наверное, не узнаем.

Маяковский – американцам

Нью-йоркская коммунистическая русскоязычная газета «Новый мир» (та самая, в которой всего несколько лет до этого сотрудничали Троцкий и Бухарин) ещё 27 июля 1925 года сообщила читателям:

«*Владимир Владимирович Маяковский совершит короткое турне по Америке…*

Дни его выступлений будут объявлены в ближайшем будущем».

И вскоре первое выступление поэта состоялось.

Александр Михайлов:

«*Имея в США такого энергичного друга как Давид Бурлюк, встреча с которым была радостной, Маяковский получил соответствующую рекламу в русскоязычной прессе, так что первые же его вечера с докладами и чтением стихов шли в переполненных залах*».

14 августа огромный зал «Централ Опера Хауз» («Central Opera House») был заполнен до отказа – пришло свыше двух тысяч человек.

Газета «Русский голос» через день делилась впечатлениями:

«*Огромная аудитория с крайним нетерпением ожидала выступления поэта. Интерес к Маяковскому как к живому*

свидетелю исторических дней от Октября до сего дня, можно было прочесть на лице каждого рабочего, пришедшего посмотреть на него и послушать его стихи в его оригинальном чтении».

Председатель Русской секции Рабочей партии и редактор газеты «Новый мир» Радванский, а затем редактор газеты «Фрайгайт» Эпштейн кратко представили советского поэта.

Собравшиеся стали ждать появления его самого.

Газета «Русский голос»:

«*Но вдруг… казус. Где же сам Маяковский? На эстраде его не оказалось. Не оказалось и за сценой. Но он стоял в толпе и сам внимательно слушал, что происходит «на вечере Маяковского».*

Наконец на эстраде появился сам Маяковский. Сильный, большой, здоровый. Трудно описать, что произошло в публике. Послышались несмолкаемые аплодисменты. Маяковский пытался заговорить. Но аплодисменты не прекращались. Поднялись со своих мест. Стучали об пол».

Газета «Новый мир»:

«*Вот он, Маяковский! Так же прост и велик, как сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова… Он стоит и ждёт, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают утихать, но вдруг – совершенно неожиданно – новый взрыв рукоплесканий, и вся публика вскакивает со своих мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками. Не видно конца овациям*!»

Маяковскому предстояло сделать доклад «Поэзия, живопись и театр в СССР», прочесть свои произведения, в том числе – и об Америке, а также ответить на записки, которые придут из зала.

Советская писательница Ольга Дмитриевна Форш в своих воспоминаниях рассказала об одном зарубежном выступлении Маяковского. Оно состоялось в Париже, но, надо полагать, мало чем отличалось от нью-йоркского:

«*Внезапно от лёгкой застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало, как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба тёмную прядь, Маяковский вдруг одним шагом перешагнул на эстраду. Расставив ноги, он выставил чуть вперёд голову… Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк.*

Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвёл руки за спину, углы губ нервно дёрнулись книзу, стал говорить. Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель».

Газета «Фрайгайт»:

«*Маяковский заявил:*

– Я – первый посланец новой страны. Америка отделена от России 9000 миль и огромным океаном. Океан можно переплыть за 5 дней. Но море лжи и клеветы, вырытые белогвардейцами, за короткий срок преодолеть нельзя. Придётся работать долго и упорно, прежде чем могучая рука новой России сможет пожать могучую руку новой Америки».

Газета «Новый мир»:

«*С напряжённым вниманием выслушивала огромная аудитория стихи Маяковского в мастерском чтении самого автора. Каждое прочтённое стихотворение вызывало долго не смолкающие рукоплескания*».

А вот воспоминания другого тогдашнего «*спутника-коллеги*» Маяковского, некоего Д. Фридмена (скорее всего, это архитектор Даниил Фёдорович Фридман, учившийся в Училище живописи, ваяния и зодчества в те же годы, что и Маяковский):

«*Через несколько дней группа писателей и журналистов, которая основала тогда журнал «Нью-Мессез», устроила в частном доме вечер в честь Маяковского. Это была типичная вечеринка весёлых двадцатых годов – патефон с джазовыми пластинками, бутылки джина в ванне, танцы без пиджаков. Маяковский танцевал с неловкостью и силой медведя*».

Видимо, об одной из таких вечеринок написал Маяковский в маленьком очерке «Как я её рассмешил» (дав в сноске перевод фразы, сказанной им по-английски: «*Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю*!»):

«*Должно быть, иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом, – о русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта, – сказано им – гений. Гений – это ещё больше чем знаменитый. Прихожу и сразу:*

– Гив ми плиз сэм ти!

Ладно. Дают. Подожду – и опять:

– Гив ми плиз…

Опять дают.

А я ещё и ещё, разными голосами и на разные выражения:

– Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, – высказываюсь. Так вечерок и проходит.

Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: «Вон оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север»».

Но Маяковскому молчать не хотелось – ему было что сказать:

«*И кажется мне, что очарованные произношением, завлечённые остроумием, покорённые глубиною мысли, обомлевают девушки с*

метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать.

Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счёт.

– Передай им, – ору я Бурлюку, – что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию…

И добродушнейший Бурлюк переводит:

– Мой великий друг Владимир Владимирович просит ещё стаканчик чаю».

Вот таким инцидентом обернулось незнание английского языка.

Даниил Фридман:

«*Потом поэта стали просить прочесть стихи. Он вынул из кармана маленькую записную книжку и прочёл последнее своё стихотворение*».

Что это было за стихотворение, Фридман, к сожалению, не сообщил. Но все стихи, написанные Маяковским в Америке, стирали в порошок капиталистические страны, катившиеся (с его точки зрения) в бездну, и воспевали Советский Союз, штурмовавший казавшиеся недоступными высоты и рвавшийся к звёздам.

А Сергей Есенин, вокруг которого ОГПУ продолжало возводить непреодолимые стены, 17 августа 1925 года написал::

«Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звёздного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил – забыли про меня».

Конец лета

В августе Маяковского пригласили в лагерь «Нит гедайге» («Не унывай»), устроенный под Нью-Йорком газетой «Фрайгайт». Её редактор Шахно Эпштейн потом вспоминал:

«*Как рыба в воде почувствовал себя Маяковский в пролетарском лагере «Нит гедайге», являющимся одним из лучших достижений американского рабочего движения. Он неутомимо читал свои стихи перед внимательными рабочими слушателями. Его львиный голос часто раздавался над горами и над рекой*

Гудзоном».

Казалось бы, несомненный успех выступлений поэта должен был отразиться в письмах, отправленных им в Москву. Однако этого не случилось – ни одного письма из Соединённых Штатов на родину Маяковским отправлено не было.

Бенгт Янгфельдт по этому поводу написал следующее:

«*В поездках Лили и Маяковский регулярно обменивались письмами и телеграммами – независимо от теплоты их отношений. Однако за два месяца пребывания в Нью-Йорке Маяковский не написал Лили ни одного письма – только послал четырнадцать коротких и бессодержательных телеграмм. Первая ушла 2 августа: «Дорогая Киса пока подробностей нет. Только приехал. Целую люблю». Но он не «только приехал», он прибыл в Нью-Йорк четыре дня назад – на Маяковского это совсем не похоже, обычно он телеграфировал немедленно по приезде*».

Александр Михайлов тоже пишет об этой странной переписке, отметив, что в ней…

«*…обращает на себя внимание вещественно-денежная тема*».

И это в тот самый момент, когда в своих интервью поэт осуждал «*сбитую с толку*» иностранную «*толпу одураченных людей*», противопоставляя ей кипучую энергию «*освобождённого народа*» страны Советов.

Получив телеграмму, Лили Брик написала письмо:

«*Я ужасно удивилась и обрадовалась, что ты в New-York'e. Пришли мне, пожалуйста, визу и деньгов… Оська получил костюм и ходит гордый…*

Не смей забывать меня!!! Я тебя люблю и целую и обнимаю».

Опережая письмо, из Москвы в Нью-Йорк полетела телеграмма:

«*Очень хочется приехать в Нью-Йорк. Целую. Телеграфируй*».

Ответ Маяковского (тоже телеграммой):

«*Очень стараюсь достать визу. Если не смогу поеду сам домой*»

Из Москвы:

«*Не торопись. Надо денег на квартиру vionnet. Если не пришлёшь визу поеду сентябре Италию*».

«*Vionnet*» – название парижского салона мод, основанное Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet) в 1912 году. Лили Брик употребила это слово, чтобы показать, что жильё её мечты – модная квартира.

Вновь телеграмма из Москвы:

«*Госиздат три месяца не платит. Масса долгов. Если можешь переведи немедленно телеграфно денег*».

Из Нью-Йорка:

«*Завтра посылаю телеграфно деньги*».

Из Москвы:

«*Щеночек деньги получила*».

На эту телеграмму ответа уже не последовало. Янгфельдт пишет:

«*После этого Маяковский замолкает почти на месяц; и на этот раз Лили преследует его письмами и телеграммами, а не наоборот. Так и не дождавшись ответа, она шлёт ему отчаянную телеграмму: «Куда ты пропал?» и подписывается «Лили», а не как обычно «Твоя Киса»*».

Ответную телеграмму Маяковский отправил только через два дня:

«*Дорогой Котёнок. Несчастье Хургиным расстроили визовые деловые планы. Десятого начинаю лекции Америке. Если месяц не устрою всё около десятого октября еду домой. ‹…› Ответь пожалуйста ласково. Люблю целую*».

Какое несчастье имел в виду Маяковский?

Глава вторая. Американская трагедия

Новый командировочный

После выступления 14 августа в «Сентрал Опера Хаус» три недели никаких сообщений о новых встречах с советским поэтом в американской прессе не появлялось. Лишь 2 сентября газета «Новый мир» вновь заговорила о Маяковском.

Что же произошло с 14 августа по 2 сентября 1925 года?

Считается, что ни в стихах, ни в прозе Маяковского об этом не сказано ни слова.

А в Соединённые Штаты 24 августа прибыл ещё один гражданин Советского Союза, чуть более года возглавлявший крупнейший советский трест «Моссукно». Маяковский, как мы помним, сочинял для этого производственного объединения рекламные стихи.

Нового суконного начальника страны Советов звали **Эфраим Маркович Склянский**. Родился он в 1892 году, то есть был на год старше Маяковского. Закончил медицинский факультет Киевского университета, где был однокурсником будущего писателя Михаила Булгакова. В Первую мировую войну Склянский стал военным врачом. В 1918-ом на него обратил внимание Лев Троцкий и сделал своим заместителем в наркомате по военным и морским делам. Осенью того же года военврач Эфраим Склянский стал заместителем председателя Реввоенсовета, чрезвычайного органа, в течение какого-то времени (после покушения на Ленина) управлявшего Советской Россией.

О том, как относился к Склянскому Сталин, написал Борис Бажанов:

«*Во время гражданской войны Сталин возглавлял на фронтах группу вольницы, ненавидевшей Троцкого, его заместителя Склянского и их сотрудников-евреев в Наркомвоене…*»

После смерти Ленина в январе 1924 года кремлёвская «тройка» (Зиновьев, Каменев, Сталин) принялась повсеместно заменять людей Троцкого (отправленного «*выздоравливать*» в Сухум) своей креатурой. Склянского, фактически руководившего Красной армией, сняли со всех постов и направили на новый участок работы – в апреле 1924 года он был назначен председателем правления треста «Моссукно».

Лев Троцкий в книге «Моя жизнь» написал:

«*Склянского грубо – то есть чисто по-сталински – даже не*

побеседовав с ним, перевели на хозяйственную работу. Дзержинский, который рад был избавиться от Уншлихта, своего зама по ГПУ, и приобрести для промышленности такого первоклассного администратора как Склянский, поставил последнего во главе суконного дела».

Эфраиму Склянскому не оставалось ничего другого, как взять под козырёк и включиться в работу, которую ему приказала исполнять партия. Летом 1925 года он получил новое назначение.

Борис Бажанов:

«*На тройке обсуждается вопрос, что делать со Склянским. Сталин почему-то предлагает послать его в Америку председателем Амторга. Это пост большой. С Америкой дипломатических отношений нет. Там нет ни полпредства, ни торгпредства. Есть Амторг – торговая миссия, которая торгует. На самом деле она заменяет и выполняет функции и полпредства и торгпредства, и базы для всей подпольной работы Комнтерна и ГПУ…*

Удивляюсь сталинскому предложению не только я. Сталин ненавидит Склянского (который во время гражданской войны преследовал и цукал Сталина) больше, чем Троцкого. Но и Зиновьев его терпеть не может».

Правившая страной «тройка» отправила Склянского за океан. Перед отъездом он зашёл к своему бывшему шефу, который к тому времени уже вернулся из Сухума. В той же книге «Моя жизнь» Троцкий вспоминал:

«– Скажите мне, – спросил Склянский, – что такое Сталин?

Я задумался.

– Сталин, – сказал я, – это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии.

– Знаете, – сказал он, – поражаешься тому, как за последний период во всех областях выпирает наверх золотая середина, самодовольная посредственность. И всё это находит в Сталине своего вождя. Откуда это?

– Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Термидор нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа. Их сила в политической слепоте, как у той мельничной лошади, которой кажется, что она идёт вверх, тогда как на деле она лишь толкает вниз покатый приводной круг. Зрячая лошадь на такую работу неспособна».

Троцкий, как-то походя (даже, кажется, сам не обратив на это внимания), дал фундаментальное, основополагающее определение большевистской партии: это было ***сборище посредственностей***. Всех мудрых, талантливых и просто

способных людей Ленин и его соратники изгнали с руководящих должностей, а некоторых и вовсе выдворили из страны. Оставшихся россиян, которые что-то собою представляли, большевики подвергли жесточайшей травле и постоянно преследовали. При этом власть энергично отлаживала аппарат уничтожения, в который все эти «*умники*» вскоре будут отправлены.

Троцкий считал, что его разговор со Склянским был подслушан, и о его содержании стало известно кремлёвской «тройке». Или только одному Сталину.

Как бы там ни было, но поездка Эфраима Марковича в Америку должна была стать для него последней. Так решили в Кремле. И это решение принялась осуществлять Лубянка.

Трагическое событие

Возникает вопрос: был ли знаком со Склянским Маяковский?

Об этом биографы поэта не пишут.

Даже если до Америки они знакомы не были, то вполне возможно, что Маяковский вместе с Хургиным встречал в нью-йоркском порту переплывшего океан Склянского. Там, надо полагать, они и познакомились как следует. И это их знакомство наверняка было особо дружественным – за границей соотечественники, как правило, тянутся друг к другу. А тут встретились почти ровесники, авторитетнейшие в Советском Союзе люди: бывший первый заместитель главы РВС и Красной армии и первый стихотворец страны Советов. Им просто невозможно было не сдружиться самым крепчайшим образом!

Первые дни пребывания в Нью-Йорке Склянский посвятил планированию своей дальнейшей деятельности. В частности, на среду было намечено деловое совещание в пригороде Нью-Йорка неподалёку от озера Лонг-Лэйк.

Был ли на то мероприятие приглашён Маяковский?

Прямых свидетельств, которые подтвердили бы такое приглашение, обнаружить не удалось. Посмотрим, как события развивались дальше. Официальную версию 29 августа изложила газета «Известия»:

«*…26 августа Склянский и Хургин прибыли в дачную местность Лонглейк (на севере штата Нью-Йорк) на совещание с некоторыми ответственными сотрудниками советских учреждений в Соед. Штатах. Лонглейк был выбран как наиболее удобный пункт, поскольку участники совещания съезжались из различных городов. 27 августа совещание закончилось.*

Оставалось несколько свободных часов до отъезда. Хургин

предложил покататься на лодке по озеру Лонглейк. На пристани находилась моторная лодка, но механика не было. Решено было взять два каика и лодку. Склянский сел вместе с Хургиным. Товарищ председателя Амторга Краевский взял другой каик, а остальные 2 участника совещания сели в лодку. Хургин бывал на этом озере раньше и шёл во главе флотилии. Лодка держалась берега, а каики ушли на середину, где начались водовороты.

Краевский предложил возвратиться, но Хургин заявил, что он хороший пловец и умеет справляться с каиком. Так как каик Краевского начал наполняться водой, он повернул к берегу. Хургин сказал, что последует за ним через несколько минут. На берегу Краевский застал пассажиров лодки, и они стали дожидаться Склянского и Хургина.

Прождав некоторое время, Краевский и его спутники добыли моторную лодку и направились на поиски каика. В течение минут 20 они не могли его обнаружить и лишь случайно успели заметить каик Склянского и Хургина в тот момент, когда он переворачивался.

Когда моторная лодка достигла места катострофы, там находилось уже несколько лодок, поспевших с берега. Никто не решался нырять, так как было известно, что это наиболее опасное место на озере и там, по словам местных жителей, погибло уже много людей. Лишь через 15 минут удалось раздобыть багры и через 20 минут найти Склянского. Хургина нашли через полтора часа. Глаза его были широко раскрыты, он, по-видимому, нырял, стараясь спасти Склянского».

Так звучит официальная версия. И она вызывает вопросы.

Слова «*участники совещания съезжались из различных городов*» дают основание предположить, что участников этих было довольно много. А «*покататься на лодке*» отправилось всего пятеро: Склянский, Хургин, Краевский и ещё «*два участника совещания*». Для остальных лодок не хватило? И куда они делись? Остались в отеле, в котором проходило совещание?

А что это за «*несколько лодок, поспевших с берега*», которые оказались на месте катастрофы? Почему они возникли здесь раньше моторной лодки, доставившей на «*место катастрофы*» Краевского и его товарищей?

На эти вопросы известинская статья ответа не даёт. Почему? Её автор был плохо информирован? Или настоящие причины трагедии были какие-то другие, и автору статьи было дано указание изложить все события именно так?

В Москве в это время в Доме печати проходила первая литературная пятница. Выступить на неё был приглашён и Сергей Есенин. Матвей Ройзман вспоминал:

«*Аудитория состояла из журналистов, работников издательств, редакторов, поэтов. Сергей умело подобрал свою программу: несколько стихотворений из «Персидских мотивов», куски из «Страны негодяев», «Анна Снегина», «Баллада о двадцати шести»…*

…на эстраде Дома печати он словно переродился: сверкали голубым огнём глаза, слегка порозовели щёки, разметались пшеничного цвета волосы. Одухотворённый, с чуточку вскинутой головой, с чудесно подчёркивающей смысл стихов ходящей вверх-вниз рукой, он казался мне пришельцем с другой планеты…»

Попытки разобраться

Трагедию на озере Лонг-Лэйк Борис Бажанов изложил несколько иначе:

«*Склянский был назначен председателем Амторга и уехал в Америку. Когда скоро после этого пришла телеграмма, что он, прогуливаясь на моторной лодке по озеру, стал жертвой несчастного случая и утонул, то бросилась в глаза чрезвычайная неопределённость обстановки этого несчастного случая: выехал кататься на моторной лодке, долго не возвращался, отправились на розыски, нашли лодку перевёрнутой, а его утонувшим. Свидетелей несчастного случая не было*».

Как видим, информация сильно отличается от той, что давали «Известия»: и катался Склянский не на каике, а на моторной лодке, и про спутников его ничего не говорится, а вся «*обстановка*» случившегося названа «*чрезвычайно неопределённой*». Но, главное, бросается в глаза и крепко запоминается последняя фраза, которая красноречиво свидетельствует о том, что трагедию подстроили гепеушники:

«*Свидетелей несчастного случая не было*».

Продолжим воспоминания Бориса Бажанова:

«*Мы с Мехлисом немедленно отправились к Каннеру и в один голос заявили: «Гриша, это ты утопил Склянского»*».

Здесь необходимы разъяснения. Григорий Иосифович Каннер и Лев Захарович Мехлис были помощниками Сталина. Борис Бажанов писал:

«*Когда мы определяем в наших разговорах сферы нашей работы, мы делаем это так: Бажанов – секретарь Сталина по Политбюро; Мехлис – личный секретарь Сталина; Гриша Каннер – секретарь Сталина по тёмным делам; Товстуха – секретарь по полутёмным…*»

Два секретаря Сталина заподозрили своего третьего коллегу в убийстве Склянского. Борис Бажанов пишет:

«*Каннер защищался слабо: «Ну, конечно, я. Где бы что ни случилось, всегда я». Мы настаивали, Каннер отнекивался. В конце концов, я сказал: «Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагается всё знать». На что Каннер ответил: «Ну, есть вещи, которые лучше не знать и секретарю Политбюро». Хотя он, в общем, не сознался, …но мы с Мехлисом были твёрдо уверены, что Склянский утоплен по приказу Сталина, и что «несчастный случай» был организован Каннером и Ягодой*».

Ещё одно высказывание Бажанова:

«*Если завтра Сталин сочтёт за благо меня ликвидировать, он поручит это Каннеру, и Каннер найдёт соответствующую технику*».

Фрагмент из книги Троцкого «Моя жизнь»:

«*Урну с прахом Склянского доставили в Москву. Никто не сомневался, что она будет замурована в кремлёвской стене на Красной площади, которая стала пантеоном революции. Но секретариат ЦК решил хоронить Склянского за городом. Прощальный визит Склянского ко мне был, таким образом, записан и учтён. Ненависть была перенесена на урну. Преодолевая брезгливость, я позвонил Молотову. Но решение осталось непреклонным*».

Урна с прахом Склянского была захоронена на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания Троцкий сказал:

«*Переплыв океан, он утонул в озере. Выйдя невредимым из Октябрьской революции, он погиб на мирной прогулке. Такова предательская игра судьбы*».

Прошло всего две недели со дня гибели Склянского, а вопрос о нём уже был поставлен в повестку дня заседания политбюро (присутствовали Зиновьев, Каменев, Молотов и Калинин):

«*8. Об архиве тов. Склянского (тов. Товстуха)*».

Иван Павлович Товстуха был секретарём Сталина («*по полутёмным делам*»). Кремлёвские вожди торопились получить дополнительную информацию, которая компрометировала бы бывшего шефа погибшего – Троцкого:

«*Для разбора архива тов. Склянского создать комиссию в составе тт. Товстухи, брата т. Склянского т. Верова и т. Ленгника.*

Связь за т. Товстухой».

Большевик с дореволюционным стажем Фридрих Вильгельмович Ленгник был членом Центральной Контрольной Комиссии РКП(б).

17 сентября опросом членов политбюро было решено:

«*36. Утвердить протокол комиссии по разбору архива т. Склянского*».

Вот фрагменты этого протокола:

«*Комиссия политбюро в составе тт. Ленгника, Товстухи и Верова 15 сентября 1925 года произвела в помещении правления Моссукна вскрытие сейфа и трёх ящиков письменного стола, принадлежавших т. Склянскому…*

4) В сейфе был найден портфель со следующими документами:

а) переписка т. Склянского с В. И. Лениным…

в) переписка тов. Ленина с т. Троцким…

е) копия записки без подписи, начинающаяся: «План снабжения на 1923 г. был сорван текучестью…»,

ж) копии протокола, касающегося вопроса текучести в армии,

л) визитная карточка т. Троцкого с письмом на имя Склянского частного характера».

Документы, представлявшие особый интерес для кремлёвской «тройки», в этот протокол наверняка включены не были. Склянского в Москве больше не вспоминали.

А до Хургина и вовсе никому не было дела.

Но в Америке о нём скорбели.

Версии случившегося

Бенгт Янгфельдт:

«*В русской диаспоре Нью-Йорка гибель Хургина вызвала горе и смятение. Он был весьма популярен, и никто не верил в его случайную смерть*».

Аркадий Ваксберг:

«*Хургин отечески опекал Маяковского в Америке, был ему в Нью-Йорке самой надёжной опорой. Это он… устраивал его поездки по стране. Он же пытался пробить ему итальянскую визу*».

Шахно Эпштейн:

«*Маяковский не отходил от гроба, стоявшего несколько дней в Нью-Йорке. Тысячи людей прошли мимо гроба, и высокая фигура Маяковского возвышалась над ними как символ скорби. Он очень глубоко переживал смерть товарища Хургина, хотя до Америки Маяковский почти не знал его. Когда «Форвертс» высказал брутальным и циничным образом свою радость по поводу трагической смерти Хургина, Маяковский был совершенно взбешён: он искал, чем бы усмирить свой гнев, и был готов на открытый скандал; и только чувство самоконтроля удержало Маяковского от этого*».

Ещё одна фраза о Маяковском у Бенгта Янгфельдта:

«*Он также произнёс речь на траурной церемонии и нёс урну с прахом Хургина на пароход, отбывавший в Россию*».

Вот, собственно, и вся информация об этой трагической

истории, которую излагают практически все биографы Маяковского. Но все они почему-то упускают из виду одно чрезвычайно важное обстоятельство – ведь должность Хургина (председатель правления акционерного общества «Амторг») имела ещё и некую закрытую (или, как назвал бы её Борис Бажанов, «*тёмную*») сторону – он являлся ещё и резидентом ОГПУ в Соединённых Штатах.

Если Сталин (или кто-то другой из кремлёвской «тройки») действительно дал указание ликвидировать Склянского, то Григорий Каннер и Генрих Ягода должны были, прежде всего, известить об этом Исайю Хургина. Лично ему должен был поступить приказ об устранении неугодного кремлёвским вождям человека.

Кстати, не для участия ли в этой секретной гепеушной акции так настойчиво продвигался в Соединённые Штаты Владимир Маяковский?

Таким образом, если Исайя Яковлевич Хургин получил сверхсекретный приказ из Москвы (сделать всё от него зависящее, чтобы Склянский живым на родину не вернулся), то от него уже зависело, ***как*** это распоряжение выполнить. И, немного поразмыслив, глава Амторга, видимо, решил, что высокого (но нежелательного Кремлю) гостя следует утопить.

Резидент ОГПУ в Соединённых Штатах вполне мог привлечь к участию в этой секретной операции и прибывшего в Нью-Йорк Маяковского, сотрудника ОГПУ. Владимир Владимирович вряд ли был ознакомлен со всеми деталями предстоявшей операции. А то, чем ей предстояло завершиться, он наверняка не знал. Но на совещание у озера Лонг-Лэйк его должны были пригласить.

О том, какая именно роль в этой гепеушной акции отводилась Маяковскому, мы, наверное, никогда не узнаем.

А Эфраим Склянский оказался слишком крепким орешком – хотя и утонул, но сумел утянуть вместе с собой и своего «*топителя*».

Все это версии напрашиваются сами собой. Подтвердить их или опровергнуть могут лишь документы из лубянских архивов, которые в обозримом будущем вряд ли будут обнародованы. Так что трагедия, случившаяся на озере Лонг-Лэйк осенью 1925 года, ещё надолго останется тайной за ста семью печатями.

Поэтому поищем ещё какие-нибудь следы, которые помогут раскрыть (или хотя бы немного приоткрыть) эту давнюю гепеушную тайну.

Зашифрованное признание

Косвенным подтверждением того, что к этому трагическому происшествию причастно ОГПУ, является и молчание самого Маяковского. О своей поездке в Америку он написал немало стихов и прозы, включая многостраничный очерк «Моё открытие Америки». Поэт рассказывал о многом: об американцах и американках, о белых и неграх, о небоскрёбах и лачугах, об автомобилях и поездах. И только о «*случайной*» трагедии, жертвой которой стал один из создателей Красной армии, а во время болезни Троцкого являвшийся её фактическим главой (и руководителем Реввоенсовета), Маяковский не проронил ни слова.

Почему?

Валентин Скорятин:

«*Только догадкой поэта о подлинных обстоятельствах нью-йоркской трагедии можно объяснить, почему в его творчестве этот случай не нашёл никакого отражения. Ведь и Хургин, и Склянский… пали не от «классовых врагов», а от своих. Именно неслучайность происшедшего не позволила поэту, так личностно и тяжко воспринявшего смерть Хургина, как-то коснуться этой темы в общечеловеческом, философском плане. Не хотел лгать*».

Янгфельдт дал точно такое же объяснение:

«*…о кончине Хургина он не обмолвился ни словом: правду он писать не мог, а лгать не хотел*».

Той же точки зрения придерживаются и другие биографы поэта. Но это свидетельствует лишь об их не очень внимательном изучении того, что написано Маяковским об Америке. Ведь он дважды (!) упомянул трагедию на озере Лонг-Лэйк, сделав это в своих очерках: «Моё открытие Америки» и «Свинобой мира». Вот только упоминания эти очень тщательно им зашифрованы.

Очерк «Свинобой мира» Маяковский начал с представления своего заокеанского коллеги-стихотворца, чем-то очень похожего на него самого:

«*У чикагца, знаменитейшего сегодняшнего поэта Соединённых Штатов Карла Сандбурга, революционера американской поэзии, вынужденного писать о пожарах в богатейшей газете – тираж 3 000 000 – «Чикаго Трибюн», так описывается Чикаго:*

Чикаго, / Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба…»

И Маяковский сразу же вспоминает свою поэму «150 000 000», в которой есть намёк на то, что название американского города Чикаго созвучно со словом «*чека*». В «Моём открытии Америки» точно такое же воспомнание:

«*В 1920 году в выдуманной поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:*

В Чикаго / 14 000 улиц –
солнц площадей лучи…»

Затем в «Моём открытии Америки» следует представление Маяковским его американского коллеги по стихотворному цеху:

«*Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Сандбург – сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн» – этот самый Сандбург описывает Чикаго так…*»

Иными словами, Сандбург поэт, «*революционер американской поэзии*», но он «*загнан*» в газету «*Чикаго Трибюн*» и вынужден там вместо «*лирики*», которая ему по душе, «*писать о пожарах*». Разве в этих словах нет намёка на то, что Маяковский тоже «*революционер поэзии*», но он «*загнан*» в «*чека*» и вынужден (вместо любимой им «*лирики*») писать о революционных «*пожарах*».

Далее в «Моём открытии Америки» идёт четверостишие Сандбурга, а вслед за ним – прозаический отрывок, якобы написанный американским поэтом для отдела хроники и происшествий. Отрывок, вроде бы, не имеющий никакого отношения к Чикаго.

Зачем же Маяковский его приводит?

Затем, что начинается он с фразы:

«*Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда – я видел, как бандит убил и остался безнаказанным*».

Кто проверял, писал ли на самом деле такие строки американец Карл Сандбург? А что если Маяковский просто выдал читателям свой собственный «*вопль*» по поводу трагедии на озере Лонг-Лэйк, где он сам «*видел, как бандит убил и остался безнаказанным*»?

А в «Свинобое мира» поэт заявил, что в Америке он увидел…

«*…одно из гнуснейших зрелищ моей жизни*».

И хотя перед этими шестью словами указывается место, где происходило это «*зрелище*» («*Чикагские бойни*»), трудно отделаться от ощущения, что Маяковский имел в виду «*бойню*», устроенную «*чека*» на озере Лонг-Лэйк.

Вот так Владимир Маяковский (в тщательно закамуфлированном виде) передал то, что оставила в его душе трагедия на озере Лонг-Лэйк. И таким образом заявил, что видел всё! И что он знает, кто убил и как! И, стало быть, был этому

свидетелем (то есть был приглашён на совещание, которое собирал Эфраим Склянский).

Тут сразу вспоминаются слова Троцкого, произнесённые в день прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тифлисе Александром Мясниковым, Соломоном Могилевским и Георгием Атарбековым:

«*Вряд ли мы дознаемся когда-либо с точностью о действительных причинах их гибели. Ведь живых свидетелей того, что произошло, нет*».

Гепеушники старались не оставлять свидетелей своих акций. Но на этот раз свидетель был – поэт Маяковский. Но он остался жить. Почему? Надо полагать, потому, что сам был гепеушником. Но он написал об этом. В прозе. Очень кратко. И под чужой фамилией.

Вернувшись на родину, Владимир Владимирович должен был рассказать обо всех подробностях инцидента в Америке руководству ОГПУ – Ягоде, Менжинскому, Трилиссеру, а то и самому Дзержинскому. И с Троцким ему наверняка пришлось встретиться и тоже рассказать ему обо всём. Но, по вполне понятным причинам, сведений об этом в открытой печати нет.

Кстати, вспомним, что, когда в 1915 году Маяковскому не дали разрешения идти на фронт добровольцем, помощник московского градоначальника полковник Модль высказал Маяковскому «*одну хорошую идею*». Она состояла в том, что перо поэта-футуриста в тылу гораздо важнее лишнего ружейного ствола на фронте. И Маяковский в своих выступлениях стал пересказывать эту историю, перенося её во Францию. Теперь тот же приём был применён им в отношении фраз Карла Сандбурга.

Как бы там ни было, но несколько скупых слов в «Моём открытии Америки» и в «Свинобое мира» делают честь поэту Маяковскому. Впрочем, мы не знаем, какую именно роль исполнял он в той трагической истории, поэтому разговор о «*чести*» лучше отложить на будущее.

Тем более, что в этот момент начиналась другая гепеушная операция. Российский художник, писатель и философ Николай Константинович Рерих начал свою грандиозную экспедицию по Центральной Азии. Сначала она проходила по территории Индии, но потом путешественникам предстояло пройти по Китаю и Тибету.

В книге Олега Шишкина «Битва за Гималаи. НКВД. Магия и шпионаж» говорится о том, как 17 сентября 1925 года к каравану Рериха под видом буддийского монаха (монгольского ламы) пристал Яков Блюмкин.

Николай Рерих записал в дневнике, а потом воспроизвёл эту

запись в книге «Алтай – Гималаи»:

«*Приходит монгольский лама и с ним новая волна вестей. В Лхасе ждут наш приезд. В монастырях толкуют о пророчествах. Отличный лама, уже побывал от Урги до Цейлона. Как глубоко проникающа эта организация лам!..*

Лама каждый день удивляет и радует нас. Столько он видел, столько он знает и как определённо разбирается в людях. Только что принёс сведение, что одно очень близкое нам имя упоминается в старых пророчествах. Нет в ламе ни чуточки ханжества, и для защиты основ он готов и оружие взять. Шепнёт: «*Не говорите этому человеку – всё разболтает*», *или:* «*А теперь я лучше уйду*». *И ничего лишнего не чувствуется за его побуждениями. И как лёгок он на передвижение!*».

И «*монгольский лама*» ушёл вперёд. 22 сентября караван Рериха пришёл в старый монастырь Сандолинг. Рерих записал:

«*Мы решили зайти, не там ли наш лама?.. Настоятеля монастыря мы не видали. Также не нашли нашего ламу. Был и ушёл ещё рано утром по дороге к границе. Спешим найти его*».

Запись 23 сентября:

«*…к вечеру подходим к подножию перевала Карал-Даван… Наконец пришёл лама. Чтобы миновать мост, его провели где-то через поток… На перевал лама пойдёт ночью, для него справляют фонарь и топор*».

24 сентября, преодолев перевал Караул-Даван, Рерих записал:

«*Между валунами протискиваемся у скал. У Омар-хана пала лошадь. При переправе утонул баран… Из-за камня поднимается странная фигура в мохнатой яркендской шапке, меховой кафтан, с фонарём. Это лама переоделся яркендцем. Ночью луна скоро взошла, и лама благополучно перебрался через гребень перевала. В тот же день – неожиданное открытие. Оказывается, лама отлично говорит по-русски. Он даже знает многих наших друзей. Всё это время нельзя было даже предположить такое его знание. Когда при нём говорили по-русски, ни один мускул не выдавал, что он понимает. В своих ответах ни разу он не показал знания сказанного нами по-русски. Ещё раз становится ясным, как трудно оценить размер знания лам. Только невежественность не понимает двадцатипятивековую организацию*».

27 сентября:

«*Лама сообщает разные многозначительные вещи. Многие из этих вестей нам уже знакомы, но поучительно слышать, как в разных странах преломляется одно и то же обстоятельство… Ещё раз поражаемся мощности и неуловимости организации лам. Вся Азия, как корнями, пронизана этой странствующей организацией*».

Надо полагать, что Яков Блюмкин (он же «*монгольский лама*») удивил Рериха не только знанием русского языка, но и предъявлением документа, в котором значилось, что его податель является заместителем руководителя экспедиции. Вот это было действительно «*неожиданным открытием*» для Николая Рериха, путешествие которого по ущельям и перевалам Индии и Китая продолжилось.

Судьбоносная встреча

А в это время за Тихим океаном в Северо-Американских Соединённых Штатах (спустя несколько дней после трагедии на Лонг-Лэйке) произошла ещё одна весьма эмоциональная история. Александр Михайлов назвал её так:

«*…романтическая история, окутанная флёром таинственности*».

А началось всё с того, что в самом начале сентября Маяковский был приглашён в гости. Бенгт Янгфельдт уточняет, что поэта пригласили…

«*…на коктейль к радикально настроенному американскому юристу Чарльзу Рехту, который консультировал Амторг… и тоже содействовал выдаче визы Маяковскому – именно у Рехта Маяковский провёл свой первый вечер в Нью-Йорке*».

На этой скромной вечеринке Владимир Владимирович встретил молодую женщину, которую звали Элли Джонс. Она прекрасно говорила по-русски и оказалась хорошей знакомой Хургина. Элли, по её же словам, давно просила познакомить её с приехавшим в Нью-Йорк советским поэтом, но Хургин отказывался это сделать, сказав, что Маяковский слишком хорошо известен как «*покоритель женских сердец*».

Только теперь, когда Хургина уже не было в живых, эта встреча состоялась.

Бенгт Янгфельдт:

«*Она сказала, что никогда не была на его выступлениях ни в Нью-Йорке, ни в Москве, но читала его стихи. Маяковский ответил: «Все красивые девушки так говорят. А когда я спрашиваю, какие стихотворения они читали, они отвечают: Одно длинное и одно короткое». Надо полагать, что её ответ: «Я не знаю ваших коротких – кроме рекламных – лозунгов» – произвёл впечатление на Маяковского*».

Кто же она такая эта Элли Джонс?

Мы с нею уже встречались – на Виндавском (Рижском) вокзале осенью 1921 года, когда Лили Брик уезжала в Латвию, и её провожал Маяковский. Их Элли Джонс и увидела на перроне.

Только тогда звали её иначе.

Александр Михайлов:

«*Элли Джонс – Елизавета Петровна Зиберт – родилась 13 сентября 1904 года в обрусевшей немецкой семье в Башкирии*».

Бенгт Янгфельдт:

«*Предки её переселились из Германии в Россию при Екатерине II. Елизавета была старшей дочерью в многодетной семье, правда, очень состоятельной и по этой причине после революции подвергшейся репрессиям, что вынудило оставшихся в живых членов этой семьи в конце концов эмигрировать из России. Юная Елизавета ещё раньше поехала искать своё счастье в Москву…*»

Поскольку кроме русского и немецкого Елизавета Зиберт владела ещё английским и французским, ей было нетрудно устроиться переводчицей в АРА, организацию, помогавшую Советской России справиться с голодом в Поволжье. Янгфельдт пишет:

«*Во время работы в АРА она познакомилась с английским бухгалтером Джорджем Джонсом, за которого вышла замуж в мае 1923 года… Они переехали в Лондон, а оттуда – в Нью-Йорк. ‹…› …скорее всего, Джонс женился на Елизавете – или Элли, как её будут называть на Западе – для того, чтобы помочь ей уехать из России. Через некоторое время они расстались, и Джонс снял Элли квартиру на 71-й улице; стройная Элли обеспечивала себя самостоятельно, работая манекенщицей*».

И вот Элли Джонс и Маяковский встретились.

Поначалу интерес поэта к эмигрантке-манекенщице был обусловлен, по словам Янгфельдта, чисто «*практическими соображениями*»:

«*Элли, владевшая русским и английским, оказалась идеальным переводчиком, особенно когда нужно было купить косметику, одежду или прочие дамские аксессуары. «Я понимаю, почему у него репутация сердцееда, – записала Элли в своём дневнике после того, как он на коктейле у Рехта спросил, не может ли она пойти с ним за подарком его «жене». – Он сразу сообщает, что женат. Сигнал был ясен: мы можем развлечься, пока я в Нью-Йорке, но в Москве меня ждёт другая женщина*»».

Как бы там ни было, но Элли и Маяковский друг другу понравились.

Аркадий Ваксберг продолжает:

«*Роман вспыхнул сразу и был, как обычно в таких случаях, бурным и страстным*».

Тем временем начались выступления Маяковского, его поездки по стране с докладами, чтением стихов, ответами на записки и с шумной (типично американской) рекламой этих

поэтических вечеров.

Американские выступления

2 сентября 1925 года нью-йоркская газета «Новый Мир» опубликовала объяснение, почему необходимо устраивать второй вечер Маяковского в «Central Opera House»:

«*Этот вечер является ответом на многочисленные просьбы лиц, не имевших возможности быть на первом вечере. Поступило также много писем с просьбой устроить второй вечер, который охватил бы новые фазы поэтического творчества СССР*».

Прошло несколько дней, и та же газета уже чисто по-американски рекламировала приближавшийся вечер Маяковского:

«*Сегодня вечером все нью-йоркские маяки потухнут. Будет светить только один, но зато громадный СССРовский маяк – Владимир Владимирович Маяковский. Сходите посмотреть и послушать его в Сентрал Опера Хауз…*

Все идём в четверг 10 сентября на лекцию-декламацию великого поэта Советского Союза Владимира Владимировича Маяковского!»

Давая отчёт о прошедшем вечере, газета «Новый мир», выделила слова Маяковского о том, что буржуазные критики обрушились на советских поэтов как на «*бездушных людей*», «*советских вандалов*», отрицающих старое искусство:

«*Советские поэты… знают, что единственное место, где гордый, уважающий себя художник не подвергается необходимости продавать свои достижения, это – «голодная Советская Россия», страна «железной диктатуры пролетариата»*».

После «*лекции-декламации*» Маяковский ещё раз съездил в лагерь «Нит гедайге».

12 сентября в «Новом Мире» появилось новое объявление:

«*Первое грандиозное небывалое турне по Америке поэта Советского Союза Владимира Маяковского*».

В «Моём открытии Америки» этот маршрут представлен так:

«*Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питтсбург, Кливленд*».

Снова, как и 12 лет назад, Бурлюк и Маяковский ездили по стране (только теперь это была уже совсем другая страна, чужая, а в чём-то даже чуждая) и пропагандировали поэтическое творчество (только теперь главным лицом этой пропагандистской «*ездки*» стал Владимир Маяковский).

После трагической кончины Хургина Давид Бурлюк стал, пожалуй, единственным, кто бескорыстно (по-дружески) помогал

Маяковскому. Бенгт Янгфельдт пишет:

«*Бурлюк принимал участие в организации выступлений Маяковского и сделал иллюстрации к двум стихотворениям, вышедшим во время его пребывания в Нью-Йорке*».

Это были стихи «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» и «Христофор Коломб».

В последнем стихотворении в качестве эпиграфа Маяковский взял фразу:

«*Христофор Колумб был Христофор Коломб – испанский еврей. Из журналов*».

В. В. Маяковский и Д. Д. Бурлюк на пляже Раковей-бич. Нью-Йорк, 1925 г. Фото: А. Алланд.

Далее рассказывалось о том, как «*молодой еврей*» с «*мёртвой хваткой*» открыл Америку. Рассказ подробный, довольно длинный. Заканчивалось стихотворение так:

«Ты балда, Коломб, / – скажу по чести.
Что касается меня, / то я бы / лично –
я б Америку закрыл, / слегка почистил,
а потом / опять открыл – / вторично».

А в это время в Советской России редакционно-плановая комиссия Госиздата постановила воздержаться от издания собраний сочинений Маяковского из-за категоричного протеста Торгового сектора, который заявил о полном отсутствии спроса на книги поэта. Лиля Брик сообщила об этом Маяковскому телеграммой. 14 сентября в Москву полетела ответная:

«*Расстроен известием. Телеграфируй немедленно причины задержки. Кому телеграфировать… Окончив лекции немедленно еду тебе*».

Но «*лекции*» ещё только начинались.

В конце сентября вышел поэтический сборник, про который газета «Новый мир» 23 сентября сообщала:

«*Поступила в продажу книжечка лучших стихотворений поэта Вл. Маяковского («На память американцам»). Издание «Нового мира». Цена 20 сентов. Пересылка – бесплатно. Организациям обычная скидка. Количество экземпляров ограничено*».

Давид Бурлюк:

«*Мы на всех своих выступлениях продавали публике свои книги. Сначала он издал сборничек «Американцам». Он был напечатан в типографии «Нового мира», на титульном листе был помещён портрет Владимира Владимировича Маяковского. Но скоро 10 000 экземпляров этой книги разошлись полностью, а слушатели требовали книжку на память, да ещё с автографом любимого поэта*».

Надо было подумать об издании ещё одной книги.

В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» В. А. Катанян приводит две фразы из газеты «Фрайгайт» от 25 сентября, зазывавшие на предстоящий праздник в лагере «Нит гедайге»:

«*Самыми праздничными из праздничных будут весёлые три дня в кемпе «Нит гедайге»… Известный пролетарский поэт Вл. Маяковский произнесёт пролетарское «Колнидре»*».

Василий Абгарович Катанян прекрасно знал значение иудейских слов «*Кол-нидре*», но почему-то не расшифровал их.

«*Кол-нидре*» – это название молитвы и её начальные слова (буквальный перевод – «*все обеты*»). Молитва произносится в синагоге в начале вечерней службы в день самого важного и самого грозного еврейского праздника Йом-Киппур (буквальный перевод – «*день прощения*»). В этот день Всевышний решает судьбу каждого человека на следующий год. Молитва «Кол-нидре» провозглашает отказ от всех обетов, зароков и клятв, данных когда-либо человеком, читающим её.

Историки считают, что традиция отказа от всех обетов и клятв возникла в 6–7 веках нашей эры среди испанских евреев, которых подвергали насильственному крещению. Затем та же традиция возникла в 6-10 веках среди византийских евреев, которых тоже насильно обращали в христианство. За «*Колнидре*» евреев особо преследовали, так как получалось, что они могут дать любую клятву, любую присягу, а потом отречься от неё.

В 1925 году праздник Йом-Киппур отмечался 28 и 29 сентября.

Надо полагать, именно об этом приезде в лагерь «Нит гедайге» писала в своих воспоминаниях Элли Джонс:

«*Один из мужчин обвинил Маяковского в «юдофобстве». Я точно запомнила это слово, потому что слышала его впервые. Моментально прозвучал ответ Маяковского: «У меня жена еврейка»*».

От какой же клятвы, от какой присяги открещивался Маяковский, произнося своё «*пролетарское «Кол-нидре»*»? От всего того, что связывало его с Лилей Брик? Или от своей верности ГПУ, советской власти? Или открещивался от футуризма?

Но Маяковский прилюдно произнёс этот торжественный отказ от «*всех обетов*», от всех своих клятв и присяг.

Турне продолжается

27 сентября газета «Фрайгайт» опубликовала стихотворение Маяковского «Атлантический океан», завершавшееся четверостишием:

> «*Вовек / твой грохот / удержит ухо.*
> *В глаза / тебя / опрокинуть рад.*
> *По шири, / по делу, / по крови, / по духу –*
> *моей революции / старший брат*».

Перевод на английский и на иврит был сделан корреспондентом ТАСС в Соединённых Штатах Леоном

Яковлевичем Тальми (Лейзером Тальминовицким). Он был ровесником Маяковского, участвовал в левом сионистском движении, в 1913 году эмигрировал в САСШ, но после февраля 1917-го вернулся в Россию. С 1920-го жил в Москве, где, видимо, и познакомился с Маяковским. Работал в отделе печати Коминтерна, откуда и был в 1921 году направлен за океан (надо полагать, тоже с особым заданием ОГПУ).

Впоследствии Леон Тальми писал:

«*Я был первым, кто познакомил американскую публику с Маяковским*».

Элли Джонс вспоминала:

«*Однажды Маяковский предложил мне познакомиться с Тальми и его семьёй: «Это милейшие молодые люди… Я уверен, они тебе понравятся»*».

И Элли познакомилась с ними.

А лекции Маяковского продолжались.

30 сентября выходившая в Детройте газета «Новый мир» написала:

«*Кто заинтересован в новой литературе Советской России? Прогрессивные организации города Детройта обращаются ко всем организациям и товарищам: не идти на работу, оставить вечерние школы, отложить митинги, собрания и т. п. Все на литературный вечер Владимира Маяковского*!»

7 октября 1925 года газета «Рассвет» (белоэмигрантская) сообщила об этом выступлении поэта:

«*До сих пор в Детройте никто не интересовался поэзией. Но вот, как назло, откуда ни возьмись приезжает к нам поэт Маяковский… Вся коммунистическая братия зашевелилась… Вместо литературной лекции Маяковский пел хвалебные песни Советской власти. Потом обернулся назад и увидел занавес, на котором была нарисована какая-то картина. Действительно, картина была убогая. Он посмотрел на неё, усмехнулся иронически, потом сказал:*

– Если бы я имел сзади глаза, я бы удрал со сцены».

Рядом с этой заметкой в том же «Рассвете» была напечатана другая:

«*Одному нашему пришлось присутствовать на банкете, устроенном в честь поэта Маяковского. Маяковский декламировал свои поэмы, хвалил СССР и собирал деньги на «Новый мир»… На банкете присутствовало около 100 человек*».

В первый день октября газета «Новый Мир» объявила:

«*4 октября все идём на последнюю прощальную лекцию в Йорквилл Казино пролетарского поэта Владимира Маяковского – «Итого»*».

Лекция называлась «Что я привезу в СССР?».

8 октября всё тот же «Новый Мир» познакомил читателей с американскими впечатлениями Маяковского:

«*В Америке, конечно, есть много интересного, удивительного…*

Но Америка в целом непригодна для Советского Союза как образец, Америка для СССР – лозунг устройства советской индустрии, но американизм – уклад жизни – для Советского Союза неприемлем».

Сказал Маяковский и о футуризме:

«*Футуризм имел своё место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль. Стремление и работа Советского Союза находят себе отражение не в футуризме, а в Лефе, воспевающем не голую хаотическую технику, а разумную организованность. Футуризм и советское строительство, заявляет Маяковский, не могут идти рядом. «Отныне, – говорит он, – я против футуризма, отныне я буду бороться с ним»*».

От Чикаго до Нью-Йорка

А экспедиция Николая Рериха, в которой под видом монгольского ламы участвовал Яков Блюмкин, продолжалась. 2 октября 1925 года Рерих записал:

«*В морозном солнце утра перед стоянкой чётко вырисовалась снеговая гора Патос… Лама шепчет: «Он [великий учитель] не был против истинного буддизма и говорил: «Истинный буддизм – хорошее учение»»… Лун-по неожиданно стал русофилом: учится у ламы по-русски. Кричит: «Пора обедать», «Нож», «Чашка», «Вода горячая»*».

Трудно сказать, чьё высказывание имел в виду Блюмкин, Ленина или Троцкого.

Караван Рериха двинулся дальше по Западному Китаю.

А в городе Чикаго в тот же день (2 октября) местная газета «Дейли уоркер» (орган ЦК Рабочей партии Соединённых Штатов) написала:

«*Из далёкой красной России, сквозь кордоны лжи и дезинформации, является к нам луч света из нового мира, строящегося под руководством компартии в Союзе Советских Социалистических Республик. Товарищ Маяковский приезжает сегодня в Чикаго.*

– Добро пожаловать в наш город, товарищ Маяковский!»

Очерк Маяковского «Свинобой мира»:

«*Чикаго (несмотря на все противоречия с официальными указателями) – столица Соединённых Штатов.*

Не официальная столица, вроде Вашингтона, не показная «для втирания очков» столица, вроде Нью-Йорка!

Настоящая столица, настоящее сердце промышленности, наживы и вместе с тем сердце борьбы американского пролетариата».

И ещё это был город, в котором происходили главные события поэмы Маяковского. О них в «Моём открытии Америки» сказано так:

«*В 1920 году в выдуманной поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:*

Мир, / из света частей / собирая квинтет,
одарил её мощью магической, –
город в ней стоит на одном винте –
весь электро-динамо-механический…

Критики писали, что моё Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах – она не вызвала у них скептических улыбок – наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону».

В Чикаго Маяковский и познакомился с поэтом Карлом Сандбургом, который потом (в 1959-ом, приехав в Москву) вспоминал:

«*С Маяковским встречался. Когда он был у нас. В редакции газеты «Чикаго дейли ньюс». Встреча была очень короткая, две минуты. Пожали друг другу руки*».

Как видим, знакомство было кратким, не обещавшим никакого продолжения.

Чикагская газета «Дейли ньюс»:

«*1500 человек набилось в Темпл-холл, чтобы послушать знаменитого русского поэта Владимира Маяковского. Собрание было открыто «Интернационалом»…*

Публика едва не сорвала крышу криками восторга от его стихов, посвящённых Америке: «Открытие Америки», «Барышня и Вульворт», «Блэк энд уайт». Пятьсот экземпляров его стихов были распроданы на месте».

Давид Бурлюк:

«*Маяковский предложил мне взять на себя работу по напечатанию двух книжечек: «Солнце» и «Открытие Америки». Книжки печатались в типографии «Нового мира». К книжкам я сделал рисунки… Не обошлось без казуса. Вместо «Солнце» я поставил на обложке «Солнце в глазах у Маяковского». Володя*

сердился, но поправить было уже нельзя».

Газета «Русский вестник»:

«*В старое доброе время о Маяковском знали только то, что он был футуристом. Теперь мы знаем, что под флагом литературных лекций он занимается пропагандированием советского строя и прелестей советской жизни. Мы ожидали услышать об искусстве и литературе в советской России, новых формах и о новых течениях в искусстве вообще, а в поэзии в частности. А на деле лекция была сплошным восхвалением строя*».

Но «*восхвалением строя*» занималась не только «*лекция*» Маяковского, но и его стихи. В стихотворении «Барышня и Вульворт» рассказывалось о том, как в витрине магазина, расположенном в самом тогда высоком небоскрёбе Нью-Йорка (57 этажей)…

«…мисс / семнадцати лет
сидит для рекламы / и точит ножи.
Ржавые лезвия / фирмы «Жиллет»…»

Девушка, как кажется поэту, надеется, что её увидит «*долларовый воротила*» и осчастливит её. Но Маяковский завершает стихотворение вопросом:

«*Как врезать ей / в голову / мысли-ножи,*
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим / во все этажи
без грёз, / без свадеб, / без жданий наследства?»

Это ли не призыв к революции?

Небольшую статью «Американское кое-что», напечатанную по возвращении в СССР в журнале «Красная нива», Маяковский тоже закончил вопросами:

«*Когда же вырастут в миллионы коммунистов эти отделы рабочей молодёжи?*

Когда ещё вырастут в солдат революции эти чикагские пионеры?

Когда, не знаю – но раз есть, то вырастут».

Василий Агбарович Катанян:

«*На одном из публичных выступлений Маяковского в Америке ему задали вопрос: «А правда, что вы по приказу правительства пишете о баранах?» – «Правда, – ответил Маяковский. – Лучше по приказу умного правительства писать о баранах, чем по приказу баранов о глупом правительстве»*».

Об этом же поэт говорил и в стихотворении «Вызов»:

«Я / полпред стиха – и я / с моей страной
вашим штатишкам / бросаю вызов…
Посылаю к чертям свинячим
все доллары / всех держав.
Мне бы / кончить жизнь / в штанах, в которых начал,
ничего / за век свой / не стяжав».

Газета «Новый мир»:

«*На вопрос председателя: желает ли публика повторения лекции, раздался гром аплодисментов. Когда поставили вопрос на голосование, все единодушно голосовали «за»*».

5 октября Маяковский выступил в Филадельфии. Газета «Рассвет»:

«*Маяковский хвалил советскую власть и Бурлюка, а Бурлюк хвалил Маяковского и советскую власть*».

Вслед за последовавшими далее выступлениями в Нью-Йорке и Питтсбурге, Маяковский выступил ещё раз в Детройте и в Чикаго. Газета «Дейли уоркер» написала:

«*Нападки на Маяковского местных русских контрреволюционных листков только привлекли ещё большую аудиторию. Он дал крепкий отпор этим белогвардейцам в коро ткой и острой речи*».

Видимо, именно это выступление имела в виду Элли Джонс, написавшая:

«*Он говорил таким тоном, что некто маленького роста вскочил и обратился к залу на идиш. Такое часто случалось в России. Лекция превратилась в свободную беседу для всех присутствовавших. Я видела, что Маяковский «зверел и зверел».*

Наконец он громким голосом заговорил по-грузински. В зале оказались люди, приехавшие с Кавказа. Они все стали кричать на своём языке, смеясь и аплодируя, радуясь родному языку. Бедлам!

– Это единственный «иностранный» язык, который я знаю. Почему вы позволяете себе выступать передо мною? Я не знаю идиш, – сказал он этим людям по-русски».

Но «*люди, приехавшие с Кавказа*» никак не могли угомониться. Один из них крикнул, спрашивая, откуда, мол, Маяковский родом. Тот зычно ответил:

– Багдадели вар! (Я из Багдади!)

Элли Джонс:

«*Наконец, всё успокоилось, и лекция прошла с огромным успехом; все кричали, орали и аплодировали*».

А Маяковский читал стихотворение «Ол райт» (потом он

назвал его «100 %»), которое завершалось такими словами:

«Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе, / не любящий / учтиво кланяться,
я, / поэт, / и то американистей
самого что ни на есть / американца».

Газета «Новый мир»:

«*Рабочие почувствовали в нём своего человека.*

– Это, брат, свой парень – сказал один рабочий председателю после лекции. – Недаром местная шваль его ненавидит».

4 октября Маяковский вновь выступил в Нью-Йорке.

Практически всюду Бурлюка и Маяковского сопровождала Элли Джонс. Она была почти на всех выступлениях поэта.

Правда, свои отношения влюблённые тщательно скрывали.

Законспирированный роман

Элли Джонс впоследствии написала:

«*Мы всегда использовали официальную форму общения. Ни он, ни Бурлюк никогда не называли меня иначе как Елизаветой Петровной, в знак уважения*».

Особенно корректно, по её словам, вёл себя Маяковский:

«*На людях он целовал мне руки. При американцах он называл меня только миссис Джонс*».

Конспирация коснулась даже творчества поэта, на что давно уже обратили внимание биографы поэта, дружно ссылающиеся на стихотворение, написанное в летнем рабочем лагере «Нит гедайге!» Оно начинается так:

«Запретить совсем бы / ночи-негодяйке
выпускать / из пасти / столько звёздных жал.
Я лежу, – / палатка / в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне всё это. / Не к чему… / и жаль…»

Что это?

Вновь тоскливая нудьга?

Вновь безысходность и одиночество?

Ведь в этот лагерь поэт приезжал не один, а вместе с Элли Джонс.

Александр Михайлов тоже задался вопросом:

«*С чего бы так*?»

И пытался найти ответ:

«*И вот тут возникает догадка: а не было ли боязни, не смущало ли душу поэта опасение, что его заморский роман станет предметом особого внимания в большом доме на Лубянке*?»

Бенгт Янгфельдт продолжил тему:

«*…роман с эмигранткой не просто навредил бы репутации пролетарского поэта, но мог оказаться опасным для жизни; если раньше он об этом не знал, то несчастье на Лонг Лэйке показало, что рука ГПУ простирается далеко за пределы отечества*».

Между тем «*несчастье*» на Лонг-Лэйке не забывалось. В первые дни после трагедии Маяковский впал в жуткую депрессию. Потом это состояние не раз повторялось. Спасала его всё та же Элли Джонс. Янгфельдт пишет о том, что произошло после возвращения из лагеря «Нит гедайге», где у них случилась размолвка:

«*Три дня они не общались, после чего хозяин, у которого Маяковский снимал жильё, позвонил Элли рано утром и сообщил, что Маяковский тяжело болен и не выходит из дома. Придя в квартиру на Пятой авеню, Элли обнаружила, что он лежит на кровати лицом к стене: «Я уже видела его таким. Таким же депрессированым». Элли разогрела ему немного куриного супа, который купила по дороге. «Не ходи на работу. Не уходи! – умолял её Маяковский. – Я не хочу быть один – пожалуйста! Прости, если обидел тебя».*

Ей нужно было идти, её ждала работа, но она пообещала вернуться, как только освободится. Снова появившись в квартире вечером, она с удивлением обнаружила, что Маяковский ждёт её, стоя у дверей. «Он взял коробку со шляпкой, другой рукой сжал мою руку, и после этого всё стало хорошо». Маяковский снова удостоверился, что его любят или, по крайней мере, что кто-то о нём заботится».

А как же Лили Брик?

Мало того, что Маяковский не писал ей писем, вскоре он перестал присылать ей даже телеграммы. Тогда она сама принялась бомбардировать его посланиями:

«*Скучаю Люблю Телеграфируй*».

«*Милый мой Щеник я тебя люблю и скучаю*».

Маяковский спохватился, и поток телеграмм в Москву был возобновлён:

27 сентября: «*Целую люблю твой Щен*».

3 октября: «*Целую из Чикаго… Люблю… Весь твой Щен*».

6 октября: «*Дорогое солнышко… Скучаю люблю целую. Твой Счен*».

9 октября: «*Целую люблю скучаю… Твой Счен*».

12 октября: «*Очень скучаю… здесь отвратительно. Целую*

люблю. Твой Щен».

22 октября: «*Дорогой котёнок рвусь тебе… Страшно соскучился… Люблю целую. Твой Щен*».

В ответ Лили Брик послала в Нью-Йорк срочную телеграмму:

«*Я хочу поехать Италию. Организуй так чтобы я получила деньги*».

Это звучало как приказ, который невозможно было не выполнить. И 27 октября Маяковский ответил:

«*Перевёл телеграфно сто долларов. До свидания. Целую. Твой Щен*».

Бенгт Янгфельдт подсчитал, сколько всего денег было отправлено Лили Юрьевне:

«*Общая сумма телеграфных переводов, которые Маяковский послал ей в октябре, составила 950 долларов – примерно те же 25 тысяч франков, которые он брал с собой в путешествие. Откуда взялись эти средства? За выступления ему платили немного. Часть суммы он занял, о чём свидетельствуют расписки, что-то наверняка выиграл*».

Сохранилось письмо русской секции Рабочей партии Америки (РСРПА):

«*Центральное бюро РСРПА считает своим долгом указать, что т. Маяковский, находясь в Соединённых Штатах, предоставил организацию всех своих выступлений «Новому миру» (коммунистическому органу на русском языке в Америке) и 50 % от его выступлений шли в пользу газеты «Новый мир» и отчасти в пользу еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт»*».

К этому следует добавить ещё одну фразу Янгфельдта:

«*Маяковский много времени проводил в бильярдных на 14-й улице и часто посещал негритянские кабаре в Гарлеме*».

Один из соотечественников поэта (имени его биографы не называют) сообщал в Москву о нём:

«*Он всё время околачивается на East Sid'e, т. е. в русских и еврейских кварталах, сам себе с другим шутом Бурлюком давая дешёвые завтраки*».

И вдруг Владимир Владимирович заторопился домой.

Почему?

Ведь он пробыл в Соединённых Штатах всего лишь половину разрешённого ему срока.

Янгфельдт попытался объяснить это так:

«*У него попросту не было денег. Его многочисленные выступления отчасти объяснялись экономическими соображениями. Но к концу октября деньги кончились…*»

Элли Джонс называла Маяковского в своём дневнике «*самым бедным мужчиной*» из тех, с кем ей доводилось встречаться.

Но могло ли отсутствие денег являться причиной того, что Маяковский решил покинуть Америку? Не будем забывать, сотрудником какого ведомства он был. Ему могли просто передать приказ возвращаться. И деваться было некуда.

Что же касается денег…

Бенгт Янгфельдт:

«*Несмотря на безденежье, до своего отъезда он купил Элли тёплую одежду – в Нью-Йорке резко похолодало – никто не помнил, чтобы температура падала здесь так низко. В универмаге «Блюмин гейм» ей купили коричневый шерстяной костюм и, по словам Элли, «самое дешёвое твидовое пальто, какое мы смогли найти. ‹…› Потом он оплатил мне комнату за один месяц – 50 долларов или около этого*»».

Это история очень напоминает ситуацию в Париже, когда у Маяковского якобы украли все его деньги. Эльза Триоле предложила что-то продать из своих вещей, чтобы хоть как-то помощь обнищавшему поэту, но он, по свидетельству Эльзы, сказал ей:

«*…мы будем по-прежнему ходить в ресторан «Гранд-Шомьер», покупать рубашки и галстуки и всячески развлекаться, и что в кругосветное путешествие он отправится*».

Стало быть, и во Франции и в Америке у Маяковского было, откуда брать средства, необходимые для жизни и для развлечений.

Ещё Маяковский оставил Элли адрес своей сестры Ольги, которой и просил направлять предназначавшиеся ему письма. Объяснив это тем, что побаивается Лили Юрьевны, которую назвал «*злым гением*» своей жизни.

У Элли Джонс, по свидетельству её дочери Патриции, возникла стойкая неприязнь к этой демонической Лили Брик:

«*Страх перед этой женщиной на долгие годы сохранила вся наша семья*».

Маяковский вполне мог поделиться с Элли своими подозрениями относительно того, что Склянский и Хургин погибли насильственной смертью. И добавить к этому, что у ГПУ руки длинные, спрятаться от них невозможно. Поэтому страх перед этой карательной организацией, к которой принадлежала и Лили Брик, преследовал Элли Джонс на протяжении всей её жизни.

О дальнейших планах поэта нью-йоркская газета «Русский голос» сообщила читателям в день его отъезда:

«*После краткого пребывания в Париже Владимир Владимирович Маяковский поспешит в Москву, куда его вызывают дела, связанные с изданием полного собрания его сочинений*

Госиздатом».

28 октября отъезжающий поэт прибыл в порт, где под парами находился пароход «Рошамбо».

Отъезд домой

В «Моём открытии Америки» Маяковский потом напишет:

«*Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы…*

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший ещё меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани».

Бенгдт Янгфельдт:

«*Многие пришли на причал попрощаться. Элли не хотела провожать его, но Маяковский её уговорил. Поцеловав ей руку, он поднялся на борт*».

«Моё открытие Америки»:

«*Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень – время бурь, и люди будут лежать вповалку все 8 дней*».

Среди провожавших поэта был, конечно же, и Давид Бурлюк, про которого Ваксберг написал:

«*Только он знал ту тайну, которая открылась Маяковскому перед его отплытием в Европу (в конце октября): Элли беременна, и от своего ребёнка он отказываться не собирается. Бурлюк свято хранил тайну своего друга несколько десятилетий*».

Когда «Рошамбо» покинул гавань, Маяковский отметил:

«*Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слёз*».

Обратим внимание, с каким пренебрежительным вызовом это сказано.

Провожавшие поэта покинули пристань. Чарльз Рехт отвёз Элли Джонс домой. Она потом вспоминала:

«*Я хотела броситься на кровать и рыдать….но не могла. Моя кровать была устлана цветами – незабудками. У него совсем не было денег! Но он был такой*».

Янгфельдт прокомментировал этот поступок поэта следующими словами:

«*Это было в его стиле: не несколько цветов и не один букет, а устланная цветами кровать. Типичный пример гиперболизма Маяковского: ухаживая за женщиной, он посылал ей не одну корзину цветов, а несколько, не одну коробку конфет, а десять, покупал не один лотерейный билет, а весь тираж…*»

В книге Семёна Кэмрада «Маяковский в Америке» сказано:

«*Когда поэт уезжал из Нью-Йорка, не было денег даже на*

мало-мальски приличное пальто. ‹…› С трудом удалось наскрести денег на обратную дорогу. И если «туда» – в Америку – Маяковский путешествовал в 1 классе, то «обратно» –

«Я в худшей каюте / из всех кают –
всю ночь надо мною / ногами куют»».

Койка, на которой располагался Маяковский, находилась на нижней палубе – под дансингом, где по ночам пассажиры танцевали.

Назад в Европу

Маяковский возвращался на родину. Потом он написал (в «Я сам»):

«*«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полгода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал…*

Роман дописал в уме, а на бумагу не перевёл, потому что: пока дописывалось, проникся ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилиш, чтоб на факте».

Теперь его снова качали волны Атлантического океана. В «Моём открытии Америки» об этом сказано:

«*Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, ещё текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли*».

Чем кроме лежания занимался поэт в течение более чем недельного плавания?

Он обдумывал очерки об этом путешествии.

«Моё открытие Америки»:

«*Цель моих очерков – заставить в предчувствии далёкой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки*».

Не случайно все произведения, сочинённые Маяковским за океаном, по словам Бенгта Янгфельдта, «*сильно идеологизированы*». Но при этом в двух (лучших!) стихотворениях американского цикла («Бруклинский мост» и «Бродвей») поэт, по словам того же Янгфельдта…

«*…не может сдержать ребяческого энтузиазма, который вызывает у него американское техническое чудо и бурлящий мегаполис*».

Александр Михайлов:

«*Маяковский допускал хвастливые публицистические выпады: «Я стремился за 7000 вёрст вперёд, а попал на 7 лет назад» или*

«Посылаю к чертям свинячим все доллары всех держав. Мне бы кончить жизнь в штанах, в которых начал, ничего за век свой не стяжав»».

Впрочем, Александр Михайлов предлагает на эти «*выпады*» смотреть снисходительно:

«*…поймём и простим Маяковскому некоторые пропагандистские «переборы», ведь за своей спиной он ощущал народ, который восемь лет назад совершил революцию*».

С этим призывом согласиться трудно. Потому что, во-первых, революцию в октябре 1917 года совершал всё-таки не весь «*народ*», а всего лишь одна партия, у которой были на это немецкие деньги. А во-вторых… Ещё в стихотворении «Кемп «Нит гедайге»», как бы оправдывая своё «*непролетарское*» восхищение Бруклинским мостом, поэт сказал:

«*Нами / через пропасть / прямо к коммунизму*
перекинут мост, / длинною – / во сто лет.
Что ж, / с мостища этого / глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали? / загордились? / Нет.
Мы / ничьей башки / мостами не морочим…»

Есть в американском цикле стихотворение, про которое Янгфельдт сказал:

«*Свойственная Маяковскому двойственность, противоречивое отношение к своему творчеству и отечеству с полной силой прорываются в стихотворении «Домой», над которым он начал работать, возвращаясь на корабле из Нью-Йорка*».

В этом стихотворении тема пролетарского пути и пути своего, личного, поэтического была продолжена:

«*Пролетарии / приходят к коммунизму / низом –*
низом шахт, / серпов / и вил, –
я ж / с небес поэзии / бросаюсь в коммунизм,
потому что / нет мне / без него любви…
Вот лежу, / уехавший за воды,
ленью / еле двигаю / моей машины части.
Я себя / советским чувствую / заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу, / чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали / после служебных тягот.
Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Госплан,
мне давая / задания на год».

То есть Маяковский высказывал пожелание, чтобы поэзия была приравнена к важнейшим государственным делам.

Но в стихотворении есть и такие строки:

«Я хочу, / чтоб к штыку / прировняли перо.
С чугуном чтоб / и с выделкой стали
о работе стихов / от Политбюро
чтоб делал / доклады Сталин».

В записной книжке сохранился другой вариант последней строки:

«Перед съездом докладывал Сталин».

Бенгт Янгфельдт:

«То, что в качестве докладчика был выбран Сталин, объясняется не особой симпатией к преемнику Ленина, а рифмой «стали – Сталин»; по литературным вопросам Сталин, как известно, редко высказывался».

В этой фразе Янгфельдта есть небольшая неточность. В ту пору Сталина ещё никто не считал преемником Ленина – ведь ленинский пост председателя Совнаркома занимал Рыков, а лидером большевистской партии считался глава Коминтерна Зиновьев. Сталин был всего лишь генеральным секретарём ЦК ВКП(б), то есть человеком, который подписывал протоколы заседаний политбюро. Но в его руках был партийный аппарат, которым он и воспользовался.

Борис Бажанов:

«В самом начале октября на Политбюро решался вопрос о дате съезда, и кто будет делать на съезде политический отчёт ЦК. Съезд было решено созвать на середину декабря, и по предложению Молотова большинство Политбюро голосовало за поручение политического отчёта ЦК на съезде Сталину. Большинство на Политбюро было для Зиновьева и Каменева потеряно».

Маяковский обо всём этом, конечно же, не знал. Но стихотворение «Домой» он заканчивал уже в Москве, где 18 декабря 1925 года на XIV съезде партии Сталин сделал отчётный доклад. На следующий день Владимир Владимирович прочёл это стихотворение на вечере в Политехническом музее. И в комментариях к седьмому тому собрания сочинений поэта, вышедшему в свет в 1958 году, сказано:

«Исходя из этого, можно заключить, что стихотворение «Домой» закончено 18–19 декабря 1925 года».

Так что рифма «*стали – Сталин*» возникла именно потому,

что генсек делал на съезде отчётный доклад.

И вновь вернёмся к приведённому нами четверостишию – к первой его строке («*Я хочу, / чтоб к штыку / приравняли перо*»).

Как известно, штык – орудие убийства. Убийства жестокого, беспощадного, варварского. Маяковский заявлял о своём желании превратить и своё перо в такое же оружие, которым можно убивать. Вот и выходит, что обычная поэзия, призванная воспевать любовь, красоту и человечность, поэта уже не устраивала – его тянуло убивать. Словами, рождёнными его пером.

Янгфельдт по этому поводу справедливо заметил:

«*Так далеко в отрицании поэзии Маяковский ещё не заходил. Самое страшное заключается в том, что он делал это без внешнего принуждения, официально подобной правоверности не требовалось. Импульс шёл изнутри. Он знал, с каким презрением к нему относятся в различных кругах, и этим заявлением хотел показать, что он не «попутчик», что он более коммунистический, чем сама партия*».

Заканчивается стихотворение «Домой» словами, которые поэт хотел бы услышать от Сталина:

> «*Так, мол, / и так… / И до самых верхов*
> *прошли / из рабочих нор мы:*
> *в Союзе / Республик / пониманье стихов*
> *выше / довоенной нормы…*»

Интересен вариант этих строк, оставшийся в записной книжке поэта:

> «*Коминтерн и Союз в пониманье стихов*
> *довоенной достигли нормы…*»

Всё бы ничего, вот только немножко смущает многоточие в конце строки. Что оно означает?

А означает оно то, что сначала стихотворение заканчивалось ещё одним четверостишием. Убрать его настоятельно посоветовал Осип Брик. Вот оно:

> «*Я хочу / быть понят моей страной,*
> *а не буду понят, – / что ж,*
> *по родной стране / пройду стороной,*
> *как проходит / косой дождь*».

В 13-томном собрании сочинений Маяковского приводится и другой вариант:

«Я хочу быть понят моей страной
а не буду понят что ж
по чужой стране пройду стороной
как проходит косой дождь».

То есть даже не родное отечество собирался «*косым дождём*» пройти поэт, а чужую зарубежную страну.

Что это? Намёк на возможную эмиграцию? Ведь кто знает, не говорил ли Давид Бурлюк своему другу Владимиру слова, которые много лет спустя были опубликованы в журнале «Огонёк» (1972, № 21, стр. 27):

«*Мы благодарны нашему богу… за тихую счастливую творческую жизнь в США*».

Не явились ли строки о «*чужой стране*» реакцией Маяковского на эти слова благодарности за возможность счастливо творить?

Париж – Москва

После восьми суток плаванья показался берег Европы. Там всё разительно отличалось от того, что было в Америке. И Маяковский это отметил в очерке «Моё открытие Америки»:

««*Рошамбо*» *вошёл в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калеками, мальчишками.*

С парохода кидали ненужные центы (считается – «*счастье*»*), а мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.*

Американцы жирно посмеивались с палубы и щёлкали моментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой».

Сказано тоже очень бесцеремонно и неуважительно.

Мы уже говорили о том, что, находясь летом 1925 года в Париже, Маяковский опубликовал стихотворение, в котором с лукавой усмешкой признавался, что он «*чекист*», посланный во французскую столицу взорвать Булонский лес. Считается, что так поэт высмеивал вздорные слухи, согласно которым он якобы

являлся агентом ОГПУ.

А в очерке «Моё открытие Америки» он уже на полном серьёзе написал про нью-йоркскую улицу Уолл-стрит («*Волстрит*» – в транскрипции Маяковского):

«*Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединённых Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушённые едут на крохотную уличку Нью-Йорка – Волстрит, улицу банков, улицу – фактически правящую страной…*

Под Волстрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту уличку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов».

Получается, что люди, которые (в случае такого взрыва) тоже «*взлетят в воздух*», Маяковского, совершенно не интересовали.

Как же так – приехать в страну, в которую его никто не приглашал, и призывать к проведению террористических актов, грозящих гибелью сотен людей?

Стоит ли после этого удивляться, что некоторые страны объявляли Маяковского персоной нон грата и не впускали его на свою территорию?

Из Гавра Маяковский поехал в Париж, написав потом в «Моём открытии Америки»:

«*Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, лёгшие поперёк…*

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных просёлочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль».

В Париже Маяковский узнал, что Леонида Красина переводят послом в Лондон, а вместо него полномочно представлять Советский Союз во Франции будет друг Троцкого Христиан Раковский.

6 ноября из Рима пришло письмо от Лили Брик:

«*Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я совершенный оборванец – всё доносила до дыр. Купить всё нужно в Италии – много дешевле. Хорошо бы достать тебе визу, чтобы смог приехать за мной. ‹…› Невероятно по тебе соскучилась! Мы бы поездили дней 10 по Венеции – и домой*!»

Пассаж совершенно невероятный: официально нигде не работавшая советская дамочка (повторяем это в который уже раз!) требует: приезжай, и мы поездим по Венеции!

И Маяковский бросился «*доставать*» визу в Италию. Но… наступили ноябрьские торжества, о которых газета «Парижский вестник» 10 ноября написала:

«*7 ноября от 5 до 7 ч. дня в здании Полномочного*

представительства СССР во Франции имел место официальный приём по случаю 8-й годовщины Октябрьской революции…

…приехавший только что из Нью-Йорка поэт Маяковский прочёл несколько своих новых произведений».

12 ноября в помещении Океанографического института состоялся вечер, который организовало Объединение студентов СССР, обучавшихся во Франции. Тот же «Парижский вестник» описал и это мероприятие:

«*Кто не видел и не слыхал Маяковского, должен пожалеть, что не попал на этот доклад. Трудно представить себе лучшего рассказчика для широких масс. Маяковский – создание новой России. В его могучей, широкой, подвижной фигуре, в его товарищеской фамильярности с слушателями, в его непринуждённой манере, в его одной иронии, – во всём его существе сказывается нечто, что роднит его с русским рабочим, с человеком из народа*».

А с визой ничего не получилось – на её оформление требовалось слишком много времени. Поэтому, выслав в Италию деньги (откуда они только взялись?), Маяковский отправился в Берлин. 14 ноября туда же прибыла и Лили Брик, прошедшая курс лечения на итальянском курорте.

Василий Васильевич Катанян описал их встречу так:

«*Подходит поезд с юга. В окне улыбается Лиля. От волнения он роняет трость. Она в новой беличьей куртке с огромной искусственной розой в петлице. Он в твидовом пиджаке, с замшевым невиданным галстуком, нарядный и сияющий*».

Возникает вопрос: сообщил ли Маяковский Лили Юрьевне о своём романе с Элли Джонс?

Бенгт Янгфельдт:

«*Кодекс, которому подчинялись их отношения, обязывал их не скрывать своих романов друг от друга. Поэтому не подлежит сомнению, что Маяковский рассказал Лили об Элли*».

Допустим. Но как отреагировала Лили Юрьевна на услышанную новость?

Янгфельдт сумел найти ответ и на этот весьма деликатный вопрос: Владимир Владимирович был отправлен к врачу – делать анализ:

«*И когда он сделал анонимный анализ на реакцию Вассермана в берлинском Институте медицинской диагностики, можно сказать наверняка, что это было сделано с ведома, вероятно, даже по инициативе Лили: учитывая его незнание немецкого языка, Маяковский в любом случае не мог пойти к врачу самостоятельно. Анализ показал отрицательную реакцию*».

Что было дальше?

Аркадий Ваксберг:

«*Пробыв в Берлине вместе четыре дня, Лиля и Маяковский вместе же возвратились в Москву. На вокзале их встречали Эльза и Осип. Лиля вышла из вагона, сияющая, в ослепительно красивой новой беличьей курточке – Маяковский сделал ей этот подарок в Берлине*».

Возникают вопросы: откуда взялась эта беличья курточка? Маяковский подарил? Или Лили Брик купила её в Италии?

Заглянем в книгу Бенгта Янгфельдта. Заодно обратим внимание, как скрупулёзно повторяет Ваксберг то, что написано Янгфельдтом, лишь переставляя или слегка заменяя некоторые слова, чтобы копирование не было так заметно. Янгфельдт пишет:

«*Проведя четыре дня в Берлине, Лили Брик и Маяковский отправились домой через Литву. На вокзале в Москве их встретили Осип и Эльза, запомнившая, как Лили вышла из поезда, одетая в беличью шубку; после месяца за границей она больше не была «оборванцем»… За ней показался Маяковский…*».

Так утверждает информированный Бенгт Янгфельдт. Складывается ощущение, что Ваксберг просто позаимствовал у него это описание, пересказав фразы чуть по-своему и добавив «*факт*» о покупке беличьей шубки Маяковским. Эта покупка, вроде бы, логично вытекала из ситуации и поэтому казалась вполне правдоподобной.

Конечно же, это мелочь. Весьма малосущественная. Но неточность в деталях (пусть даже мелких, незначительных) подрывает доверие ко многому другому, более важному, о чём пишет тот или иной исследователь. Надо быть аккуратнее!

Глава третья. Казни поэтов

Жизнь дома

23 ноября ленинградская «Новая вечерняя газета» сообщала:

«*Вчера из Америки вернулся в Москву известный поэт Маяковский. В беседе с нашим сотрудником он сообщил:*

– Должен сознаться, что со мной не случилось там ни одного чисто американского приключения, …ничего необыкновенного со мной не случилось. Зато слухи о моих успехах в Америке нисколько не преувеличены. Я нахожу, что иметь аудиторию в полторы тысячи человек в течение ряда недель – это, конечно, успех. Думаю, что, кроме литературного, мои лекции имели некоторое значение ещё и в смысле революционном…

Отрёкся ли я от футуризма? Это всё равно, что сказать – отрёкся от леопардов, чтобы перейти к тиграм. Отрёкся от футуризма, чтобы продолжать Леф, ибо Леф (левый фронт искусств) – это единственное, что меня удовлетворяет!»

В это время Борис Глубоковский, проходивший по одному делу с Алексеем Ганиным и получивший 10 лет ссылки, начал писать роман «Путешествие из Москвы в Соловки», который вскоре был напечатан в лагерном журнале «Соловецкие острова».

А перед вернувшимся из-за границы Маяковским во весь свой гигантский рост встал квартирный вопрос – ведь жилья у Бриков по-прежнему не было. Они продолжали жить на даче в Сокольниках, о которой Эльза Триоле, гостившая в Москве больше года, написала:

«*Жить зимой в Сокольниках было небезопасно, двери и окна толком не запирались, и на ночь мы к дверным ручкам привязывали стулья, чтобы, если кто толкнётся, стулья поехали и нашумели. Это называлось «психологическими запорами».*

Кроме того, повсюду валялись пистолеты, и разумные люди опасались их больше жуликов: спросонок могло привидеться бог знает что и тут недолго выстрелить и просто в человека, вставшего с постели в неурочный час. Пистолеты действительно вещь опасная: один из заночевавших у нас даже прострелил себе палец. Револьвер был при нём, в портфеле, оттого что идти от трамвая к даче тоже было страшновато, особенно зимой, когда кругом ни души, а снег заметает следы, и кажется, что тут никогда никто не проходил».

Человек, «*заночевавший*» в доме Бриков в Сокольниках, явно был гепеушником – кто же, кроме сотрудника этого

чрезвычайного ведомства мог носить с собой пистолет в портфеле?

Эльза Триоле оставила воспоминания и о «*рабочей*» комнате Маяковского:

«*Пока Володя был в Америке, да и после его приезда, когда он жил в Сокольниках, я ночевала у него в Лубянском проезде. Подъезд во дворе огромного хмурого дома; комната в коммунальной квартире, дверь прямо из передней. Одно окно, письменный стол, свет с левой стороны. Клеёнчатый диван. Тепло, глухо, не очень светло, отчего-то пахнет бакалейной лавкой*».

Так как жилищный кризис в советской столице был по-прежнему жутчайший, задача, вставшая перед Маяковским, оказалась чрезвычайно трудной. Но Владимир Владимирович с ней справился. Причём на удивление быстро – получил в Моссовете ордер на шикарную по тем временам четырёхкомнатную квартиру.

Бенгт Янгфельдт:

«*Сразу после возвращения из США в декабре 1925 года Маяковский получил квартиру в Гендриковом переулке на Таганке, несколько в стороне от центра Москвы. Это была небольшая – три спальни по десять квадратных метров и четырнадцатиметровая гостиная – но не коммунальная, а своя квартира*».

По тому, как построена последняя фраза Янгфельдта, сразу чувствуется, что писал её гражданин свободной страны, которому о порядках, царивших в первом в мире государстве рабочих и крестьян, известно понаслышке. У советских граждан язык не повернулся бы назвать квартиру в Гендриковом переулке небольшой – ведь она состояла из четырёх комнат, была отдельной (не КОММУНАЛЬНОЙ) и предназначалась всего лишь одному (ОДНОМУ!) человеку. Мало этого, за Маяковским сохранялась его «*рабочая*» комната в Лубянском проезде. Ситуация просто неслыханная!

Как ***такое*** могло произойти?

За что беспартийный поэт, не занимавший ответственных постов в советских учреждениях, получил такой необыкновенный подарок?

Ответ напрашивается один. Поскольку распределением московского жилья занимались гепеушники, ***получение Маяковским четырёхкомнатной квартиры выглядит как награда за отличное выполнение ответственейшего задания***.

Что это было за задание, догадаться нетрудно – Маяковский только что вернулся из Америки, где был ликвидирован Эфраим Склянский. А так как приказ о ликвидации мог исходить только из Кремля, то удивляться щедрости награды просто не имеет

смысла.

Вспомним, что Сергей Есенин, тоже совершивший незадолго до этого аналогичный вояж в Европу и Америку, но задания ГПУ не выполнивший, не только никакой квартиры, даже маленькой комнаты так и не получил.

Поэтому очень странно, что практически все биографы Маяковского пишут о получении им квартиры как о само собой разумеющемся событии. Бенгта Янгфельдта мы только что процитировали. Обратимся к Александру Михайлову:

«*Маяковский вселился в небольшую, но всё-таки четырёхкомнатную квартиру, полученную им от Моссовета, сохранив за собой комнату в Лубянском проезде*».

Аркадий Ваксберг:

«*Маяковский добился для себя и для Бриков большой – по советским нормам – квартиры в Гендриковом переулке, на Таганке, сохранив за собой рабочий кабинет в Лубянском проезде*».

Ваксберг вновь неточен. Квартиру Маяковский получил ***только для себя***, Брики тут совершенно не причём.

Лили Юрьевна о получении квартиры написала следующее:

«*После долгих хождений он получил ордер на квартиру в Гендриковом переулке, откуда выселили нэпманов. Но она была так запущена, что въехать немыслимо. С потолка свисали клочья грязной бумаги, под рваными обоями жили клопы, а занять её надо было немедленно, чтобы кто-нибудь не перехватил под покровом ночи. С жильём было тогда сложно. И вот Осип Максимович и приятель наш, художник Левин, взяли по пустому чемодану и «въехали», то есть провели две-три ночи без сна, сидя на чемоданах. В очередь с ними дежурили Владимир Владимирович и Асеев – до утра играли в «66», пока нашли рабочих и начали ремонт*».

В этих воспоминаниях – ещё одно косвенное подтверждение гепеушного происхождения квартиры. Ведь отбирали жильё у нэпманов всё те же работники ведомства Феликса Дзержинского. Они же распределяли и освободившуюся жилплощадь среди ***своих*** (нуждавшихся) людей.

А вот в то, что Брики и Маяковский боялись, «*чтобы кто-нибудь не перехватил*» полученную поэтом квартиру, что-то не очень верится. Уж кто-кто, а люди, дружившие с Аграновым и с Ягодой, были обеспечены самой надёжной охраной.

Ремонт же квартиры, в самом деле, требовался основательный. Янгфельдт пишет:

«*Именно для того, чтобы финансировать ремонт, Маяковский и отправился в турне. Перед отъездом он попросил Луначарского – в который раз! – похлопотать, чтобы у него не отняли жильё, на*

этот раз в Гендриковом переулке. Хлопоты увенчались успехом; кроме того, специальным постановлением Моссовета сняли угрозу уплотнения, вместо этого Маяковский смог «уплотнить» квартиру по собственному желанию, прописав туда Лили и Осипа».

Просьба Маяковского о самоуплотнении сохранилась – вот она:

«*Председателю Жилтоварищества д[*ома*] 13/15 по Гендрикову переулку.*

Прошу прописать в моей квартире тт. Л. Ю. Брик и О. М. Брик.

В. Маяковский».

Как видим, четырёхкомнатные апартаменты поэт назвал «*моей квартирой*».

Декабрь 1925-го

Ту пору хорошо описал Матвей Ройзман:

«*На дворе уже стоял морозный декабрь 1925 года, столица жила полной жизнью. В домах и учреждениях работало паровое отопление, сугробы снега увозили на грузовиках, кое-где, особенно на Тверской, перед магазинами тротуар посыпали песком. Горожане ходили одетые в зимние шубы и пальто. На улицах появились в своих бросающихся в глаза костюмах продавщицы «Моссельпрома» с красивыми лоточками…*

В народившихся, как грибы после дождя, ночных ресторанах и кабаре процветали дивы с крошками собачками, обезьянками, а нэпмачи, растратчики, спекулянты, купали их в золоте, – фигурально, а реально, как когда-то замоскворецкие купчины, – в наполненных шампанским ваннах. Открывались клубы, где играли в рулетку, и крупье с прилизанными волосами, с пробритыми проборами, восседали, как боги, и громким голосом чётко объявляли:

– Игра сделана! Ставок больше нет!

В те дни возвращались с фронтов гражданской войны истинные сыны республики – бойцы и командиры, своей грудью отстоявшие родину от четырнадцати держав. Эти достойные люди с презрением смотрели на круговорот жадных людишек, перед которыми маячил мираж обогащения…»

1 декабря в Доме печати Маяковский читал стихотворения, написанные в Америке. Газета «Известия» сообщила:

«*Хорошие стихи В. Маяковского были прочитаны с большим подъёмом*».

Эльза Триоле:

«*Впоследствии, когда мне случалось ходить с Маяковским по московским улицам, я поняла, какая же у него теперь слава!*

Извозчики и те на него оглядывались, прохожие говорили: «Маяковский! Вот Маяковский идёт!..» А что делалось в Политехническом музее на его вечере «Моё открытие Америки»! Как было хорошо! ‹…› …как же теперь Маяковский владел собой, залом, своим мастерством! Восторг молодёжи сметал всё остальное. Как это было прекрасно!»

Вечер «Моё открытие Америки» в Политехническом музее состоялся 6 декабря. «Новая вечерняя газета» дала такой отчёт:

«*Лекция Маяковского привлекла огромное количество слушателей. Даже имеющих билеты пропускали по очереди. Изнемогавшие милиционеры грозили вызвать конную милицию. В аудитории были заняты все места – и кресла, и на эстраде, и на ступеньках*».

«Вечерняя Москва»:

«*Маяковский вернулся в Москву не прежним. Американские наблюдения пробудили в поэте качества социолога, экономиста и политика… Маяковский не только увидел новое, но и глубоко понял. Обретя новые качества, Маяковский не потерял своих прежних. Доклад дважды уступал место чтению стихов, написанных во время путешествия*».

14 декабря, выступая в Доме печати на диспуте «Больные вопросы советской печати», Маяковский сказал:

«*У меня большой зуд на писание сатирических вещей… Но у нас сатирических журналов очень мало, да и они загружены материалом, а в газету ни один редактор стихотворения не пропустит, потому что считает их вообще ерундой*».

19 декабря в Политехническом музее Маяковский прочёл доклад «Дирижёр трёх Америк». Там же впервые публично продекламировал стихотворение «Домой».

А теперь вспомним о тех, чьи жизненные пути так или иначе пересекались с судьбой Маяковского. Сначала – о Давиде Бурлюке. Во время пребывания в Соединённых Штатах Владимир Владимирович с ним практически не расставался.

Бенгт Янгфельдт:

«*Если поэт и мог облегчить душу перед кем-либо, то именно перед ним. Признание, услышанное Бурлюком от Маяковского в Нью-Йорке – «Вот семь лет как я очень скучаю» – нельзя считать проявлением усталости, депрессии или временного смятения чувств. Тем более что оно перекликается с записью 1923 года в дневнике, который вёл Маяковский во время разлуки с Лили зимой 1923 года, и где он упоминает «один от семнадцатого года до сегодняшнего дня длящийся теперь никем не делимый ужас»*».

Казалось бы, всё логично. Иными отношения Бурлюка и Маяковского быть не могли – ведь не случайно же в «Я сам»

сказано:

«*Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом*».

Но как совместить эти слова с высказыванием, которое приводится в 6-томном собрании сочинений поэта? Когда старый (ещё дореволюционный) товарищ, Владимир Вегер-Поволжец, спросил вернувшегося из Америки Маяковского:

«– Что такое Бурлюк и ему подобные?

Маяковский ответил, что это «предприниматель, подрядчик: я работаю, а он антрепренёр, я пролетарий, а он богач»».

А вот воспоминания сестры Людмилы Владимировны Маяковской:

«*Когда Володя вернулся из Америки и зашёл к нам на Пресню, сестра Ольга Владимировна спросила его: «А как там поживает Бурлюк?» Володя, усмехнувшись, ответил: «Он теперь уже не Бурлюк, а Бурдюк»*».

Где здесь истинное выражение чувств, а где просто минутная бравада, когда ради красного словца не жалеют и отца родного? Ведь ни сестёр своих, ни своего давнего друга Вегера Маяковский мог не опасаться и обо всём говорить откровенно. Или в его колких словах – очередное проявление всё той же двойственности, так свойственной поэту, когда у него всегда был готов ответ (и вашим и нашим)?

В декабре 1925 года резидент ИНО ОГПУ на Ближнем Востоке Яков Серебрянский был вызван в Москву, где ему было предложено работу в Азии завершить и отправиться в страну европейскую. Тоже резидентом. Таким же нелегальным. Страной этой оказалась Бельгия. И в том же декабре Яков и Полина Серебрянские отправились в Брюссель.

Друзья, собравшиеся по случаю возвращения Маяковского из Америки. В верхнем ряду: Маяковский с подарком Лили – бульдогом Булькой, Осип, Борис Пастернак, Сергей Третьяков, Виктор Шкловский, Лев Гринкруг, Осип Бескин и секретарь Лефа Петр Незнамов. Сидят: Эльза, Лили, Раиса Кушнер, Елена Пастернак, Ольга Третьякова. 1925 г.

В книге Янгфельдта помещена фотография, сделанная в квартире Бриков в Сокольниках. Под снимком написано:

«*Друзья, собравшиеся по случаю возвращения Маяковского из Америки*».

Среди друзей (пятый справа от Маяковского) стоит Лев Гринкруг, в официальной биографии которого сказано, что в декабре 1925 года он поехал во Францию, где продолжил свою банковскую деятельность. Но при этом принял решение в Советскую Россию не возвращаться.

И вновь возникает предположение, что эта неожиданная поездка была организована ОГПУ. Видимо, свой финансист в Париже гепеушникам был нужнее, чем финансовый директор в РОСТА, каковым уже шесть или семь лет являлся Гринкруг.

Теперь об Александре Краснощёкове. Его направили работать в Главный хлопковый комитет. Выпустили на свободу и его брата Якова. О шумном судебном процессе уже никто не вспоминал.

Кремлёвских властителей волновали теперь совсем другие вопросы и проблемы – ведь партия большевиков оказалась расколотой. На открывшемся 18 декабря 1925 года XIV съезде партии было прочитано два отчётных доклада.

Борис Бажанов:

«*Сталин прочёл политический отчёт, скучный и тусклый. Ленинградская делегация потребовала содоклада Зиновьева, который и был ему предоставлен. Содоклад ровно ничего не изменил. За Сталина послушно голосовал весь съезд, за Зиновьева – одна ленинградская делегация*».

Лев Троцкий, ещё совсем недавно второй человек в партийной иерархии, на этот раз сидел не в президиуме, а в зале, как обычный рядовой делегат, и, по словам Бориса Бажанова:

«*…со злорадством наблюдал, как повергается ниц его главный враг – Зиновьев*».

Вдова Ленина, Надежда Крупская, выступила против «*кулацкой*» политики, которую выдвигали Сталин и Бухарин, и поддержала Зиновьева с Каменевым.

Направляясь на одно из заседаний съезда, Сталин столкнулся в коридоре с Григорием Сокольниковым и попросил его поддержать не Зиновьева с Каменевым, а позицию ЦК (то есть сталинскую). Сокольников наотрез отказался.

– Смотри, Григорий, пожалеешь! – сказал ему Сталин.

Сокольников молча пожал плечами, и они разошлись в разные стороны.

Про Сокольникова – Борис Бажанов:

«*На съезде 1925 года он… был единственным оратором, требовавшим с трибуны съезда снятия Сталина с поста генерального секретаря. Это ему стоило и поста наркомфина и места в Политбюро*».

Да, хотя народного комиссара финансов Григория Яковлевича Сокольникова, сумевшего сделать советский рубль конвертируемой валютой, делегаты XIV съезда вновь избрали членом ЦК партии. Но в самом начале 1926 года он был снят с поста наркомфина и направлен послом в Великобританию.

В конце 1925 года завершилась жизнь ещё одного человека, чья судьба многократно пересекалась с судьбой Маяковского. Но об этом – рассказ особый.

Смерть поэта

Незадолго до новогодних праздников из северной столицы пришло известие, потрясшее многих: 28 декабря в ленинградской гостинице «Англетер» обнаружен поэт Сергей Есенин, повесившийся в своём номере.

Юрий Анненков:

«*Среди многих трагических смертей одна из самых страшных – смерть Есенина… он был моложе и даровитее почти всех других…*

Есенин повесился от отчаяния: от беспутства, иными словами – от беспутья, от бездорожья».

Как отреагировал на это трагическое событие Маяковский? В написанной несколько месяцев спустя статье «Как делать стихи?» он сказал:

«*Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:*

В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом».

Вот, пожалуй, и всё. Более многословной (прозаичной) реакции Маяковского на факт смерти Есенина нет.

Но что же всё-таки произошло в «Англетере»?

Как вообще Сергей Есенин там оказался?

Чтобы ответить на этот вопрос, перенесёмся на несколько месяцев назад – в лето 1925 года.

2 августа в минской газете «Звезда» была напечатана статья Сергея Борисовича Ингулова (Рейзера), возглавлявшего Бюро прессы отдела агитации и пропаганды ЦК РКП(б) и прозванного чуть позднее «*штатным литературным палачом*». В его статье упоминался и Есенин, про которого сказано:

«*Непонятно только, почему советский Госиздат ведёт дружбу с этим богобоязненным болтуном и так любовно издаёт в изящном томике мечты и думы о неудавшейся уголовной карьере, выродившейся в занятие ханжеской поэзией*».

Как видим, травля поэта продолжалась, и выражения подбирались самые что ни на есть оскорбительные.

В начале сентября 1925 года (когда Маяковский только прибыл в Соединённые Штаты) Есенин выступил в Доме печати – на первой литературной пятнице. Вот каким увидел на ней поэта Матвей Ройзман:

«*Больше всего поразили меня его глаза. Они всегда во время разговора расцветали, то голубея, то синея; теперь же были тусклые, невнимательно глядели на собеседника. Он стал немного сутулиться, у него появилась новая манера – класть руки в карманы пиджака…*

Выйдя на эстраду, он преобразился. И чем больше читал, тем уверенней звучал его голос с хрипотцой, тем ритмичней и

торжественней поднималась его правая рука, обращённая тыловой стороной ладони к слушателям…

…тогда на эстраде Дома печати он словно переродился: сверкали голубым огнём глаза, слегка порозовели щёки, разметались пшеничного цвета волосы. Одухотворённый, с чуточку вскинутой головой, с чудесно подчёркивающей смысл стихов ходящей верх-вниз рукой, он казался мне пришельцем с другой планеты…»

Жившие за рубежом российские эмигранты в тот момент тоже не скупились на обидные выражения в адрес Есенина. 12 октября в парижской газете «Возрождение» Иван Бунин опубликовал статью, в которой, высказываясь о нём, вспомнил его давнее восклицание о поэме «Инония», написанной в 1918 году:

«*«Я обещаю вам Инонию!» – но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой! А главное, всё-то ты врёшь, холоп, в угоду своему новому барину*!»

В московской общественно-политической библиотеке, где хранятся документы ещё со времён Коминтерна, и которому эта библиотека когда-то принадлежала, сохранилось (фонд 76, опись 3, дело 373) любопытное послание Христиана Раковского, друга Троцкого, адресованное главе ОГПУ:

«*Себеж, 25/X – 25 г.*

Дорогой Феликс Эдмундович!

Прошу Вас оказать нам содействие – Воронскому и мне – чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина – несомненно, самого значительного в нашем Союзе».

Прокомментируем эти первые фразы.

Себеж – железнодорожная станция на границе с Литвой, после неё за окнами вагона начинали мелькать заграничные пейзажи. Христиан Раковский, назначенный советским послом во Францию, направлялся в Париж. Но мысль о гибнувшем поэте не давала ему покоя. Александр Константинович Воронский (в ту пору – главный редактор журнала «Красная новь») был близким другом недавно назначенного наркомвоенмором Михаила Фрунзе, который в тот момент готовился к операции. Сделать её Михаилу Васильевичу настойчиво рекомендовали соратники по партии. Операция была назначена на 31 октября. Её исход особых опасений, вроде бы, не вызывал – тривиальную язву желудка оперировали тогда регулярно, и большинство операций, как правило, завершалось благополучно.

Другое дело – Сергей Есенин. Раковский о нём писал:

«*Он находится в очень развитой стадии туберкулёза (захвачены оба лёгкие, температура по вечерам и прочее). Найти, куда послать его на лечение не трудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера не поддаётся никакому врачебному воздействию*».

Не будем обращать внимание на не совсем точное название есенинской болезни, которое приводил Раковский – он опирался на формулировки диагнозов, которые от кого-то слышал. Читаем письмо дальше:

«*Мы решили, что единственное ещё остаётся средство заставить его лечиться – это Вы. Пригласите его к себе, проберите хорошо и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Он много ещё мог бы дать, не только благодаря своим необыкновенным дарованиям, но и потому что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую среду*».

Вот такое письмо от имени Александра Воронского и своего собственного написал Христиан Раковский. Заканчивалось оно так:

> «*Зная, что Вас нет в самой Москве, решили написать, но удалось это сделать только с дороги – из Себежа.*
>
> *Желаю Вам здоровья!*
>
> *Крепко жму руку.*
>
> *Х. Раковский».*

Иными словами, автор письма мог бы зайти к Дзержинскому и побеседовать с ним лично, но из-за отсутствия его в Москве отправлял это послание.

Забота видных большевиков о судьбе российского поэта характеризует их с самой лучшей стороны. Но возникает вопрос: почему со своими предложениями они обратились не к наркому здравоохранения Николаю Семашко, не к наркому просвещения Анатолию Луначарскому, а к Феликсу Дзержинскому, возглавлявшему ОГПУ?

Ведь «*пригласить*» Есенина «*к себе*», хорошенько его «*пробрать*», а затем «*отправить в санаториум*» в сопровождении «*товарища из ГПУ*» мог только его ***непосредственный начальник***! Стало быть, то, что «*известный поэт*» находился под началом Феликса Дзержинского или, говоря проще, служил в ОГПУ, Раковскому и Воронскому было хорошо известно. Вот и обратились они за помощью к находившемся тогда в двухмесячном отпуске шефу талантливого, но любившего

загулять агента.

Тут нелишне напомнить, что Воронский дружил с писателем Борисом Пильняком, который тоже сотрудничал с ОГПУ и секрета из этого не делал (от своих ближайших друзей, во всяком случае).

Если бы Есенин никакого отношения к Лубянке не имел, Дзержинский, получив письмо, вряд ли откликнулся бы на просьбу Раковского. Но на письме рукою Феликса Эдмундовича проставлена резолюция:

«*т. Герсону*
Может быть, вы могли бы заняться?

Ф. Д.»

Рядом – рукой Герсона – написано:

«*Звонил неоднократно, найти Есенина не мог*».

Матвей Ройзман каким-то образом (не потому ли, что тоже был сотрудником ОГПУ?) оказался знаком с этим письмом и с резолюций на ней Феликса Дзержинского. И написал в воспоминаниях (с неточным указанием даты, когда была проставлена на письме резолюция Дзержинского, это Раковский отправил своё письмо 25 октября):

«*В 1925 году Есенину необходим был санаторий. Знаменательно, что, узнав об этом 25 октября того же года, именно Феликс Эдмундович отдал распоряжение товарищу Герсону позаботиться о поэте*».

Сейчас трудно установить, чьи именно «*заботы*» возымели действие. Дело в том, что в сентябре, возвращаясь в Москву из Баку, Есенин повздорил в поезде со своими попутчиками. Они обратились в московский суд. Было возбуждено уголовное дело, замять которое не удалось даже Луначарскому. Есенин стал прятаться. И с горя запил, топя в вине своё нежелание служить лубянской чрезвычайке, мечтая любым способом (всеми правдами и неправдами) избавиться от навязчивой гепеушной опеки.

Попытки спастись

Есть сведения, что лечь в санаторий поэту порекомендовали родственники – чтобы хоть как-то избавиться от грозившего ему суда (дескать, «*психов не судят*»). И 26 ноября 1925 года Есенин устроился в «*санаторий*». Это была психиатрическая клиника Первого Московского университета. Матвей Ройзман о ней написал:

«*Клинику на Большой Пироговской возглавлял выдающийся психиатр П. Б. Ганнушкин… В его клинике впервые был открыт*

невропсихиатрический санаторий, где и находился Есенин».

Ассистентом Петра Борисовича Ганнушкина («*красного профессора психиатрии*», как его тогда уже называли) был 32-летний Александр Яковлевич Аронсон (активно сотрудничавший с ОГПУ), со слов которого Ройзман написал:

«*…профессор Ганнушкин поставил точный, проверенный на больном диагноз: Есенин страдает ярко выраженной меланхолией. Впоследствии я узнал, что в переводе с греческого это слово значит – «чёрная желчь», которой древнегреческие врачи объясняли возникновение этой болезни. Меланхолия – психическое расстройство, которому сопутствует постоянное тоскливое состояние. Поэтому любые размышления больного протекают как бы окрашенными в чёрный цвет*».

И ещё Ройзман добавлял, что больных меланхолией (эту болезнь в наши дни именуют депрессией) «*мучает навязчивая мысль о самоубийстве*».

Незадолго до того, как лечь в клинику Ганнушкина (12–14 ноября), Есенин закончил сочинять стихотворение «Чёрный человек», которое, как мы помним, начиналось очень трагично:

> «*Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен.*
> *Сам не знаю, откуда взялась эта боль.*
> *То ли ветер свистит / Над пустым и безлюдным полем,*
> *То ль, как рощу в сентябрь, / Осыпает мозги алкоголь*».

До наших дней дошла медицинская справка:

«*УДОСТОВЕРЕНИЕ Контора психиатрической клиники сим удостоверяет, что больной Есенин С. А. находится на излечении в психиатрической клинике с 26 ноября с.г. и по настоящее время, по состоянию своего здоровья не может быть допрошен на суде.*

Ассистент клиники Ганнушкин»

27 ноября Есенин написал письмо Петру Ивановичу Чагину (Болдовкину):

«*Дорогой Пётр! Пишу тебе из больницы. Опять лёг. Зачем – не знаю, но, вероятно, и никто не знает. Видишь ли, нужно лечить нервы, а здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего без всяких лекарств*».

Как видим, Есенин сразу определил, что его окружают гепеушники («*фельдфебели*»).

В книге Владислава Тормышова описано, как проходило «*лечение*» поэта:

«*…когда ОГПУ, суд и милиция его сильно доставали, то*

ложился в больницу, где врачи, покрывая его и спасая от суда, писали нужные для этого диагнозы.

Если бы они их не писали, то поэта посадили или расстреляли бы.

С другой стороны, если бы врачи не написали «нужный диагноз», то проблемы с законом начались бы у них».

В письме Есенина Чагину есть и такие слова:

«*…вероятно махну за границу*».

И 21 декабря Есенин сбежал из своего «*санатория*».

Илья Шнейдер:

«*Есенин был человеком необыкновенной впечатлительности. Всё его ранило, возбуждало, всё могло им овладеть сразу, целиком. Потому он был так беззащитен и перед красотой, и перед чувством, и перед друзьями. Когда он встретился с Дзержинским, Феликс Эдмундович сказал ему:*

– Как это вы так живёте?

– А как? – спросил Есенин.

– Незащищённым! – ответил Дзержинский.

Сергей Есенин, 1925 г.

Да, он жил беззащитным, незащищённым».

И «*беззащитный*» поэт сбежал от «*защищавших*» его «*фельдфебелей*».

Вскоре его встретил приехавший в Москву родной брат Петра Чагина, Василий Болдовкин:

«*Моя последняя встреча с ним была на улице Белинского, около гостиницы «Париж». Это было числа 15.XII-25 года. Падал снег. Сергей в чёрной шляпе, в шубе с воротником шалью, шёл как-то уныло, задумчиво. Его осунувшееся серое лицо говорило о каких-то переживаниях, о какой-то болезни.*

– Здравствуй, Сергей!

Мы с ним расцеловались…

– Хочу поехать в Ленинград».

Напомним, что гостиница «Париж» находилась в самом начале Тверской улицы, соседствуя со зданием, в котором сейчас расположен театр имени Ермоловой.

Есенин дал телеграмму в Ленинград молодому поэту Вольфу Эрлиху, попросив снять для него квартиру.

Доктор Аронсон метался по Москве, разыскивая сбежавшего пациента. А тот, сняв со сберегательной книжки почти все деньги, взяв с собой все свои записи, рукописи и книги, в ночь с 23 на 24 декабря поехал в Ленинград.

Илья Шнейдер:

«*Перед отъездом из Москвы в Ленинград Есенин побывал у всех своих родных, навестил детей – Константина и Татьяну (от первого брака с З. Н. Райх) и попрощался с ними. Пришёл перед самым отъездом и к своей первой подруге – Анне Романовне Изрядновой, когда-то работавшей вместе с Есениным корректором в типографии Сытина. (У Изрядновой рос сын Есенина Юрий, родившийся 21 января 1915 года.)*»

Анна Изряднова:

«*Видела его незадолго до смерти. Пришёл, говорит, проститься. На мой вопрос, что, почему, говорит:* «*Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверно, умру*». *Просил не баловать, беречь сына*».

Прибыв в город на Неве, Есенин объявил встречавшим его друзьям, что приехал сюда для того, чтобы начать новую жизнь, без пьянства. Тем же утром все отправились фотографироваться у знаменитого тогда фотографа Моисея Соломоновича Наппельбаума, дочь которого потом вспоминала:

«*А Есенин! Отец как бы предугадал его судьбу. Есенин пришёл сниматься с товарищами – весёлый, кудрявый, золотоволосый херувим в галстуке бабочкой. А на портрете он стоит с низко опущенной головой. Стоит, обречённый. Снимок сделан за несколько дней до трагической гибели поэта*».

Затем (по официальной версии) Есенин поселился в гостинице «Англетер», в которой проживал его друг Георгий Устинов. Поэта навещали там Григорий Колобов, Вольф Эрлих и другие. Эрлиху, как известно, Есенин передал свои стихи:

«*До свиданья, друг мой, до свиданья.*
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, –
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей».

Эрлих стал читать их дома и с ужасом обнаружил, что написаны они кровью. Он бросился в «Англетер», но было уже поздно.

Последние дни

Пётр Чагин:

«*В конце декабря я приехал в Москву на XIV съезд партии. В перерыве между заседаниями Сергей Миронович Киров спросил меня, не встречался ли я с Есениным в Москве, как и что с ним. Сообщаю Миронычу: по моим сведениям Есенин уехал в Ленинград.*

– Ну что ж, – говорит Киров, – продолжим шефство над ним в Ленинграде. Через несколько дней будем там…

Узнаю… Состоялось решение ЦК – Кирова посылают в Ленинград первым секретарём губкома партии. Ивана Ивановича Скворцова-Степанова – редактором «Ленинградской правды», меня – редактором «Красной газеты»».

Секретарь Дзержинского Вениамин Леонардович Герсон (ему было тогда 34 года), которого шеф попросил «*заняться*» розыском Есенина, поручил это дело одному из гепеушников. В последнее время появилось несколько книг, в которых утверждается, что исполнителем распоряжения шефа ОГПУ стал Яков Блюмкин.

Однако возникает вопрос: как мог Блюмкин оказаться в тот момент в Москве? Во всех биографиях этого видного гепеушника говорится о том, что с осени (с 17 сентября) он вместе с экспедицией Николая Рериха путешествовал по Индии и Западному Китаю. Правда, известно, что Блюмкин постоянно менял свой облик, появляясь то в виде буддийского монаха, то в виде монгольского офицера – в зависимости от того дела, которое он тогда выполнял. А Рерих в своём дневнике писал с изумлением, как ловко может этот «*буддийский монах*» исчезать, какое-то время отсутствовать и неожиданно появляться вновь. Так что причину неожиданного появления чекиста Блюмкина в Москве могут разъяснить только лубянские архивы (когда будут раскрыты хранящиеся там документы).

А пока посмотрим, как описан в вышедших книгах розыск пропавшего Есенина.

В книгах сказано, что себе в помощники Блюмкин взял своего сослуживца Николая Леонидовича Леонтьева, который был одним

из охранников Троцкого, когда эту охрану возглавлял Блюмкин. Узнать о том, что Есенин собрался в Ленинград, труда не составляло – слишком много гепеушников окружало поэта. Поэт Вольф Эрлих был одним из них. Вполне возможно, что он и доложил на Лубянку о планах Есенина. Блюмкин с Леонтьевым бросились вдогонку.

В книге Виктора Кузнецова «Тайна гибели Сергея Есенина» представлена весьма убедительная версия того, что произошло в Ленинграде. Документы, сохранившиеся с той поры, показали, что поэт в гостинице «Англетер» не останавливался:

«*Подробное знакомство с остатками архива гостиницы, тщательный анализ всех данных приводит к неожиданному, даже сенсационному выводу: 24–27 декабря 1925 года Сергей Есенин не жил в «Англетере»*».

А вот что об этой гостинице написал Владислав Тормышов:

«*Тогда это было режимное заведение НКВД-ОГПУ, и там жили лишь сотрудники этих ведомств.*

Есенин там жить не мог.

Это было закрытое режимное учреждение ОГПУ».

Виктор Кузнецов:

«*А то, что «Англетер» представлял собой чекистскую цитатель, сомнений нет*».

То, что Сергей Есенин тоже являлся сотрудником ОГПУ, ни Владислав Тормышов, ни Виктор Кузнецов даже не подозревали.

Но где же жил тогда Есенин?

Поэта разыскали Блюмкин и Леонтьев. И отвели в дом № 8/23 по проспекту Майорова. Дом этот находился рядом с «Англетером» и являлся следственным изолятором ГПУ. Между ним и гостиницей существовали подвальные ходы. В этом доме в течение нескольких дней и держали Есенина.

Много лет спустя Николай Леонтьев рассказал, как он и Блюмкин убивали поэта. Приведём отрывок из книги Виктора Кузнецова:

«*…чекисты, как бы шутя, стали стаскивать с Есенина брюки (чтобы лишить его мужественности). Поэт схватил медный подсвечник и ударил им Блюмкина по голове. Тот упал без сознания. Испугавшийся Леонтьев выстрелил. Очнувшийся Блюмкин ударил рукояткой нагана Есенина в лоб. Потом Блюмкин звонил Троцкому и договорился об инсценировке самоубийства и об устранении следов*».

Николая Леонтьева через несколько дней после смерти Есенина отправили на Дальний Восток (на подпольную работу в ставке атамана Семёнова). После Отечественной войны Леонтьеву дали 25 лет лагерей «*за измену чекистскому делу*». Отсидев срок и

выйдя на свободу, он и рассказал подробности того давнего убийства. В частности, упомянул и об ответе Троцкого Блюмкину (в пересказе того же Виктора Кузнецова):

«*Тот ему ответил, что завтра появится его статья в газете о том, что неуравновешенный, упаднический поэт наложил на себя руки, и все замолчат*».

Убийцам оставалось только замести следы.

Виктор Кузнецов:

«*Подальше от любопытных глаз нашли захудалый номер, обставили его на скорую руку, притащили тело злодейски убитого поэта*».

Женщина, работавшая уборщицей в «Англетере», много-много лет спустя призналась, что видела, как в пятый номер какие-то мужчины заносили что-то завёрнутое в ковёр.

Художник Василий Семёнович Сварог (Корочкин), оказавшийся утром 28 декабря в пятом номере «Англетера», с удивлением обнаружил множество ворсинок от ковра на сорочке и в волосах Есенина. На рисунке Сварога брюки поэта расстёгнуты и спущены.

Эдуард Хлысталов, тоже выпустивший книгу о Есенине, написал в ней:

«*Провокаторы из ЧК, а затем ГПУ всё делали, чтобы уничтожить поэта «законным» путём. Одного за другим убивали в подвалах Лубянки его друзей… А 28 декабря 1925 года его самого обнаружили повешенным в гостинице «Англетер»*».

Официальная версия утверждает, что своё предсмертное письмо Есенин вручил поэту Вольфу Эрлиху. О том, что это был за человек, говорит только один факт: вскоре после смерти Есенина ему «*за особые заслуги*» дали отдельную квартиру. Сохранилось письмо Эрлиха матери:

«*Сам я живу замечательно. Две комнаты с передней, а я один. Сам к себе в гости хожу. Шик*!»

А Есенин своего жилья так и не заработал.

Существуют версии, в которых утверждается, что «*предсмертное*» письмо на самом деле написано не Есениным, а Блюмкиным. Действительно, вспомним начало «Чёрного человека»:

«*Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен…*»

А «*предсмертное*» послание начинается:

«*До свиданья, друг мой, до свиданья*».

Написав все восемь строк стихотворения, Блюмкин якобы подделал почерк поэта и переписал стихи «*кровью*» (чьей?).

Но, во-первых, проведённая экспертиза показала, что эти восемь строк написаны самим Есениным. Во-вторых, если вчитаться в них со вниманием, то приходишь к выводу, что никакого «*прощания*» в них нет, а «*предсмертного прощания*» – тем более. Давно уже возникло предположение, что строки эти написаны в ответ на слова, сказанные, надо полагать, Яковом Блюмкиным. Целый день он и Леонтьев убеждали Есенина в том, что сотрудник ОГПУ покинуть своё ведомство не может. Отступников уничтожают. И, расставаясь на какое-то время с поэтом, Блюмкин ещё раз напомнил ему:

– Я ухожу. До свиданья, друг мой Серёжа! И подумай о том, что тебя ожидает в случае твоего отступничества. Хорошенько подумай!

Есенин подумал. И написал ответ – другу своему Блюмкину. И вручил ему, когда тот вернулся.

Вот эти-то строки Блюмкин и передал потом Вольфу Эрлиху. И даже, пожалуй, подсказал, что их следует опубликовать. Эрлих данное ему поручение выполнил – и 31 декабря 1925 года «Красная газета» напечатала стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья» вместе со стихами, посвящёнными Илье Ионовичу Ионову, поэту и издательскому работнику, другу Есенина и родному брату жены Григория Зиновьева – «Издатель славный!» (Ионов эти стихи так и не издал).

Тело убитого поэта в ночь с 28 на 29 декабря сторожил в морге Обуховской больницы на Фонтанке поэт Василий Князев, о котором Виктор Кузнецов в своей книге высказался так:

«*Не ошибёмся, если предположим, что Князев выполнял в ГПУ роли самого дурного свойства*».

На своём «*дежурстве*» Князев написал стихотворение, опубликованное потом в «Новой вечерней газете»:

«*В маленькой мертвецкой, у окна,*
Золотая голова на плахе.
Полоса на шее не видна –
Только кровь чернеет на рубахе».

Виктор Кузнецов задался вопросом, с какой целью поэт Князев сторожил тело поэта Есенина:

«*Почему на роль сторожа выбран не какой-нибудь служитель прозекторской (здесь работали восемь человек), а заботливо опекаемый партцарьком Зиновьевым преданный ему бард?..*

Цель палачей и их порученца в морге Обуховской больницы: не

допустить к осмотру тела поэта ни одного человека, ибо сразу же обнаружились бы страшные побои и – не исключено – отсутствие следов судмедэкспертного вскрытия. Поставленную перед ним кощунственную задачу негодяй выполнил – не случайно в 1926 году его печатали как никогда обильно. Иуда щедро получал свои заработанные на крови сребреники. Другого объяснения странного дежурства в мертвецкой стихотворца-зиновьевца трудно найти».

А теперь вернёмся к выяснению того, кто же являлся убийцей Есенина. В путевых заметках, которые вёл во время своего путешествия Николай Рерих (они были опубликованы впоследствии под названием «Алтай – Гималаи»), сразу же после того, как в них было сказано, что «*монгольский лама*» говорит по-русски, он стал упоминаться очень редко. Почему? Ответ напрашивается один: Блюмкин сообщил Рериху (показав ему соответствующие документы), кем он является и кого представляет. И Рерих стал соблюдать конспирацию – на тот случай, если его записи вдруг попадут в руки местных властей.

Что же касается внезапного отъезда Блюмкина в Москву, то оно могло произойти только после вызова его руководством ОГПУ. Но зачем было отзывать агента, когда акция, в которой он участвовал, только-только началась, а экспедицию, по словам Рериха, «*ждали в Лхасе*», столице Тибета? Но даже если бы такой вызов всё-таки был (вот только как его могли доставить?), для того, чтобы добраться до Москвы, потребовалось бы очень много времени. А в записях Рериха от 1 декабря 1925 года есть такая фраза:

«*Лама очень хотел бы повидать хазарейцев – монгольское племя, оставшееся после нашествия в Афганистане*».

К тому же экспедиция Рериха была задержана властями города Хотана, за ними была установлена слежка и никого никуда не выпускали.

Так что участие Якова Блюмкина в задержании Сергея Есенина в Ленинграде и в убийстве поэта ничем не подтверждается. Алиби Блюмкина слишком непоколебимо и убедительно.

Но как вообще могла возникнуть версия об участии в этом деле убийцы немецкого посла Мирбаха?

Виктор Кузнецов, автор книги «Тайна гибели Сергея Есенина», в одном из интервью сказал:

«*Когда книга была уже написана и издана, я прочитал в московском журнале* «*Чудеса и Приключения*» *публикацию, в которой майор запаса Виктор Титаренко писал, что более двадцати лет назад в посёлке Ургау Хабаровского края слышал исповедь одного* «*выпускника*» *ГУЛАГа Николая Леонтьева. Тот,*

будучи уже старым и больным человеком, неожиданно разоткровенничался и сказал: «Витёк, а ведь вот этой самой рукой я застрелил Сергея Есенина». Тогда эти слова показались офицеру бредом сумасшедшего, они просто не укладывались в голове. Настолько это расходилось с общепринятым взглядом на печальные события, оборвавшие жизнь поэта. Но, всё же, придя домой, он записал признание бывшего заключённого…

Убийца рассказывал майору Титаренко, что когда Есенин приехал в Ленинград, то он с Блюмкиным, который хорошо знал поэта, поскольку был вхож в литературную богему и сам пописывал стишки, заманили Есенина в первый же день в гостиницу, чтобы обмыть встречу. И там-то это и произошло».

Скорее всего, Леонтьев назвал какую-то другую фамилию человека, с которым он охотился на Есенина. Фамилия эта чем-то очень напоминала фамилию «*Блюмкин*», и Виктор Титаренко так её и записал. А настоящий Яков Блюмкин участвовать в убийстве поэта никак не мог, потому что в тот момент он находился очень далеко от Ленинграда – в китайском городе Хотане.

Прощание с поэтом

Тело Есенина было доставлено в Москву.

Василий Болдовкин:

«*Вечером, входя в Дом печати, на фронтоне здания я прочёл: «Тело великого русского поэта Сергея Есенина покоится здесь». Подходя к парадной двери, встретил Сергея Клычкова без шапки, всего в снегу. Он бросился ко мне на шею, истерически рыдая, восклицал:*

– Нету, Вася, с нами Сергея, ушёл Серёжа!..

Я пошёл в зал. Много знакомых лиц, с которыми Сергей знакомил меня. Вот в слезах сидит Вс. Мейерхольд, рядом с ним Зинаида Райх. Вот отец, мать, сёстры Сергея…

С помоста послышались слова – читал В. И. Качалов:

Не жалею, не зову, не плачу…

Да, Сергей, ты уже не плачешь, но плачут миллионы людей. Беспрерывно играет траурный марш. Поздно ночью расходимся».

Анна Берзинь (она была членом похоронной комиссии):

«*Товарищи несли почётный караул; непрерывной лентой проходили москвичи перед гробом Есенина. Окна были открыты настежь, на дворе стояла оттепель. С крыш падали капли и звонко разбивались о тротуар. Стоя у открытого окна, я слушала*

весеннюю капель, казалось, плачет даже сам дом. Весна и стихи Есенина – всё это неразрывно связано, и вот, словно стараясь проводить Сергея, стояла весенняя погода, а был конец декабря».

Есенина похоронили на Ваганьковском кладбище неподалёку от могилы его друга Ширяевца. Председателем похоронной комиссии был Александр Воронский.

Знал ли Маяковский (хотя бы что-то) об истинной причине кончины Есенина?

По кабинетам и коридорам Лубянки наверняка распространилась тогда молва о том, как один из сотрудников ОГПУ отказался работать на это учреждение, как пытался прятаться, как бежал, но был настигнут, и как за своё дезертирство был сурово наказан.

Маяковский не мог не слышать этих разговоров. И они вряд ли его удивили, поскольку в августе месяце он сам был очевидцем смерти Эфраима Склянского.

Между тем в конце октября произошла другая кончина, ещё более загадочная. Ведь через четыре дня после того, как Христиан Раковский написал и отправил письмо Дзержинскому, умер Михаил Фрунзе, сменивший Склянского на посту первого заместителя наркомвоенмора, а затем и возглавивший Красную Армию.

Полная тайн и загадок смерть Фрунзе побудила Александра Воронского подробно рассказать всё, что было ему известно о роковой хирургической операции наркомвоена, Борису Пильняку, который только что вернулся из очередной поездки в Японию. Воронский попросил написать об этой трагедии, и Пильняк сочинил повесть о командарме Гаврилове, которого направил на операцию «*негнущийся человек*» из руководящей «*тройки*», которая «*решала всё*».

9 января 1926 года трагическое повествование о судьбе командарма Гаврилова было закончено. Оно получило название «Повесть непогашенной луны». Сдав её в журнал «Новый мир», Борис Пильняк вновь укатил в Японию.

Писатель Андрей (Юлий Михайлович) Соболь 13 января того же года записал в дневнике:

«*…пустота, ощущение, что нет воздуха, что нависла какая-то глыба. Ещё никогда в нашем писательском кругу не было такого гнетущего настроения – настроения опустошённости, стеклянного колпака… Сникли и посерели все*».

А находившийся на Капри А. М. Горький отправил письмо Валентине Ходасевич (он в шутку называл её «*Купчихой*»):

«*Милая Купчиха – умоляю, пришлите мне статью Бориса Лавренёва о Есенине. Очень благодарю вас за присланные вырезки;*

буду благодарить ещё больше за Лавренёва, ибо человек этот меня интересует…

Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, но я всегда, т. е. давно уже думал, что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком «несвоевременна» была голубая, горестная, избитая душа его. А когда я прочитал, что – в числе прочих – гроб Есенина нёс Соболь, – подумал грешный, как бы и Соболь не удавился, но этот, конечно, по другим мотивам».

Горький здесь как в воду смотрел – писатель Андрей Соболь 7 июня 1926 года застрелился на Тверском бульваре у памятника Пушкину.

19 января 1926 года вышла статья Троцкого о Есенине, в которой, в частности, говорилось:

«*Мы потеряли Есенина – такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли! Он ушёл сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки! Он ушёл из жизни без крикливой обиды, без ноты протеста, – не хлопнув дверью, а тихо прикрыв её рукою, из которой сочилась кровь. В этом месте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом…*

У Есенина немало драгоценных строф, насыщенных эпохой. Ею овеяно всё его творчество. А в то же самое время Есенин… «не от мира сего». Он не поэт революции…

Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его».

Алексей Максимович Горький не случайно отметил:

«*Лучшее о Есенине написано Троцким*».

Эти слова из высказываний «*буревестника революции*» советские цензоры потом безжалостно изымали.

В 1926 году Госиздат выпустил книгу «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Матвей Ройзман написал о ней:

«*Из тринадцати авторов добрая половина пишет о том, каким был Сергей в нетрезвом виде и как, в конце концов, дошёл до умопомешательства*».

Виктор Кузнецов:

«*Кто только ни упражнялся в очернении поэта: политики, критики, журналисты, разная мелкая мемуарная братия…*»

Среди этой «*братии*» оказался и Маяковский. В числе тринадцати авторов книги воспоминаний о Есенине его не было. Он, по его же собственным словам, в это время усиленно раздумывал над своим стихотворением памяти ушедшего поэта. Но оно никак не складывалось. В статье «Как делать стихи?» Маяковский написал:

«*Работа совпала как раз с моими разъездами по провинции с чтением лекций. Около трёх месяцев я изо дня в день возвращался к теме и не мог придумать ничего путного… За три месяца я не придумал ни единой строки*».

И это писал поэт, который мгновенно откликался на любое событие.

Но строки из предсмертного стихотворения Есенина («*В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей*») не давали Маяковскому покоя:

«*Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно – стих, подведёт под петлю и револьвер…*

С этим стихом можно и надо бороться стихом и только ***стихом****.*

Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха».

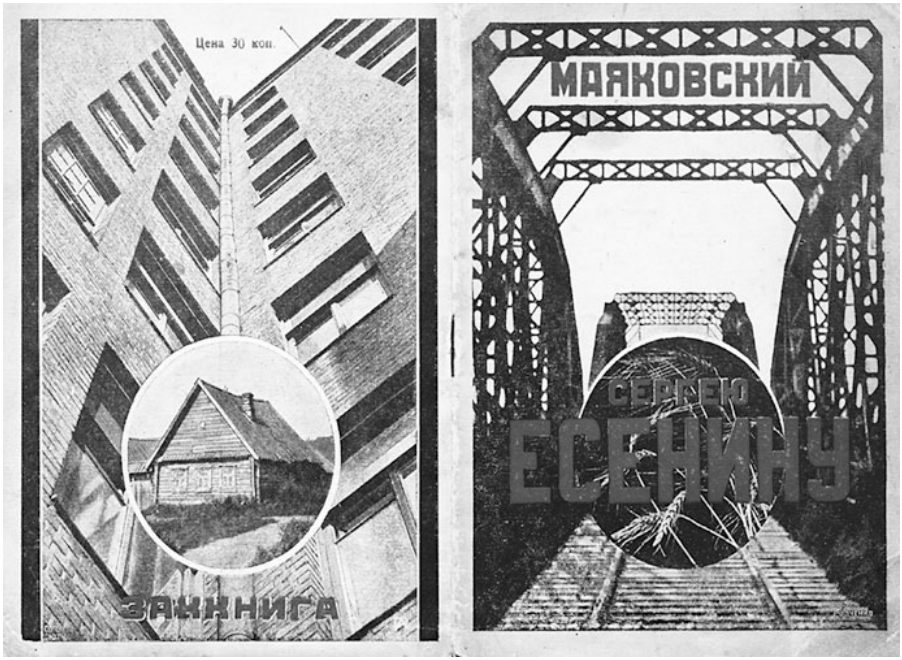
По стране и в самом деле прокатилась волна самоубийств.

Но даже «*социальный заказ*» не мог ускорить поэтическую работу. Маяковский в той же статье жаловался:

«*Заказ приняли многие. Но что написать? Как написать*?»

Написание стихотворения о Есенине было завершено лишь 25 марта 1926 года и в конце того же месяца отдано в издательство «Заккнига». 16 апреля стихотворение опубликовала тифлисская газета «Заря Востока», затем оно вышло отдельным изданием. И имело большой успех. Маяковский (в той же статье «Как делать стихи?») свидетельствовал:

«*Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя, – его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения люди жмут лапы, в кулуарах бесятся и восхваляют, в день выхода появилась рецензия, состоящая одновременно из ругани и комплиментов*».



А. М. Родченко. Обложка книги В. В. Маяковского «Сергею Есенину». 1926.

Стихотоврение Маяковского «Сергею Есенину» начинается с упрёка в пьянстве:

> «*Вы ушли, / как говорится, / в мир иной.*
> *Пустота… / Летите, / в звёзды врезываясь.*
> *Ни тебе аванса, / ни пивной.*
> *Трезвость*».

В статье «Как делать стихи?» Маяковский представил Есенина точно так же, как представляла его «*братия*», написавшия «Воспоминания»:

«*Последняя встреча с ним произвела на меня тяжёлое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его тёмных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжёлому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина*

взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья – есенинцы».

О той поре оставил вспоминания и Николай Асеев:

«*Однажды вечером пришёл ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясённый:*

– Я видел Сергея Есенина, – с горечью и затем, горячась, сказал Маяковский, – пьяного! Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото. Пропадёт. А ведь он чертовски талантлив».

У произведения Бориса Пильняка (о смерти командарма Гаврилова) судьба тоже сложилась непростая. «Повесть непогашенной луны» была опубликована в пятом (майском) номере журнала «Новый мир», породив грандиознейший скандал. 15 мая на заседании политбюро было принято решение о конфискации всего тиража «Нового мира» и об исключении Бориса Пильняка из числа сотрудников журналов «Новый мир», «Красная новь» и «Звезда».

Весь тираж «Нового мира» был тотчас изъят из продажи и отпечатан заново – без крамольной повести. Воронский публично отрёкся от посвящения, которым наградил его автор «Повести непогашенной луны». Но это Воронского не спасло – с поста редактора «Красной нови» он вскоре был снят и отправлен в ссылку на периферию.

А Маяковский с всё нараставшим успехом читал (по словам Александра Михайлова)…

«*…прекрасное стихотворение «Сергею Есенину», где вперекор завораживающим предсмертным строкам Есенина противопоставлял сильное, славящее жизнь поэтическое слово*».

Впрочем, когда знаешь предысторию кончины поэта Сергея Есенина, читая и внимательно перечитывая это стихотворение Владимира Маяковского, невольно замечаешь в нём не столько противопоставление «*славящих жизнь*» слов унылым «*предсмертным строкам*», сколько укоризненный

упрёк «*дезертиру*», посмевшему бросить участок, доверенный ему рыцарями революции (гепеушниками).

3 декабря 1926 года на могиле Есенина покончила с собой Галина Артуровна Бениславская. Она стреляла в себя из старого револьвера системы «*бульдог*», который дал несколько осечек. Галину похоронили рядом с Есениным.

С кончиной Есенина Маяковский вдруг ощутил себя взошедшим на поэтическую вершину, попасть на которую он так стремился все эти годы. Соперников у него теперь не было. Поэтом революции был только он один.

Список использованной литературы:

1. Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. – Л.: Искусство, 1991.

2. Бажанов Б. Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – СПб.: Всемирное слово, 1992.

3. Бениславская Г. А. Воспоминания о Есенине. – М., 1926.

4. Берберова Н. Н. Курсив мой. – М.: Согласие, 1999. – 736 с.

5. Берберова Н. Н. Железная женщина. – М.: Политиздат, 1991. – 383 с.

6. Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания. – М.: Художественная литература, 1968. – 206 с.

7. Ваксберг А. И. Загадка и магия Лили Брик. – М.: Астрель, 2003. – 463 с.

8. Вегер В. И. Воспоминания. Не издано. – РГАЛИ., ф. 1924, ед. хр. 500.

9. Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет. – М., 1994.

10. Гиппиус З. Н. Петербургские дневники. 1914–1919. – Нью-Йорк – Москва, 1990.

11. Гиппиус З. Н. Живые лица. – Тбилиси: Мерани, 1991.

12. Гольдман Э. Моё разочарование в России. – Нью-Йорк, 1924.

13. Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов. – М., Круг, 1925. – 144 с.

14. ГРУ. Дела и люди / Составитель Колпакиди А. И. – М., СПб.: «ОЛМА-Пресс», «Нева», 2003. – 640 с.

15. Дункан А. Моя жизнь. Встречи с Есениным. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. – 452 с.

16. С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1986. – 529 с.

17. Ефимов Б. Е. Работа, воспоминания, встречи. – М., 1963.

18. Зайцев Б. К. Побеждённый. Воспоминания о серебряном веке. – М.: Республика, 1993. – 559 с.

19. Зелинский К. Л. На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917–1920 годов. – М.: Советский писатель, 1960. – 140 с.

20. Зелинский К., Чичерин А., Сельвинский Э. Мена всех. Конструктивисты. Поэты. – М., 1924.

21. Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о революции (1917–1925). – М.: Индрик, 2004. – 320 с.

22. Имя этой теме: любовь!: Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. – М.: Дружба народов, 1993. – 333 с.

23. Каменский В. В. Жизнь с Маяковским. – М.: Гос. изд-во

худож. лит., 1940.

24. Катаев В. П. Алмазный мой венец. – М., 1978.

25. Катанян В. А. Хроника жизни и деятельности Маяковского. – М.: Планета, 1993.

26. Катанян В. В. Лиля Брик. Жизнь. – М.: Захаров, 2002. – 288 с.

27. Катанян В. В. Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. – М.: Захаров, АСТ, 1998. – 174 с.

28. Комарденков В. П. Дни минувшие. Из воспоминаний художника. – М.: Советский художник, 1972.

29. Кривицкий В. Г. Я был агентом Сталина. Записки советского разведчика. – М.: Терра, 1991. – 364 с.

30. Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. – СПб., 1997.

31. Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. – М., 1996. – 56 с.

32. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е., – М.: Издательство политической литературы, 1967.

33. Линдер И. Б., Чуркин С. А. Диверсанты. Легенда Лубянки – Яков Серебрянский. – М.: Рипол классик, 2011. – 688 с.

34. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – М.: Рипол классик, 2009. – 397 с.

35. Луначарская-Розенель Н. А. Память сердца. – М.: Искусство, 1962. – 482 с.

36. Мальков П. Д. Записки коменданта Московского Кремля. – М.: Молодая гвардия, 1983.

37. Мандельштам Н. Я. Воспоминания. – М.: Книга, 1989.

38. Мариенгоф А. Роман без вранья; Циники; Мой век…: Романы / Сост., подгот. текста, послесл. Б. Аверина. – Л.: Худож. лит., 1988. – 480 с.

39. Маяковский в воспоминаниях современников. – М.: ГИЗ, 1963. – 731 с.

40. Маяковский В. Собрание сочинений в 6 томах. – М.: Правда, 1973.

41. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 томах. – М., 1955–1961.

42. Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. – М.: Московский рабочий, 1968.

43. Мережковский Д. С. Царство Антихриста. – Лейпциг, 1921.

44. Мережковский Д. С. Царство Антихриста. – 1921.

45. Мережковский Д. С. Россия и большевизм. – 1935.

46. Михайлов А. А. Жизнь Владимира Маяковского. Точка пули в конце. – М.: Планета, 1993.

47. Никулин Л. В. Записки спутника. – М., 1932.

48. Никулин Л. В. Люди и странствия. Воспоминания и встречи. – М., 1962.

49. Оксенов И. А. Маяковский в дореволюционной литературе. – Л.: Ленинград, 1931.

50. Пастернак Б. Л. Воспоминания. – Мюнхен, 1983.

51. Погорелова Б. М. Валерий Брюсов и его окружение. – М.: Новый журнал, 1953.

52. Рерих Н. К. Алтай – Гималаи: Путевой дневник / Предисл. К. Брэгдона. – Рига: Виеда, 1992.– 336 с.

53. Ройзман М. Д. Все, что помню о Есенине. – М.: Советская Россия, 1973.

54. Савинков Б. В. Воспоминания террориста. – М., 1928.

55. Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. – М.: ГИЗ, 1926.

56. Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. – М.; Оренбург: Праксис; Оренбург. кн. изд-во, 2001. – 696 с.

57. Скорятин В. И. Тайна гибели Маяковского. – М.: Издательский дом Звонница, 2009.

58. Троцкий Л. Д. Литература и революция. – М., 1923.

59. Троцкий Л. Д. Моя жизнь. – М.: Издательство Вагриус, 2007.

60. Уэллс Г. Россия во мгле / перевод В. Хинкиса; предисловие И. Майского. – М., 1970. – 223 с.

61. Февральский А. В. Встречи с Маяковским. – М.: Советская Россия, 1971.

62. Хлысталов Э. А. Как убили Сергея Есенина // Чудеса и Приключения. – 1991. – № 1.

63. Ходасевич В. М. Портреты словами. – М.: Советский писатель, 1987.

64. Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. – 1939.

65. Чапыгин А. П. По тропам и дорогам. – М., 1931.

66. Чуковский К. И. Дневник. – М.: Современный писатель, 1995. – 558 с.

67. Шилейко В. К. Ассиро-вавилонский эпос. – СПб.: Наука, 2007. – 641 с.

68. Шишкин О. А. Битва за Гималаи. НКВД. Магия и шпионаж. – М.: ЭКСМО Яуза, 2003.

69. Шкловский В. Б. Жили-были: Воспоминания. Мемуарные записи. – М.: Советский писатель, 1966. – 551 с.

70. Шнейдер И. И. Встречи с Есениным. – Ростов-на Дону: Феникс, 1998.

71. Шульгин В. В. Дни. Записки. – Белград, 1925. – 310 с.

72. Эйзенштейн С. М. Мемуары. – М.: Труд, Музей кино, 1997. – 432 с.

73. Эфрон А. С. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. –

М.: Советский писатель, 1989. – 480 с.

74. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. – М.: Колибри, 2009. – 640 с.

75. Янгфельдт Б. Любовь – это сердце всего. – М.: Книга, 1991.

Также использованы фрагменты произведений К. Д. Бальмонта, Андрея Белого, А. А. Ганина, З. Н. Гиппиус, С. А. Есенина, Л. А. Каннегисера, Н. И. Махно.

Выдержки из журналов: «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (М., 1922–1924), «Жизнь искусства» (М., 1924), «Завтра» (Берлин, 1923), «Заноза» (М., 1924), «Красный флот» (М., 1924), «Леф» (М., 1923–1925), «Новый зритель» (М., 1924), «Новый мир» (М., 1926), «Огонёк» (М., 1929), «30 дней» (М.,1925).

Выдержки из газет: «Правда» (М., 1918–1925), «Красная газета» (Петроград, май 1924), «Последние новости» (Париж, апрель и октябрь 1924), «Накануне» (Берлин, 1924), «Известия» (Одесса, февраль 1924), «Рабочая Москва» (май, ноябрь 1923, октябрь 1924, апрель 1925), «Трудовая копейка» (Харьков, ноябрь 1923, январь 1924), «Більшовик» (Киев, январь 1924), «Пролетарская правда» (Киев, январь 1924), «Вечерняя Москва» (январь, октябрь 1924), «Вечерние известия» (Одесса, февраль 1924), «Заря Востока» (Тифлис, август-октябрь 1924), «Бакинский рабочий» (сентябрь 1924), «Рабочий путь» (Смоленск, январь 1925), «Звезда» (Минск, январь, август 1925), «Рабочий клич» (Рязань, май 1925), «Парижский вестник» (июнь, октябрь 1925), «Эксельсиор» (Мехико, июль 1925), «Русский голос» (Нью-Йорк, август 1925), «Уорлд» (Нью-Йорк, август 1925), «Фрайгайт» (Нью-Йорк, август-октябрь 1925), «Нью-Йорк Таймс» (август 1925), «Новый мир» (Нью-Йорк, июль-октябрь 1925), «Рассвет» (Нью-Йорк, октябрь 1925), «Дейли Уоркер» (Чикаго, октябрь 1925), «Дейли ньюз» (Чикаго, октябрь 1925), «Русский вестник» (Нью-Йорк, октябрь 1925), «Возрождение» (Париж, октябрь 1925), «Новая вечерняя газета» (Ленинград, декабрь 1925 – январь 1926).